

ПСИХОЛОГИЯ-КЛАССИКА

Дмитрий УЗНАДЗЕ

ПСИХОЛОГИЯ УСТАНОВКИ



Санкт-Петербург
Москва · Харьков · Минск
2001

Узнадзе Дмитрий Николаевич

ПСИХОЛОГИЯ УСТАНОВКИ

Серия «Психология-классика»

Главный редактор *В. Усманов*
Заведующий психологической редакцией *А. Зайцев*
Зам. зав. психологической редакцией *В. Попов*
Ведущий редактор *А. Борин*
Художник обложки *В. Шимкевич*
Корректоры *Н. Викторова, Л. Комарова*
Верстка *Е. Кузьменок*

ББК 88.362 УДК 159.9

Узнадзе Д. Н.

У34 Психология установки. — СПб.: Питер, 2001. — 416 с. — (Серия «Психология-классика»).

ISBN 5-318-00163-7

Дмитрий Николаевич Узнадзе (1886–1950) — выдающийся грузинский психолог и философ, создатель теории установки, позволившей по-новому взглянуть на глубинные механизмы человеческого поведения, языковую и познавательную деятельность. Идеи Узнадзе заложили основы одного из продуктивных подходов к изучению бессознательного, остающегося актуальнейшей проблемой современной психологии Кроме обобщающей работы «Экспериментальные основы психологии установки», относящейся к числу наиболее значительных достижений отечественной психологической науки, в книгу вошли статьи, в которых в свете теории установки рассматриваются различные стороны психической жизни человека.

Текст печатается по изданию: *Узнадзе Д. Н.* Психологические исследования — М., 1966.

В оформлении обложки использована работа: M. C Escher «Drawing hands».

ISBN 5-318-00163-7

Лицензия ИД № 01940 от 05 06.2000
Налоговая льгота - общероссийский классификатор продукции
ОК 005-93, том 2; 95 3000 - книги и брошюры
Подписано к печати 16 02 2001 Формат 84х108 1/32 Усл п. л. 21,84 Тираж 7000 экз Заказ № 137.
ЗАО **«Питер Бук»**. 196105, Санкт-Петербург, ул Благодатная, 67
Отпечатано с готовых диапозитивов в ГИПК «Лениздат» (типография им Володарского)
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
191023, Санкт-Петербург, наб р Фонтанки, 59.

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ УСТАНОВКИ

ВВЕДЕНИЕ

Все многообразие явлений нашей психической жизни в основном распадается на три отличающиеся друг от друга группы: познание, чувство и воля, представляющие три основные, наиболее традиционные единицы обычной классификации явлений душевной жизни. Конечно, в истории нашей науки известна не одна попытка группировать душевные явления и на иных основах, но традиционная классификация до настоящего времени доминирует.

И вот естественно возникает вопрос: что же является спецификой всех этих групп, спецификой, делающей их основными категориями явлений душевной жизни? По-видимому, лишь то, что все эти процессы без исключения являются *сознательными* психическими переживаниями. Познание, например, так же как и чувство или воля, одинаково относится к категории явлений сознания. Субъект, переживающий какой-нибудь познавательный акт или какое-нибудь эмоциональное содержание или совершающий какой-либо волевой поступок, сопровождает все эти переживания определенными актами, делающими их вполне *сознательными* психическими содержаниями. С этой точки зрения нет сомнения, что психика и сознание вполне покрывают друг друга: все психическое сознательно, и то, что сознательно, является по необходимости и психическим.

Такова традиционная, наиболее распространенная точка зрения на природу психического. Спрашивается, как выглядит в аспекте этой теории вопрос о развитии психики.

Нет сомнения, что в рамках этой концепции природы психического для понятия развития не остается места. В самом деле! Если считать, что психическая действительность имеется лишь там, где мы допускаем наличие сознательных процессов, то мы должны принять, что психика резко отграничивается от всего того, что лишено сознания, от всего материального, и составляет абсолютно самобытную сферу действительности. В этом случае становится неизбежным допустить между психической и материальной сферами действительности наличие непримиримой противоположности, исключающей всякую мысль о возможности их взаимного влияния. Получается, будто психическое и физическое фактически радикально разобщены друг от друга и говорить о возможности их взаимодействия нет как бы никаких оснований. Поэтому вопрос об отношении психического к физическому или вообще к материальному может быть решен с точки зрения этой концепции лишь на основе идеи параллелизма. Психофизический параллелизм представляет собою вполне естественный, можно сказать, вполне закономерный вывод из допущенных выше посылок.

Но допустить правомерность идеи параллелизма — значит допустить идею немощности нашей мысли перед вскрываемыми ею же самою проблемами. Идея параллелизма не может быть признана правомерной. Она должна быть заменена чем-нибудь более приемлемым, и мы должны отказаться от мысли отождествления психики с сознанием. Следовательно, мы должны допустить наличие какой-то формы существования психики, которая не совпадает с сознательной формой ее существования и, нужно полагать, предшествует ей.

В психологической литературе известно и другое направление мысли, которое старается разрешить интересующую здесь нас проблему — проблему взаимоотношения психического и сознательного — совершенно по-иному. Оно считает, что наша психическая жизнь вовсе не исчерпывается созна-

тельными душевными переживаниями, что, наоборот, она представляет собою широкое поле действительности, лишь незначительный отрезок которой составляет область нашего сознания, что, говоря короче, психика и сознание вовсе не совпадают и не покрывают друг друга. Есть основание полагать, что, наоборот, существует и вторая, во всяком случае не менее значительная сфера психической жизни, известная под названием *бессознательной* или *подсознательной* психики и покрывающая значительную часть поля нашей активности. Значит, с этой точки зрения для того чтобы считать то или иное явление психическим, нет необходимости, чтобы оно было одновременно и сознательным. Психика включает в себя два больших, одинаково необходимых компонента явлений — компонент *сознательных* и компонент *бессознательных* психических переживаний. Такова точка зрения так называемой психологии бессознательного.

Можно было бы допустить, что психика, согласно этой концепции, проходит в процессе своей активности две ступени развития, из которых предшествующей является ступень бессознательного, а последующей — ступень сознательного. Однако психология бессознательного далека от этой мысли: она вовсе не считает, что сознательная и бессознательная психическая жизнь — это лишь две ступени развития единой психики, две ступени, которые последовательно и необходимо следуют одна за другой. Правда, у нас есть случаи, в которых бессознательное состояние психики переходит в сознательное, из бессознательного вырастает сознательное. Но это не единственно необходимый путь, который нужно пройти психическому содержанию, чтобы достигнуть сознательного состояния. Наоборот, нередко встречаются случаи, в которых имеет место как раз обратный порядок последовательности явлений — переход сознательного состояния именно в бессознательное. Следовательно, нельзя утверждать, что бессознательное представляет собою ступень развития, за которой следует далее ступень сознательной психической жизни.

Что это действительно так, с точки зрения «психологии бессознательного», видно и из анализа самого бессознательного психического содержания. В самом деле, что же мы

должны разуметь под названием «бессознательное»? Как нам характеризовать как определенное качество это бессознательное? Допустим, у субъекта появляется какое-то желание, которое он считает неподходящим, может быть, по той или иной причине даже постыдным для себя. Что же происходит в таком случае? Психология бессознательного прибегает здесь к помощи понятия *вытеснения*. Она полагает, что субъект «вытесняет» это желание из пределов своего сознания, что он не окончательно и всецело уничтожает, а лишь укрывает его в недрах бессознательного. Это вытесненное, отныне бессознательное, состояние не осознается, не переживается субъектом как сознательное желание. Это, однако, не означает, что оно потеряно для него раз и навсегда. Оно все же остается в субъекте в какой-то степени и продолжает действовать в нем, но так, что он об этом ничего не знает. Так создается, согласно этой теории, одна значительная часть бессознательного психического содержания.

Но что происходит с этим содержанием в бессознательном состоянии? Меняется ли оно по этой причине в какой-либо степени или переход его из сознательного состояния в бессознательное — это лишь простое механическое перемещение одного и того же содержания, нисколько не касающееся его самого по существу? Как разрешает «психология бессознательного» эти вопросы?

Для того чтобы ответить на это, мы вспомним сначала, что происходит при движении психических процессов в обратном направлении, т. е. в случаях перехода из бессознательного состояния в сознательное.

Нет сомнения, что для того, чтобы считать, что какое-нибудь состояние сделалось сознательным, нужно, чтобы оно предстало перед нами в форме одного из известных нам сознательных состояний, скажем, в форме какого-нибудь эмоционального состояния, например чувства страха.

Отсюда бесспорно, что, по этой концепции, бессознательное переживание как с момента своего возникновения, так и после перехода в состояние сознания является по существу одним и тем же переживанием: сознательное состояние может сделаться бессознательным, и наоборот, это последнее

может перейти в состояние сознательное. Но это, конечно, не значит, что всякое сознательное явление обязательно должно сделаться бессознательным и, наоборот, всякое бессознательное состояние должно стать сознательным. Все сводится лишь к тому, имеется ли в каждом данном случае атрибут сознательного или не имеется.

Психология бессознательного определяет бессознательное душевное состояние лишь отрицательно, т. е. как душевное состояние, лишенное сознательности, как бессознательное душевное состояние. Для положительной характеристики у нее нет никаких средств: она считает его процессом, который сейчас же по приобретении им признака сознательности становится обыкновенным явлением сознания. Психология бессознательного обозначает процессы вне сознания и без сознания, лишь отрицательно, лишь как нечто бессознательное. Что касается его положительной характеристики, то такой попытки у нее не встречается вовсе, нужно полагать потому, что этой возможности у нее вообще нет.

Таким образом, мы видим, что понятие бессознательного не дает нам ничего нового для интересующего здесь нас вопроса — для разрешения вопроса о *развитии*. Бессознательный психический процесс вовсе не является для психологии бессознательного ступенью развития психики, ступенью, предваряющей и подготавливающей возникновение сознательных психических переживаний. Бессознательное, точно так же как и сознательное, представляет одну и ту же ступень развития — в качестве представителей разных ступеней развития они не подходят.

Словом, нет сомнения, что с точки зрения психологии бессознательного понятие бессознательного не может быть использовано для обоснования факта наличия развития в психике.

Таким образом, становится очевидным, что для буржуазной психологии, полагающей психику лишь в субъективном — сознательном или бессознательном — процессе, точка зрения развития остается совершенно чуждой.

Конечно, существует не одна попытка, утверждающая наличие факта психического развития как в онтогенезе, так и в

филогенезе. Но в этих случаях речь идет всегда о развитии психического как сознательного процесса. Что же касается вопроса о том, какие же ступени предшествуют возникновению психики как сознательного процесса, как готовится возникновение этого процесса и переход его в активное состояние, то в буржуазной науке он до настоящего времени остается без должного внимания. Дело в том, что этого вопроса никогда и не существовало для традиционной психологии, поскольку в ней с самого же начала догматически предполагалось, что сознательная психическая жизнь так же первична, так же самобытна и невыводима, как физическая, материальная действительность. Догматически допускалось, что душа, проявляющаяся в акте познания, чувства и воли, является первичной данностью и поэтому сводить ее к более ранним ступеням развития вряд ли могло кому-либо прийти в голову. Во всяком случае можно утверждать, что предыстория души как таковой никогда не являлась предметом серьезных научных исканий буржуазной психологии.

Но если допустить, что психика не представляет из себя раз навсегда данной, неразвивающейся сущности, а проходит ряд ступеней своего становления, то не будет оснований полагать, что она существует вообще лишь в тех формах, в которых открывается сознанию, т. е. в формах сознательных процессов. Скорее наоборот, придется принять, что ступени сознательных психических процессов по необходимости предшествует активность психики, протекающая без всякого участия сознания, что существует, так сказать, досознательная ступень развития психики.

Что это предположение имеет прочные основания, на это указывает В. И. Ленин. В «Материализме и эмпириокритицизме» он говорит, что «в ясно выраженной форме ощущение связано только с высшими формами материи (органическая материя)», что «в фундаменте здания материи можно лишь предполагать существование способности, сходной с ощущением»*.

---

* *В. И. Ленин.* Полное собрание сочинений. Т. 18. С. 40.

В дальнейшем, сколько я могу судить, Ленину не приходилось возвращаться к этой идее, у него не было случая использовать ее с точки зрения психологии. Однако философское значение этой идеи велико, и одной из неотложных задач подлинно марксистской психологии является задача использования этого тезиса в конкретном психологическом исследовании. Необходимо поставить вопрос о подлинном развитии психики и, следовательно, о тех его ступенях, которые предшествуют появлению сознательных психических процессов.

Спрашивается, что же представляет собой конкретно эта досознательная ступень психического развития?

Этот вопрос — существенно важный для психологической науки — может быть разрешен лишь на базе конкретного психологического исследования. Однако до настоящего времени на это не обращали должного внимания, и среди достижений нашей науки мы не находим ничего, что можно было бы использовать непосредственно для его разрешения. Вопрос, по существу, ставится впервые, и в дальнейшем мы попытаемся на него ответить. Мы увидим, что предшествующей сознанию ступенью развития психики является *установка*, к изучению которой мы и переходим непосредственно.

I. ОБЩЕЕ УЧЕНИЕ ОБ УСТАНОВКЕ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВКИ

1. Иллюзия объема. Возьмем два разных по весу, но совершенно одинаковых в других отношениях предмета — скажем, два шара, которые отчетливо отличались бы друг от друга по весу, но по объему и другим свойствам были бы совершенно одинаковы. Если предложить эти шары испытуемому с заданием сравнить их между собой по объему, то, как правило, последует ответ: более тяжелый шар — меньше по объему, чем более легкий. Причем иллюзия эта обычно выступает тем чаще, чем значительнее разница по весу между шарами. Нужно полагать, что иллюзия здесь обусловлена

тем, что с увеличением веса предмета обычно увеличивается и его объем, и вариация его по весу, естественно, внушает субъекту и соответствующую вариацию его в объеме.

Но экспериментально было бы продуктивнее разницу объектов по весу заменить разницей их по объему, т. е. предлагать повторно испытуемому два предмета, отличающихся друг от друга по объему, причем один (например, меньший) — в правую, а другой (больший) — в левую руку. Через определенное число повторных воздействий (обычно через 10–15 воздействий) субъект получает в руки пару равных по объему шаров с заданием сравнить их между собой. И вот оказывается, что испытуемый не замечает, как правило, равенства этих объектов; наоборот, ему кажется, что один из них явно больше другого, причем в преобладающем большинстве случаев в направлении *контраста*, т. е. большим кажется ему шар в той руке, в которую в предварительных опытах он получал меньший по объему шар. При этом нужно заметить, что явление это выступает в данном случае значительно сильнее и чаще, чем при предложении неодинаковых по весу объектов. Бывает и так, что объект кажется большим в другой руке, т. е. в той, в которую испытуемый получал больший по объему шар.

В этих случаях мы говорим об *ассимилятивном* феномене. Так возникает иллюзия объема.

Но объем воспринимается не только гаптически, как в этом случае; он оценивается и с помощью зрения. Спрашивается, как обстоит дело в этом случае.

Мы давали испытуемым на этот раз тахистоскопически пару кругов, из которых один был явно больше другого, и испытуемые, сравнив их между собою, должны были указать, какой из них больше. После достаточного числа (10–15) таких однородных экспозиций мы переходили к критическим опытам — экспонировали тахистоскопически два равновеликих круга, и испытуемый, сравнив их между собою, должен был указать, какой из них больше.

Результаты этих опытов оказались следующие: испытуемые воспринимали их иллюзорно; причем иллюзии, как пра-

вило, возникали почти всегда по контрасту. Значительно реже выступали случаи прямого, ассимилятивного характера. Мы не приводим здесь данные этих опытов*. Отметим только, что число иллюзий доходит почти до 100 % всех случаев.

2. Иллюзия силы давления. Но, наряду с иллюзией объема, мы обнаружили и целый ряд других аналогичных с ней феноменов и прежде всего иллюзию давления (1929 г.).

Испытуемый получает при посредстве барестезиометра одно за другим два раздражения — сначала сильное, потом сравнительно слабое. Это повторяется 10–15 раз. Опыты рассчитаны на то, чтобы упрочить в испытуемом впечатление данной последовательности раздражений. Затем следует так называемый критический опыт, который заключается в том, что испытуемый получает для сравнения вместо разных два одинаково интенсивных раздражения давления.

Результаты этих опытов показывают, что испытуемому эти впечатления, как правило, кажутся не одинаковыми, а разными, а именно: давление в первый раз ему кажется более слабым, чем во второй раз. Табл. 1, включающая в себя результаты этих опытов, показывает, что число таких восприятий значительно выше, чем число адекватных восприятий.

Нужно заметить, что в этих опытах, как и в предыдущих, мы имеем дело с иллюзиями как противоположного, так и симметричного характера: чаще всего встречаются иллюзии, которые сводятся к тому, что испытуемый оценивает предметы критического опыта, т. е. равные экспериментальные раздражители как неодинаковые, а именно: раздражение с той стороны, с которой в предварительных опытах он получал более сильное впечатление давления, он расценивает как более слабое (иллюзия контраста). Но бывает в определенных условиях и так, что вместо контраста появляется феномен ассимиляции, т. е. давление кажется более сильным как раз в

---

* Ср.: *D. Usnadze*. Ueber die Gewichtsteuschung und ihre Analogs. Psycal. For. B. XIV, 1931.

том направлении, в котором и в предварительных опытах действовало более интенсивное раздражение.

Таблица 1

Реакция	+	–	=	?
Иллюзия давления, %	45,6	25,0	15,0	14,4

+ число случаев контраста; – число ассимиляции; = число адекватных оценок; ? число неопределенных ответов. То же значение имеют эти знаки и во всех нижеследующих таблицах.

Мы находим, что более 60 % случаев оценки действующих в критических опытах равных раздражений давления нашими испытуемыми воспринимается иллюзорно. Следовательно, не подлежит сомнению, что явления, аналогичные с иллюзиями объема, имели место и в сфере восприятия давления, существенно отличающегося по структуре рецептора от восприятия объема.

3. Иллюзия слуха. Наши дальнейшие опыты касаются слуховых впечатлений. Они протекают в следующем порядке: испытуемый получает в предварительных опытах при помощи так называемого «падающего аппарата» (Fallaparat) слуховые впечатления попарно, причем первый член пары значительно сильнее, чем второй член той же пары. После 10–15 повторений этих опытов следуют критические опыты, в которых испытуемые получают пары равных слуховых раздражений с заданием сравнить их между собой.

Результаты этих опытов суммированы в табл. 2, которая показывает, что в данном случае число иллюзий доходит до 76 %. Следует заметить, что здесь, как, впрочем, и в опытах *на иллюзию давления (табл. 1), число ассимилятивных иллюзий* выше, чем это бывает обыкновенно; зато, конечно, значительно ниже число случаев контраста, которое в других случаях нередко поднимается до 100 %. Нужно полагать, что здесь играет роль то, что в обоих этих случаях мы имеем дело с последовательным порядком предложения раздражений, т. е. испытуемые получают раздражения одно за другим, но

не одновременно, с заданием сравнить их между собой, и нами замечено, что число ассимиляции значительно растет за счет числа феноменов контраста. Ниже мы попытаемся объяснить, почему это бывает так.

Цифры, полученные в этих опытах, не оставляют сомнения, что случаи феноменов, аналогичных с феноменом иллюзий объема, имеют место и в области слуховых восприятий.

Таблица 2

	+	–	=	?
Слуховая ассимиляция, %	57,0	19,0	1,0	3,0

4. Иллюзия освещения. Еще в 1930 г. я имел возможность высказать предположение*, что явления начальной переоценки степени освещения или затемнения при светлостной адаптации могут относиться к той же категории явлений, что и описанные нами выше иллюзии восприятия. В дальнейшем это предположение было проверено в моей лаборатории следующими опытами: испытуемый получает два круга для сравнения их между собой по степени их освещенности, причем один иэ них значительно светлее, чем другой. В предварительных опытах (10–15 экспозиций) круги эти экспонируются испытуемым в определенном порядке: сначала темный круг, а затем — светлый. В критических же опытах показываются два одинаково светлых круга, которые испытуемый сравнивает между собой по их освещенности. Результаты опытов, как показывает табл. 3, не оставляют сомнения, что

Таблица 3

Реакция	+	–	=	?
Иллюзия освещения, %	56,6	16,6	21,6	6,2

* *Д. Узнадзе.* Об основном законе смены установки // Психология. 1930. Вып. 9.

в критических опытах, под влиянием предварительных, круги не кажутся нам одинаково освещенными: более чем в 73% всех случаев они представляются нашим испытуемым значительно разными. Итак, феномен наш выступает и в этих условиях.

5. Иллюзия количества. Следует отметить, что при соответствующих условиях аналогичные явления имеют место и при сравнении между собой количественных отношений. Испытуемый получает в предварительных опытах два круга, из которых в одном мы имеем значительно большее число точек, чем в другом. Число экспозиций колеблется и здесь в пределах 10–15... В критических опытах испытуемый получает опять два круга, но на этот раз число точек в них одинаковое. Испытуемый, однако, как правило, этого не замечает, и в большинстве случаев ему кажется, что точек в одном из этих кругов заметно больше, чем в другом, а именно больше в том круге, в котором в предварительных опытах он видел меньшее число этих точек.

Таким образом, феномен той же иллюзии имеет место и в этих условиях.

6. Иллюзия веса. Фехнер в 1860 г., а затем Г. Мюллер и Шуман в 1889 г. обратили внимание еще на один, аналогичный нашим, феномен, ставший затем известным под названием *иллюзии* веса. Он заключается в следующем: если давать испытуемому задачу повторно, несколько раз подряд, поднять пару предметов заметно неодинакового веса, причем более тяжелый правой, а менее тяжелый левой рукой, то в результате выполнения этой задачи у него вырабатывается состояние, при котором и предметы одинакового веса начинают ему казаться неодинаково тяжелыми, причем груз в той руке, в которую предварительно он получал более легкий предмет, ему начинает казаться чаще более тяжелым, чем в другой руке.

Мы видим, что по существу то же явление, которое было указано нами в ряде предшествующих опытов, имеет место и в области восприятия веса.

7. Попытки объяснения этих феноменов. *Теория Мюллера.* Если просмотрим все эти опыты, увидим, что, в сущнос-

ти, всюду в них мы имеем дело с одним и тем же явлением: все указанные здесь иллюзии имеют один и тот же характер — они возникают в совершенно аналогичных условиях и, следовательно, должны представлять собой разновидности одного и того же феномена. Поэтому теория Мюллера, построенная специально с целью объяснения одного из указанных явлений, именно иллюзии веса, не может в настоящее время считаться удовлетворительной. Она имеет в виду специфические особенности восприятия веса и, конечно, для объяснения иллюзий других чувственных модальностей должна оказаться несостоятельной.

В самом деле! Мюллер рассуждает следующим образом: когда мы даем испытуемому в руки несколько раз по паре неодинаково тяжелых предметов, то в конце концов у него вырабатывается привычка для поднимания первого, т. е. более тяжелого, члена пары мобилизовать более сильный мускульный импульс, чем для поднимания второго члена пары. Если же теперь, после повторения этих опытов достаточное число раз (10–15), дать тому же испытуемому в каждую руку по предмету одинакового веса, то предметы эти будут казаться ему опять неодинаково тяжелыми. Ввиду того что у него выработалась привычка правой рукой поднимать более тяжелый предмет, он мобилизует при поднимании тяжести этой рукой более сильный импульс, чем при поднимании другой рукой. Но раз в данном случае фактически приходится поднимать предметы одинакового веса, то, понятно, мобилизованный в правой руке импульс к более тяжелому «быстрее и легче отрывает» тяжесть с подставки, чем это имеет место с левой стороны, и тяжесть справа легче «летит вверх», чем тяжесть слева.

Психологическую основу иллюзии, следовательно, следует полагать, согласно этой теории, в переживании быстроты поднимания тяжести: когда она как бы «летит вверх», она кажется легкой, когда же, наоборот, она поднимается выше медленно, то она как бы «прилипает к подставке» и переживается как более тяжелый предмет. Такова теория Мюллера.

Мы видим, что решающее значение, согласно этой теории, имеет впечатление «взлета вверх» или «прилипания»

тяжести к подставке: без этих впечатлений мы не чувствовали бы различия между обеими тяжестями — иллюзия бы не имела места.

Но ведь явления этого рода мы можем переживать лишь в случаях поднимания тяжестей, т. е. там, где имеет смысл говорить о впечатлениях «взлета вверх» или «прилипания к подставке». Между тем по существу то же явление, как мы видели, имеет место и в ряде случаев, где о впечатлениях этого рода и речи не может быть. Так, мы имеем дело с иллюзиями объема, силы давления, слуха, освещения, количества, словом, с иллюзиями, которые по существу нужно трактовать как разновидности одного и того же явления, не имеющего существенной или вовсе никакой связи с какими-нибудь определенными периферическими процессами. Оставаясь одним и тем же феноменом, в тактильной сфере она становится иллюзией давления, в зрительной и гаптической — иллюзией объема, в мускульной — иллюзией веса и т. д. По существу же она остается одним и тем же феноменом, для понимания сущности которого особенности отдельных чувственных модальностей, в которых он проявляется, существенной роли не играют. Поэтому совершенно ясно, что для объяснения этого феномена мы должны отвлечься от теории Мюллера и искать его в другом направлении.

И вот прежде всего возникает вопрос: что находим мы общего, в условиях наших опытов, в деятельности отдельных сенсорных модальностей, что можно было бы признать общей основой, на которой вырастают констатированные нами аналогичные друг другу явления иллюзии?

Теория «обманутого ожидания». В психологической литературе мы встречаем теорию, которая, казалось бы, вполне отвечает поставленному здесь нами вопросу. Это — теория «обманутого ожидания». Правда, при ее разработке упомянутые нами аналоги иллюзии веса были еще не известны: они были впервые опубликованы нами в связи с проблемой об основах данной иллюзии позднее*. Тем больше внимания

---

* *Д. Узнадзе.* Об основном законе смены установки.

заслуживает эта теория сейчас, когда наличие этих аналогов определенно указывает, что в основе интересующих здесь нас феноменов должно лежать нечто, имеющее, по существу, лишь формальное значение и потому могущее оказаться годным для объяснения тех случаев, которые, касаясь материала различных чувственных модальностей, столь сильно отличаются друг от друга со стороны содержания.

Теория «обманутого ожидания» пытается объяснить иллюзию веса следующим образом: в результате повторного поднимания тяжестей (или же для объяснения наших феноменов мы могли бы сейчас добавить — повторного воздействия зрительного, слухового или какого-либо другого впечатления) у испытуемого вырабатывается *ожидание*, что в определенную руку ему будет дан всегда более тяжелый предмет, чем в другую, и когда в критическом опыте он не получает в эту руку более тяжелого предмета, чем в другую, его ожидание оказывается обманутым, и он, недооценивая вес полученного им предмета, считает его более легким. Так возникает, согласно этой теории, впечатление контраста веса, а в соответствующих условиях и другие обнаруженные нами аналоги этого феномена.

Нет сомнения, что теория эта имеет определенное преимущество перед мюллеровской, поскольку она в основе признает возможность проявления наших феноменов всюду, где только может идти речь об «обманутом ожидании», следовательно, не только в одной, но и во всех наших чувственных сферах. Наши опыты именно и показывают, что интересующая здесь нас иллюзия не ограничивается сферой одной какой-нибудь чувственной модальности, а имеет значительно более широкое распространение.

Тем не менее принять эту теорию не представляется возможным. Прежде всего она малоудовлетворительна, поскольку не дает никакого ответа на существенный в нашей проблеме вопрос — вопрос о том, почему, собственно, в одних случаях возникает впечатление контраста, а в других — ассимиляции. Нет никаких оснований считать, что субъект действительно «ожидает», что он и в дальнейшем будет получать

то же соотношение раздражителей, какое он получал в предварительных опытах. На самом деле такого «ожидания» у него не может быть, хотя бы после того, как выясняется после одной-двух экспозиций, что он получает совсем не те раздражения, которые он, быть может, действительно «ожидал» получить. Ведь в наших опытах иллюзии возникают не только после одной-двух экспозиций, но и далее.

Но и независимо от этого соображения теория «обманутого ожидания» все же должна быть проверена, и притом проверена, если возможно, экспериментально; лишь в этом случае можно будет судить окончательно о ее приемлемости.

Мы поставили специальные опыты, которые должны были разрешить интересующий здесь нас вопрос о теоретическом значении переживания «обманутого ожидания». В данном случае мы использовали состояние гипнотического сна, поскольку оно предоставляет в наше распоряжение выгодные условия для разрешения поставленного вопроса. Дело в том, что факт рапорта, возможность которого представляется в состоянии гипнотического сна, и создает нам эти условия.

Мы гипнотизировали наших испытуемых и в этом состоянии провели на них предварительные опыты. Мы давали им в руки обычные шары — один большой, другой малый и заставляли их сравнивать эти шары по объему между собой. По окончании опытов, несмотря на факты обычной постгипнотической амнезии, мы все же специально внушали испытуемым, что они должны основательно забыть все, что с ними делали в состоянии сна. Затем отводили испытуемого в другую комнату, там будили его и через некоторое время, в бодрствующем состоянии, проводили с ним наши критические опыты, т. е. давали в руки разные по объему шары, с тем чтобы испытуемый сравнил их между собой.

Наши испытуемые почти во всех случаях находили, что шары эти неравны, что шар слева (т. е. в той руке, в которую в предварительных опытах во время гипнотического сна они получали больший по объему шар) заметно меньше, чем шар справа.

Таким образом, не подлежит сомнению, что иллюзия может появиться и под влиянием предварительных опытов, проведенных в состоянии гипнотического сна, т. е. в состоянии, в котором и речи не может быть ни о каком «ожидании». Ведь совершенно бесспорно, что наши испытуемые не имели *ровно никакого представления о том, что с ними происходило* во время гипнотического сна, когда над ними проводились критические опыты, и «ожидать» они, конечно, ничего не могли. Бесспорно, теория «обманутого ожидания» оказывается несостоятельной для объяснения явлений наших феноменов.

8. Установка как основа этих иллюзий. Что же, если не «ожидание», в таком случае определяет поведение человека в рассмотренных выше экспериментах? Мы видим, что везде, во всех этих опытах, решающую роль играет не то, что специфично для условий каждого из них, — не сенсорный материал, возникающий в особых условиях этих задач, или что-нибудь иное, характерное для них, — не то обстоятельство, что в одном случае речь идет, скажем, относительно объема, гаптического или зрительного, а в другом — относительно веса, давления, степени освещения или количества. Нет, решающую роль в этих задачах играет именно то, что является общим для них всех моментом, что объединяет, а не разъединяет их.

Конечно, на базе столь разнородных по содержанию задач могло возникнуть одно и то же решение только в том случае, если бы все они в основном касались одного и того же вопроса, чего-то общего, представленного в своеобразной форме в каждом отдельном случае. И действительно, во всех этих задачах вопрос сводится к определению количественных отношений: в одном случае спрашивается относительно взаимного отношения объемов двух шаров, в другом — относительно силы давления, веса, количества. Словом, во всех случаях ставится на разрешение вопрос как будто об одной и той же стороне разных явлений — об их количественных отношениях.

Но эти отношения не являются в наших задачах отвлеченными категориями. Они в каждом отдельном случае представляют собой вполне конкретные данности, и задача испытуемого заключается в определении именно этих данностей. Для того чтобы разрешить, скажем, вопрос о величине кругов, мы сначала предлагаем испытуемому несколько раз по два неравных, а затем, в критическом опыте, по два равных круга. В других задачах он получает в предварительных опытах совсем другие вещи: два неодинаково сильных впечатления давления, два неодинаковых количественных впечатления, а в критическом опыте — два одинаковых раздражения. Несмотря на всю разницу материала, вопрос остается во всех случаях по существу один и тот же: речь идет всюду о характере отношения, которое мыслится внутри каждой задачи. Но отношение здесь не переживается в каком-нибудь обобщенном образе. Несмотря на то что оно имеет *общий* характер, оно дается всегда в каком-нибудь *конкретном* выражении. Но как же это происходит?

Решающее значение в этом процессе, нужно полагать, имеют наши *предварительные* экспозиции. В процессе повторного предложения их у испытуемого вырабатывается какое-то *внутреннее состояние,* которое подготовляет его к восприятию дальнейших экспозиций. Что это внутреннее состояние действительно существует и что оно действительно подготовлено повторным предложением предварительных экспозиций, в этом не может быть сомнения: стоит произвести критическую экспозицию сразу, без предварительных опытов, т. е. предложить испытуемому вместо неравных сразу же равные объекты, чтобы увидеть, что он их воспринимает адекватно. Следовательно, несомненно, что в наших опытах эти равные объекты он воспринимает по типу предварительных экспозиций, а именно как неравные.

Как же объяснить это? Мы видели выше, что об «ожидании» здесь говорить нет оснований: нет никакого смысла считать, что у испытуемого вырабатывается «ожидание» получить те же раздражители, какие он получал в предварительных экспозициях.

Но мы видели. что и попытка объяснить все это вообще как-нибудь иначе, ссылаясь еще на какие-нибудь известные психологические факты. тоже не оказывается продуктивной. Поэтому нам остается обратиться к специальным опытам, которые дали бы ответ на интересующий здесь нас вопрос. Это наши гипнотические опыты, о которых мы только что говорили.

Результаты этих опытов даны в табл. 4 (в процентах).

Таблица 4

Реакция	+	–	=
16 испытуемых	82	17	1

Мы видим, что результаты эти в основном точно те же, что и в обычных наших опытах (табл. 1), а именно: несмотря на то что испытуемый, вследствие постгипнотической амнезии, ничего не знает о предварительных опытах, не знает, что в одну руку он получал больший по объему шар, а в другую меньший, одинаковые шары критических опытов он все же воспринимает как неодинаковые: иллюзия объема и в этих условиях остается в силе.

О чем же говорят нам эти результаты? Они указывают на то, что, бесспорно, не имеет никакого значения, *знает испытуемый что-нибудь о предварительных опытах или он ничего о них не знает:* и в том и в другом случае в нем создается какое-то состояние, которое в полной мере обусловливает результаты критических опытов, а именно, равные шары кажутся ему неравными. Это значит, что в результате предварительных опытов у испытуемого появляется состояние, которое, несмотря на то что его ни в какой степени нельзя назвать сознательным, все же оказывается фактором, вполне действенным и, следовательно, вполне реальным фактором, направляющим и определяющим содержание нашего сознания. Испытуемый ровно ничего не знает о том, что в предварительных опытах он получал в руки шары неодинакового объема, он вообще ничего не знает об этих опытах,

и тем не менее показания критических опытов самым недвусмысленным образом говорят, что их результаты зависят в полной мере от этих предварительных опытов.

Можно ли сомневаться после этого, что в психике наших испытуемых существует и действует фактор, о наличии которого в сознании и речи не может быть, — состояние, которое можно поэтому квалифицировать как *внесознательный* психический процесс, оказывающий в данных условиях решающее влияние на содержание и течение сознательной психики.

Но значит ли это, что мы допускаем существование области «бессознательного» и, таким образом, расширяя пределы психического, находим место и для отмеченных в наших опытах психических актов? Конечно нет! Ниже, когда мы будем говорить специально о проблеме бессознательного, мы покажем, что в принципе в широко известных учениях о бессознательном обычно не находят разницы между сознательными и бессознательными психическими процессами. И в том и в другом случае речь идет о фактах, которые, по-видимому, лишь тем отличаются друг от друга, что в одном случае они сопровождаются сознанием, а в другом — лишены такого сопровождения; по существу же содержания эти психические процессы остаются одинаковыми: достаточно появиться сознанию, и бессознательное психическое содержание станет обычным сознательным психическим фактом.

Но в нашем случае речь идет не о такого рода различии между сознательными душевными явлениями и теми специфическими процессами, которые, будучи лишены сознания, протекают вне его пределов. Здесь вопрос касается двух различных областей психической жизни, из которых каждая представляет собой особую, самостоятельную ступень развития психики и является носительницей специфических особенностей. В нашем случае речь идет о ранней, досознательной ступени психического развития, которая находит свое выражение в констатированных выше экспериментальных фактах и, таким образом, становится доступной научному анализу.

Итак, мы находим, что в результате предварительных опытов в испытуемом создается некоторое специфическое состояние, которое не поддается характеристике как какое-нибудь из явлений сознания. Особенностью этого состояния является то обстоятельство, что оно предваряет появление определенных фактов сознания или предшествует им. Мы могли бы сказать, что это состояние, не будучи сознательным, все же представляет своеобразную тенденцию к определенным содержаниям сознания. Правильнее всего было бы назвать это состояние *установкой* субъекта, и это потому, что, во-первых, это не частичное содержание сознания, не изолированное психическое содержание, которое противопоставляется другим содержаниям сознания и вступает с ними во взаимоотношения, а некоторое *целостное состояние* субъекта; во-вторых, это не просто какое-нибудь из содержаний его психической жизни, а момент ее *динамической определенности*. И наконец, это не какое-нибудь определенное, частичное содержание сознания субъекта, а целостная *направленность* его в определенную сторону на определенную активность. Словом, это скорее *установка* субъекта как целого, чем какое-нибудь из его отдельных переживаний, — *его основная, его изначальная реакция на воздействие ситуации, в которой ему приходится ставить и разрешать задачи*.

Но если это так, тогда все описанные выше случаи иллюзии представляются нам как проявление деятельности установки. Это значит, что в результате воздействия объективных раздражителей, в нашем случае, например, шаров неодинакового объема, в испытуемом в первую очередь возникает не какое-нибудь содержание сознания, которое можно было бы формулировать определенным образом, а скорее некоторое специфическое состояние, которое лучше всего можно было бы характеризовать как *установку* субъекта в определенном направлении.

Эта установка, будучи целостным состоянием, ложится в основу совершенно определенных психических явлений, возникающих в сознании. Она не следует в какой-нибудь мере за этими психическими явлениями, а, наоборот, можно

сказать, предваряет их, определяя состав и течение этих явлений.

Для того чтобы изучить эту установку, было бы целесообразно наблюдать ее достаточно продолжительное время. А для этого было бы важно *закрепить, зафиксировать* ее в необходимой степени. Этой цели служит *повторное* предложение испытуемому наших экспериментальных раздражителей. Эти повторные опыты мы обычно называем *фиксирующими* или просто *установочными*, а самую установку, возникающую в результате этих опытов, *фиксированной установкой*.

Чтобы подтвердить высказанные здесь нами предположения, дополнительно были проведены следующие опыты. Мы давали испытуемому нашу обычную *предварительную* или, как мы будем называть в дальнейшем, *установочную* серию — два шара неодинакового объема.

Новый момент был введен лишь в критические опыты. Обычно в качестве критических тел испытуемые получали в руки шары, по объему равные меньшему из установочных. Но в этой серии мы пользовались в качестве критических шарами, которые по объему были больше, чем больший из установочных. Это было сделано в одной серии опытов. В другой серии критические шары заменялись другими фигурами — кубами, а в оптической серии опытов — рядом различных фигур.

Результаты этих опытов подтвердили высказанное нами выше предположение: испытуемым эти критические тела казались неравными — иллюзия и в этих случаях была налицо.

Раз в критических опытах в данном случае принимала участие совершенно новая величина (а именно шары, которые отличались по объему от установочных, были больше, чем какой-нибудь из них), а также ряд пар других фигур, отличающихся от установочных, и тем не менее они воспринимались сквозь призму выработанной на другом материале установки, то не подлежит сомнению, что материал установочных опытов не играет роли и установка вырабатывается лишь на основе *соотношения*, которое остается постоянным, как бы ни менялся материал и какой бы чувственной модальности он ни касался.

Еще более яркие результаты получим мы в том же смысле, если проведем на этот раз не критические, как выше, а установочные опыты при помощи нескольких фигур, значительно отличающихся друг от друга по величине*.

Например, предлагаем испытуемому тахистоскопически, последовательно друг за другом, ряд фигур: сначала треугольники — большой и малый, затем квадраты, шестиугольники и ряд других фигур попарно в том же соотношении.

Словом, установочные опыты построены таким образом, что испытуемый получает повторно лишь определенное соотношение фигур: например, справа — большую фигуру, а слева — малую; сами же фигуры никогда не повторяются, они меняются при каждой отдельной экспозиции.

Надо полагать, что при такой постановке опытов, когда постоянным остается лишь соотношение (большой — малый), а все остальное меняется, у испытуемых вырабатывается установка именно на это соотношение, а не на что-нибудь другое. В критических же опытах они получают пару равных между собой фигур (например, пару равных кругов, эллипсов, квадратов и т. п.), которые они должны сравнить между собой.

Каковы же результаты этих опытов? Остановимся лишь на тех из них, которые представляют непосредственный интерес с точки зрения поставленного здесь вопроса. Оказывается, что, несмотря на непрерывную меняемость установочных фигур, при сохранении нетронутыми их соотношений, факт обычной нашей иллюзии установки остается вне всякого сомнения. Испытуемые в ряде случаев не замечают равенства критических фигур, причем господствующей формой иллюзии и в этом случае является феномен контраста.

Нужно, однако, отметить, что в условиях абстракции от конкретного материала, т. е. в предлагаемых вниманию читателя опытах, действие установки оказывается, как правило, менее эффективным, чем в условиях ближайшего сходства или полного совпадения установочных и критических фигур. Это, однако, вовсе не означает, что в случаях совпадения

---

* *З. И. Ходжава.* Фактор фигуры в действии установки // Труды Тбилис. гос. ун-та. 1941. Т. XVII.

фигур установочных и критических опытов мы не имеем дела с задачей оценки соотношения этих фигур. Задача по существу и в этих случаях остается та же. Но меньшая эффективность этих опытов в случаях полной абстракции от качественных особенностей релятов становится понятной сама собою.

Подводя итоги сказанному, мы можем утверждать, что вскрытые нами феномены самым недвусмысленным образом указывают на наличие в нашей психике не только сознательных, но и *досознательных* процессов, которые, как выясняется, мы можем характеризовать как область наших *установок*.

9. Проблема восприятия по контрасту. В связи с этим возникает вопрос, который необходимо должен быть разрешен прежде, чем окончательно признать, что в этих опытах дело касается действительно наших установок.

Когда речь идет об установке, предполагается, что это определенное состояние, которое как бы предваряет решение задачи, как бы заранее включает в себя направление, в котором задача на деле должна быть разрешена. В наших опытах установка вычленяется в процессе предварительных или подготовительных экспозиций в направлении того, что, например, шар слева должен быть больше, чем шар справа; но предлагаемая затем критическая экспозиция экспериментальных шаров показывает, что это предположение очень часто не оправдывается. Напротив, получается совершенно обратное: шар слева кажется не больше, чем шар справа, а наоборот, он кажется заметно меньше. Таким образом, факт иллюзий контраста, столь частых в наших опытах, ставит под сомнение наше предположение, что в них — в этих опытах — исследуется именно установка, а не что-либо другое.

Спрашивается, как понять факт возникновения иллюзий, контрастных установке, предполагаемой в наших опытах. Прежде всего, по-видимому, не должно быть никакого сомнения в том, что в этих опытах мы имеем дело действительно с активностью установки. Дело в том, что, как мы уже указывали выше, факт возникновения иллюзий обусловливается исключительно опытами с неравными объектами, предшествующими экспозиции равных критических объектов. Без этих предшествующих экспозиций иллюзии обычно не быва-

ет. Следовательно, не остается сомнения, что эти экспозиции и являются необходимым условием возникновения иллюзии, и единственное, что мы можем в данном случае допустить, так это факт выработки в субъекте, под влиянием повторных установочных опытов, готовности восприятия все тех же неравных объектов. Не было бы никакого сомнения, что готовность эту можно трактовать именно как установку, если бы мы имели здесь не феномен контраста, а явление ассимиляции, созвучной с ней.

Специальные опыты, которые были поставлены у нас для проверки этой возможности, заключались в следующем: испытуемые получали в качестве установочных объектов круги, которые чем дальше в ряду, тем больше отличались друг от друга по размерам площади: мы начинали с экспозиции кругов в 25 и 26 мм в диаметре, за этим следовали круги 24 и 26 мм и, наконец, круги в 22 и 26 мм.

Результаты этих опытов суммированы в табл. 5 (в процентах).

Таблица 5

Раздражение	–	+	=
25–26 мм	68	28	4
24–26 мм	33,7	50	16,3
22–26 мм	25,1	58	16,6

Мы видим, что реакции, которые даются нашими испытуемыми на воздействующие раздражения, не одинаковы в том смысле, что они являются частью ассимилятивными и частью — контрастными (не считая случаев оценки их равными). Интерес представляет распределение этих реакций. Мы видим, что они тем больше отличаются друг от друга в количественном отношении, чем сильнее разница между установочными объектами, и притом — и это особенно интересно — это различие распределяется для обоих видов реакций в противоположных направлениях: чем больше разница между этими кругами, тем выше показатели явлений контраста по сравнению с явлениями ассимиляции, и наоборот, чем ниже разница между установочными фигурами, тем выше число

случаев ассимиляции. Причем нужно особенно подчеркнуть, что в наших опытах встречается соотношение размеров установочных фигур, которое оказывается особенно преимущественным для выявления именно феномена ассимиляции. Это соотношение кругов в 25 и 26 мм в диаметре. При этом соотношении число ассимиляции равно 68% всех случаев. Вообще следует иметь в виду, что чем ниже разница в величине установочных фигур, тем выше число ассимилятивных восприятий. Это наблюдение интересно в данном случае в том смысле, что не подлежит сомнению, что в наших опытах мы имеем дело именно с установкой, которая, по существу, может действовать непосредственно лишь ассимилирующим образом.

Но, с другой стороны, в этих же опытах мы имеем дело не только с ассимиляциями. Наоборот, число случаев контрастных восприятий здесь вовсе не редкое явление. Более того, в преобладающем большинстве случаев, а именно при сравнительно высоких разницах в объеме установочных объектов, эти феномены начинают занимать не только преобладающее, но и исключительное место: бывает, что в этих условиях случаев ассимиляции почти вовсе не встречается. Это обстоятельство ставит перед нами задачу выяснить, как возможно, что при наличии установки определенного направления мы получаем столь большое число случаев, контрастных этой установке.

Если допустить, что восприятия по контрасту особенно часто появляются в тех случаях, в которых между установочными объектами констатируется явно большое различие с какой-нибудь определенной стороны, то следует полагать, что в этих условиях как раз и выступает активность фактора, затрудняющего реализацию наличной установки. Когда на испытуемого повторно воздействуют два резко отличающихся друг от друга объекта, то, очевидно, это вырабатывает в нем соответствующую установку — готовность получать в руки именно резко отличные друг от друга объекты. Но вот он получает в руки равные по объему предметы. Это обстоятельство, следует полагать, настолько сильно отличается от того, к чему у испытуемого выработана установка, что он не

оказывается уже в состоянии воспринять его на основе этой установки. Естественным результатом этого может быть лишь одно: испытуемый должен ликвидировать эту явно неподходящую установку и попытаться воспринять действующее на него впечатление адекватно. Но если мы допустим, что вообще не существует никаких восприятий без наличия соответствующих установок, то станет понятно, что вместо ликвидированной неадекватной установки у субъекта должна возникнуть новая, более адекватная ситуации установка. Мы находим, что это становится возможным лишь спустя некоторое время. А до того новая установка, возникающая взамен существующей, явно несоответствующей установки, оказывается противоположной этой последней и испытуемый воспринимает ситуацию на основе этой объективно не обоснованной, но и не фиксированной противоположной установки. Однако эта последняя замирает сравнительно быстро и у испытуемого постепенно закрепляется установка, дающая возможность адекватного восприятия действующих на него раздражителей. Так протекает процесс постепенного приспособления испытуемого к воздействующим на него впечатлениям*.

Эти предположения относительно происхождения случаев контрастных восприятий могут показаться несколько искусственными. Однако существуют дополнительные соображения, которые говорят в их пользу, и нам необходимо коснуться их здесь.

Дело в том, что проблематичным в данном случае является сам факт контрастного восприятия. В самом деле, откуда этот контраст, когда действие установки должно быть по существу связано лишь с ассимилирующим влиянием? Существенным в этом случае является то обстоятельство, что в этих опытах мы имеем дело с явлениями количественных отношений: задача здесь заключается всюду в сравнении явлений в отношении силы давления, веса, объема и т. п., т. е. со стороны моментов, которые могут быть выражены в количественных показателях. Но известно, что контрастность

* Ср.: *Д. Узнадзе.* Об основном законе смены установки.

свойственна лишь явлениям количества, к другой какой-нибудь сфере действительности эта категория обычно не применяется. Поэтому если мы попытаемся исследовать установку в сфере не количественных, а качественных отношений, то, быть может, там перед нами откроется совершенно иная картина.

В дальнейшем изложении мы не раз будем иметь случаи говорить относительно фактов установки по отношению к миру качественно отличающихся друг от друга явлений. Я здесь назову один из экспериментальных способов изучения фактов этой категории!

Если дать испытуемому привыкнуть читать, скажем, текст на латинском языке, а затем через некоторое время предложить ему урывками какие-нибудь русские слова, но составленные из букв, общих с латинским шрифтом (например, вор), то окажется, что испытуемый в течение некоторого времени и эти русские слова будет читать как латинские.

Нет сомнения, что здесь в процессе чтения латинских слов у испытуемого активируется соответствующая установка — установка читать по-латыни, и, когда ему предлагают русское слово, т. е. слово на хорошо понятном ему языке, он читает его, как если бы оно было латинское. Только через некоторый промежуток времени испытуемый начинает замечать свою ошибку.

Из этих опытов становится ясным, что при разрешении задачи, которая здесь стоит перед испытуемым, случаи возникновения явлений контраста исключены совершенно и испытуемый проходит все ступени приспособления к адекватному чтению, исключая ступень восприятий по контрасту.

Таким образом, мы находим, что факт проявления установки в опытах на задачи качественного содержания делает бесспорным, что и в количественных опытах, в которых речь идет о феноменах контраста, мы имеем дело с активностью все той же установки.

Следовательно, можно считать, что установка относится к той категории фактов действительности, которая находит возможность проявления в самых разнообразных условиях: установка к оценкам «больше» или «меньше» или вообще ко-

личественных отношений этого рода может быть вызвана всюду, где только имеют место эти отношения, точно так же как и установка на качественные особенности.

О МЕТОДЕ ИЗУЧЕНИЯ УСТАНОВКИ

Мы убедились, что в основе изложенных выше явлений иллюзий лежит некоторое специфическое состояние, которое нужно характеризовать как установку активно действующего субъекта; все они — эти иллюзии — представляют собой иллюзии установки.

Но если допустить это, то перед нами сейчас же встанет вопрос более общего характера, вопрос не только о том, что является основой определенной группы психических явлений — узкого круга наших иллюзорных переживаний, а прежде всего вопрос о природе этой основы — о психологии самой установки. И вот все дальнейшее изложение посвящается этому вопросу. Важнейшая задача, возникающая сейчас перед нами, это задача установления метода нашего исследования.

В предыдущем изложении мы познакомились с экспериментами, давшими нам возможность выявить ряд разновидностей иллюзий установки. И вот возникает вопрос, можем ли мы успешно использовать этот же метод и для более или менее полного изучения проблемы установки вообще.

Прежде всего нужно иметь в виду, что перед нами стоит вопрос об изучении не какого-нибудь отдельного психического факта, а того специфического состояния, которое я называю *установкой*. Как мы увидим ниже, для возникновения этой последней достаточно двух элементарных условий — какой-нибудь актуальной потребности у субъекта и ситуации ее удовлетворения. При наличии обоих этих условий в субъекте возникает установка к определенной активности. То или иное состояние сознания, то или иное из его содержаний, вырастает лишь на основе этой установки. Следовательно, мы должны точно различать, с одной стороны, установку, а с другой — возникающее на ее базе конкретное содержание сознания. Установка сама, конечно, не представляет собой ничего из этого содержания, и понятно, что характери-

зовать ее в терминах явлений сознания не представляется возможным. Но допустим, что мы зафиксировали достаточно прочно какую-нибудь из наших установок. В этом случае она будет представлена в сознании всегда каким-либо определенным содержанием, возникающим на базе этой установки. Если актуализировать эту последнюю повторно, то мы будем замечать, что каждый раз у нас возникает в сознании все то же содержание.

Предложим теперь субъекту с такой фиксированной установкой пережить, скажем, воспринять содержание, лишь в незначительной степени отличающееся от того, что он переживает обычно на базе этой установки. Что же получится в этом случае? Из наших опытов мы знаем, что такого рода содержание, вместо того чтобы актуализировать новую, адекватную ему установку, переживается всегда на базе уже имеющейся фиксированной установки. Следовательно, мы можем сказать, что одна и та же фиксированная установка может лежать в основе одинакового переживания ряда различных, но близко стоящих друг от друга объективных содержаний. Установка в этом случае обусловливает *идентификацию* в переживаниях ряда сравнительно незначительно различных ситуаций. В наших опытах это находит свое выражение в факте иллюзорных восприятий двух равных раздражителей (например, равных шаров) неравными, в факте, который выступает обычно в наших критических опытах и остается в силе более или менее продолжительное время, пока фиксированная установка не заглохнет и не даст возможности актуализироваться новой, на этот раз уже адекватной ситуации установке.

Значит, несомненно, пока имеется налицо факт этого иллюзорного переживания, мы имеем право говорить об активности лежащей в его основе фиксированной установки, и в зависимости от того, как протекает это переживание, у нас открывается возможность судить об особенностях этой установки, следить за процессом ее протекания.

Таким образом, мы видим, что наблюдение иллюзии открывает нам возможность изучения установок, лежащих в основе этих переживаний. Правда, установки эти могут быть

лишь фиксированными, но, во-первых, именно они представляют для нас особенный интерес, поскольку являются обычными основами человеческого опыта, и, во-вторых, они не имеют в себе ничего существенно нового сравнительно с актуальными установками, возникающими на базе новых ситуаций и потребностей субъекта, а потому в известной мере заменяют возможность изучения и этих актуальных установок.

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ДОГМАТИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК ТРАДИЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ

Прежде чем обратиться к исследованию проблемы установки, займемся сначала анализом догматически допущенных предпосылок традиционной психологии, исключающих саму возможность постановки этой проблемы. В данном случае мы имеем в виду, во-первых, проблему непосредственной связи между сознательными психическими явлениями и, во-вторых, проблему эмпирического характера этой связи.

1. О постулате непосредственности. Современная буржуазная психология, как мне кажется, целиком базируется на предварительно не проверенной, критически не осознанной, догматически воспринятой предпосылке, смысл которой заключается в положении о том, будто объективная действительность *непосредственно* и сразу влияет на сознательную психику и в этой непосредственной связи определяет ее деятельность. На основе этой предпосылки возникает ряд ничем не обоснованных, ложных проблем и бесплодных попыток их разрешения.

Попытаемся ближе охарактеризовать эту *догматическую* предпосылку традиционной психологии.

Быстрому и плодотворному развитию естественных наук, между прочим, в значительной степени содействовало и то обстоятельство, что с самого начала здесь господствовала точка зрения, которая впоследствии была сформулирована некоторыми из ученых как принцип «замкнутой каузальности».

Смысл этого принципа в данном случае заключается в признании того, что физическое следствие может быть

активировано действием лишь физической причины, что между этими явлениями можно констатировать лишь наличие прямой или *непосредственной* связи, что для воздействия одного из них на другое нет никакой необходимости искать в качестве посредствующего члена какое-нибудь иное явление, которое не принадлежало бы к категории явлений физических. Нужно полагать, что сравнительно быстрый темп развития естественных наук, характеризующий наше время, был бы вовсе невозможен, если бы не было уверенности, что физические явления находятся в непосредственной связи друг с другом и определяются в процессе этой взаимной связи.

Итак, быстрый темп развития в области естественных наук в значительной степени базируется на признании факта непосредственной связи между физическими явлениями. Нет ничего удивительного, что этот же принцип непосредственной связи явлений был перенесен и в сферу других наук в надежде, что это обстоятельство сделается основой такого же успешного темпа развития и в этих областях знания.

Нет сомнения, что явления психической жизни создают некоторое затруднение для признания принципа непосредственной связи между ними. Ведь они имеют смысл, поскольку опосредствуют нам особенности внешней ситуации, которая сама не является фактом психической действительности. Несмотря на это, и в психологии была сделана попытка положить в основу ее исследований все тот же принцип непосредственной связи явлений, в этом случае — принцип непосредственной связи между самими психическими явлениями. Согласно этой точке зрения, причины изменений в мире этих явлений следовало бы искать не где-нибудь за ними, а в них же самих, полагая, что психические явления обусловливаются психическими же причинами.

Теоретическое обоснование этой точки зрения дано «в принципе замкнутой каузальности природы», формулированной Вундтом.

Как известно, Вундт полагал, что психические следствия имеют в своей основе активность психических же причин. Но фактически эту точку зрения применяли в науке и до

Вундта. Гербарт, например, всю психическую жизнь, все ее содержание пытался объяснить фактами взаимодействия представлений. Характерно, что, по Гербарту, эти взаимодействия имеют чисто механический характер: сильное представление одолевает менее сильное и гонит его из пределов сознания. Поэтому вопрос о том, что является в каждый данный момент содержанием нашей психики, всецело зависит от отношений со стороны интенсивности между отдельными представлениями, имеющимися в каждый данный момент у субъекта. Ясно, что у Гербарта речь шла о *механике* представлений.

Еще определеннее, быть может, представлен принцип непосредственности в учениях *ассоцианионистической* психологии. Согласно основным положениям представителей этого течения, все содержание нашей психики определяется на основе непосредственной связи, ассоциации между нашими представлениями: достаточно появиться в сознании одному из членов этой связи, чтобы за ним последовало бы появление и другого, в каком-нибудь смысле связанного с ним представления. Отсюда понятно, что, согласно убеждениям ассоцианионистов, все содержание нашей психической жизни базируется на ассоциациях, закрепленных между психическими явлениями, — психические следствия вырастают на основе психических причин, психические процессы и явления действуют на психическую же сферу действительности.

Вундт, который, как известно, стоит в оппозиции как к психологии Гербарта, так и к ассоцианионистической психологии, не только продолжает практически базироваться на позициях непосредственности, но и пытается дать им некоторое философское обоснование. Он полагает, что единственно бесспорное наблюдение, которое имеется у человека, это наблюдение над единством сознания, т. е. над непосредственной взаимной связью психологических явлений между собой: психические процессы сами связаны взаимно друг с другом, сами оказывают непосредственно взаимные влияния друг на друга. Психология как эмпирическая наука должна, по мнению Вундта, целиком базироваться на этих бесспорных фактах и пытаться объяснить интересующие ее

явления, исходя из этих фактов. Это значит, что она должна полагать в основе явлений психики причины психического же характера; словом, искать объяснения психических фактов всецело внутри границ психической жизни. Всякую попытку оставить эти границы для того, чтобы искать объяснения психических явлений вне этих последних, следует считать, по Вундту, ненаучной и потому непродуктивной попыткой. Следовательно, психика, по представлению Вундта, должна быть понимаема как совокупность закономерно друг на друга действующих и взаимно связанных между собой сознательных явлений.

Эта точка зрения остается в силе в буржуазной психологии и по настоящее время. Одна из наиболее влиятельных современных психологических теорий, *гештальттеория,* определенно продолжает стоять на той же точке зрения непосредственности взаимной связи психических явлений. Основное положение этой психологической теории заключается в следующем: в сфере наших переживаний не частичные процессы оказывают влияние друг на друга и, таким образом объединяясь, создают сложные переживания, а, наоборот, именно эти последние определяют собой мир отдельных психических процессов, протекающих в нашем сознании. Но ведь оба эти процесса, как сложные целые, так и частичные, составляют мир психических явлений, и, следовательно, проблема психической причинности разрешается, согласно принципам гештальттеории, все так же на основе признания идеи непосредственной взаимной связи сознательных психических процессов между собой. Мы видим, идея непосредственности связи сознательных психических явлений и здесь остается в силе.

Но существует и другое направление в современной психологии, которое не признает принципа параллелизма между физическим и психическим феноменами — принципа, лежащего в основе указанных выше теорий. Оно допускает возможность взаимодействия между явлениями физическими и психическими. Согласно этой теории, ничто не мешает нам считать, что причинная связь может существовать и между

этими двумя категориями явлений: физическое, воздействуя на психическое, вызывает в нем ряд процессов, и наоборот.

Однако точка зрения непосредственности и в этом случае остается в силе. Здесь допускается факт наличия прямой, непосредственной связи даже между такими разнородными явлениями, как явления физические и психические. Так называемые теории взаимодействия отличаются от параллелистических не в чем-нибудь основном и принципиальном, а лишь в производном и второстепенном: мысль о непосредственном характере связи между этими явлениями в обеих этих теориях остается догматически принятым постулатом.

Но общепризнано, что человек, так же как и вообще все живое, достигает наличной в каждый данный момент ступени своего развития лишь в процессе взаимодействия со средой. Однако с точки зрения теории непосредственности это утверждение не выражает действительного положения вещей. Наоборот, оно полагает, что, в сущности, не человек, а психика его находится во взаимоотношениях со средой, что она представляет собой направляющую силу, что всю историю человека создает она — эта психика. Это чисто идеалистическое утверждение очень характерно для всей буржуазной психологии, и интересно, что оно принадлежит к числу ее кардинальных основных положений.

Конечно, попытка совершенно игнорировать субъекта и строить науку о психической жизни человека без всякого участия с его стороны, как это делала традиционная психология, не могла остаться незамеченной со стороны даже буржуазных мыслителей. И вот еще Гегель совершенно определенно поставил этот вопрос и попытался разрешить его как мог. Он утверждал, что субъект представляет собой «сознание или самосознание» и ничего более. Таким образом, говоря о факте взаимоотношения психики с окружающей средой, он хотел сказать, что субъектом этих взаимоотношений является человек, поскольку он ничего, кроме «сознания или самосознания», собой не представляет.

В том же смысле пытается разрешить эту проблему и Вундт. Он утверждает, что с точки зрения научной психологии субъект представляет собой лишь совокупность психи-

ческих явлений. Мыслить субъекта в ином понимании означало бы, по его мнению, восстановить в науке старое понятие о субстанции, что нисколько не подвинуло бы нас вперед в деле научного изучения фактов психической жизни. Таким образом, мы видим, что и Вундт формулирует свое отношение к интересующей нас здесь проблеме с позиций идеалистической философии.

Наибольший интерес с точки зрения стоящей перед нами проблемы представляет позиция В. Штерна. Принципы его «персоналистической» психологии в основном плохо согласуются с попытками сведения понятия персоны — этого основного понятия его философских и психологических построений — к идее той же совокупности психических фактов. Тем не менее, несмотря на ряд отступлений, он в конце концов все же принужден вернуться к идее связи психических процессов, регулируемых персоной. Так как у него вовсе не имеется точных указаний на фактическую действительность еще чего-либо иного (кроме обычных психических феноменов), могущего составить содержание понятия персоны, он, по существу, принужден ограничиться лишь этими феноменами, с прибавлением к ним тех же дополнительных определений, которые взяты исключительно из арсенала метафизических понятий, не имеющих действительного значения для науки. Ввиду отсутствия в системе Штерна позитивного содержания понятия личности, он принужден пользоваться при ее характеристике лишь обычными психологическими понятиями.

Таким образом, мы видим, что общепризнанным принципом традиционной психологии является положение о непосредственности характера связи между обычными психическими или между психическими и физическими процессами.

2. Эмпиристический постулат. К ряду таких же малопроверенных предпосылок эмпирической психологии относится положение, согласно которому в основу человеческой жизни следует полагать наличие некоторого чисто эмпиристического принципа, регулирующего всю жизнь и поведение живого существа. Смысл этого эмпиристического принципа сводится к следующему: между живым организмом и

средой следует предположить в принципе наличие глубокой пропасти, которая не дает живому организму возможности *непосредственно* пользоваться данными этой среды. Для того чтобы живое существо могло выделить в среде что-нибудь для него необходимое, что-нибудь подходящее для удовлетворения его потребностей, для этого оно должно обратиться к ряду «проб и ошибок» и продолжать эти «пробы и ошибки» до тех пор, пока случайно не натолкнется на что-нибудь подходящее для удовлетворения его потребности. Всю историю жизни такого животного нужно представлять себе по образу поведения в экспериментальном лабиринте, в котором, например, крыса обычно ориентируется именно в результате целого ряда «проб и ошибок». С этой точки зрения среда, в которой приходится жить животному, представляет собой громадный лабиринт, в котором удается ориентироваться в какой-то степени лишь в результате большого количества проб, сопровождающихся не менее большим количеством ошибок. Условия и образ жизни животных на данных ступенях их развития представляют собой продукт длинного ряда «проб и ошибок», совершенных в не менее длинном ряду предшествующих поколений.

Такова эмпиристическая предпосылка современной буржуазной психологии. Нетрудно было бы показать, с какой исключительностью господствует эта точка зрения в современной науке. Однако я не думаю останавливаться здесь на этом. Я хочу лишь обратить внимание читателя на то, что в наше время была сделана попытка с тем, чтобы хоть несколько смягчить безусловное господство этой эмпиристической предпосылки в нашей науке. В данном случае я имею в виду учение представителей гештальттеории об особой форме нашего познавательного отношения к действительности, которую они называют Einsicht (insight). Особенно останавливается на этом понятии Кёлер, который, кажется, впервые и ввел его в науку. Он отмечает наличие этого познавательного пути у антропоидов, которым нужно было разрешить специально для них построенную задачу на овладение кормом, находящимся в их поле зрения. Антропоиды сразу овладевали задачей, после некоторого числа неудачных опытов они ее

разрешали «раз и навсегда», без постепенно подвигающихся вперед попыток ее разрешения. По мнению Кёлера, в данном случае мы имеем дело не с процессом постепенного приближения животного к возможности овладения задачей, а с фактом сразу открывшегося ему способа ее разрешения. Он считает, что в этом случае мы имеем дело с актом своеобразного *усмотрения* (Einsicht) способа решения задачи животным, отличающегося от дискурсивного пути мышления, свойственного человеку.

Более близкой характеристики Einsicht, могущей открыть ее истинное содержание, автор по существу не пытается дать, и в дальнейших исканиях по этому вопросу не оказывается ничего существенного, что можно было бы положить в основу понятия об этом своеобразном «способе мышления». Поэтому-то в настоящее время совершенно определенно наблюдается в науке ряд попыток сведения Einsicht к явлению обычных познавательных процессов.

В таком исходе научного мышления о природе Einsicht в наших условиях нет, собственно, ничего неожиданного. Поскольку в распоряжении психологической науки находятся пока лишь мысли о наличии обычных явлений нашего сознания, в данном случае о наших обычных познавательных процессах, ничего общего не имеющих с Einsicht, трудно себе представить, чтобы наблюдения в этом роде нашли бы себе адекватную квалификацию.

Но если допустить, что, помимо обычных явлений сознания, у нас имеется и нечто другое, что, не являясь содержанием сознания, все же определяет его в значительной степени, то тогда перед нами открывается возможность судить о явлениях или фактах, подобных Einsicht, с новой точки зрения, а именно: открывается возможность обосновать наличие этого «другого» и, что особенно важно, вскрыть в нем определенное реальное содержание.

Если признать, что живое существо обладает способностью реагировать в соответствующих условиях активацией установки, если считать, что именно в ней — в этой установке — мы находим новую сферу своеобразного отражения действительности, о чем мы будем говорить подробнее ниже, то

тогда станет понятным, что именно в этом направлении и следует искать ключ к пониманию действительного отношения живого существа к условиям среды, в которой ему приходится строить свою жизнь.

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мы должны исходить из мысли о наличии двух основных условий, без которых акты поведения человека или какого-либо другого живого существа были бы невозможны. Это прежде всего наличие какой-либо *потребности* у субъекта поведения, а затем и *ситуации*, в которой эта потребность могла бы быть удовлетворена. Это — основные условия возникновения всякого поведения, и прежде всего установки к нему. Нам необходимо ближе познакомиться с этими условиями.

1. Потребность. В науке нередко приходится встречаться с термином «потребность». Особенно часто используется он в экономических науках. Здесь, однако, мы не думаем лишь о том значении, которое мыслится в понятии потребности специально с позиций экономических наук. В данном случае мы имеем в виду самое широкое значение этого слова — не только экономическое. Если представить себе, что организм испытывает нужду в чем-нибудь, например в экономическом благе, в какой-нибудь другой ценности — практической или теоретической безразлично, в самой активности или, наоборот, в отдыхе и т. п., то во всех этих случаях можно говорить, что мы имеем дело с той или иной потребностью. Словом, как потребность можно квалифицировать всякое состояние психофизического организма, который, нуждаясь в изменениях окружающей среды, дает импульсы к необходимой для этой цели активности.

При этом нужно помнить, что активность должна быть понимаема в данном случае не только как прием, гарантирующий нам средства удовлетворения потребностей, а одновременно и как источник, дающий возможность непосредственного их удовлетворения.

Дело в том, что необходимо различать два основных рода потребностей — потребности *субстанциональные* и потребности функциональные.

В первом случае мы имеем в виду потребности, для удовлетворения которых необходимо что-нибудь субстанциональное, нечто, по получении чего потребность оказывается удовлетворенной. Так, например, состояние голода представляет собой пример определенной субстанциональной потребности: для того чтобы утолить голод, необходимо иметь, например, хлеб.

Но эта категория еще не исчерпывает всех имеющихся у нас потребностей. Как мы только что отметили, в живом организме намечается стремление к тому или иному виду активности. В организме констатируется не нужда в чем-либо субстанциональном: он стремится к активности как таковой, он нуждается просто в самой деятельности. Это значит, что естественное состояние живого организма вовсе не заключается в неподвижности. Наоборот, живой организм находится в состоянии постоянной подвижности. Он прекращает ее лишь временно и условно. Это — тогда, когда организм принужден обратиться к отдыху, хотя, впрочем, и здесь абсолютной приостановки деятельности у него никогда не бывает: органические процессы и в этих случаях, как и во всех других, продолжают быть активными. В зависимости от условий, в которых приходится жить организму в каждый данный момент, у него появляется потребность к деятельности и функционированию в том или ином направлении. Этого рода потребности мы и называем *функциональными* потребностями*.

Эти две основные группы исчерпывают все богатства потребностей, имеющихся у животных. Но они же служат основными категориями и тех потребностей, какие появляются у человека по мере развития условий его социальной, его культурной жизни. Культура порождает у него ряд новых потребностей, и чем дальше она развивается, тем обширнее становится их круг. В качестве примера потребности, которую можно было бы считать чисто человеческой, можно назвать *теоретическую* потребность. Правда, в литературе мы нередко имеем случаи, когда речь заходит относительно та-

---

* Ср.: *Д. Н. Узнадзе.* Психология ребенка. 1946.

ких, как я думаю, чисто человеческих признаков у животных, в частности у обезьян, каким является, например, любознательность. Но, строго говоря, нет оснований антропоморфизировать даже признаки высших обезьян. Сейчас я хочу лишь отметить, что, бесспорно, в качестве своеобразной группы потребностей, выработавшихся у человека, можно назвать группу *теоретических* потребностей.

Но являются ли эти последние чем-либо новым с точки зрения той основной группировки потребностей, которую мы наметили выше? Субстанциональной считать теоретическую потребность или функциональной?

Если мы вдумаемся в понятие теоретической потребности, мы найдем, что речь идет здесь о случаях, в которых субъект, стоящий перед теоретическим разрешением задачи, *останавливается*, прекращает соответствующие манипуляции, к которым он прибегает в процессе работы над задачей, и обращает ее, эту задачу, в специальный объект своего размышления. Вот, собственно, перед нами момент объективации (о чем мы будем говорить ниже), за которым начинается процесс теоретического отношения к задаче*.

Спрашивается: что мы имеем здесь? К какой категории можно отнести потребность, которую мы стремимся удовлетворить в этом случае?

Конечно, говорить здесь о функциональных потребностях вряд ли имеются основания. Акты теоретической мысли направлены, несомненно, не на цель удовлетворения той или иной функциональной потребности. Они, эти акты, нужны для вполне определенных целей, скажем, для разрешения вопроса о том, в чем, собственно, заключается задача или какие правила было бы целесообразнее всего применить при ее решении. Нет сомнения, что задача теоретического отношения к предмету стоит несравненно ближе именно к этой категории потребностей, чем к категории функциональных потребностей. При разрешении задач последней категории нет никакой нужды в теоретической работе: наличная в этих случаях потребность вовсе не требует процессов осознания,

---

* *Д. Н. Узнадзе.* Проблема внимания // Психология. 1947. Вып. 4.

часто необходимых в случаях удовлетворения потребностей субстанциональных. И в этом нет ничего удивительного, поскольку при удовлетворении субстанциональных потребностей всегда может возникнуть вопрос, как и в какой степени данный материал способен удовлетворить наличную потребность. А это уже вопрос, который требует осознания в теоретическом плане, прежде чем взяться за его практическое разрешение.

Таким образом, теоретические потребности возникают лишь в помощь нашим субстанциональным потребностям. Поскольку они рассчитаны всегда на то, чтобы обеспечить удовлетворение этих последних, мы могли бы сказать, что теоретические потребности представляют собой лишь дальнейшее осложнение субстанциональных потребностей. Не касаясь сейчас высших ступеней развития теоретического мышления, мы можем утверждать, что оно — на начальных стадиях своего развития, во всяком случае, — ничего иного не представляет, как форму дальнейшего осложнения процесса удовлетворения субстанциональных потребностей.

Правда, мы знаем немало случаев действий, направленных на удовлетворение функциональных потребностей. Но это бывает обычно лишь при возникновении какого-нибудь из препятствий, затрудняющих нас при выполнении актов, необходимых для удовлетворения этих потребностей. Однако возникающая в данном случае задача — определить, что же является причиной этих затруднений, — это уже задача вовсе не функционального характера. Она является самостоятельной задачей, разрешение которой требуется в данном случае в интересах субъекта, настроенного на удовлетворение функциональных потребностей, но — не непосредственно, а лишь косвенно, как необходимое условие для достижений его прямых целей.

Коротко говоря, в данном случае мы имеем дело с ситуацией, в которой для осуществления прямых целей субъекта — удовлетворения его функциональных потребностей — предварительно требуется разрешение теоретической задачи — выяснения причин, затрудняющих осуществление этих целей.

Таким образом, потребности теоретического характера могут иметь место и в случаях удовлетворения функциональных потребностей, но от этого сами они далеко еще не становятся потребностями функционального содержания.

Итак, мы находим, что одним из основных условий активности субъекта является наличие в нем какой-нибудь определенной потребности, которая может быть субстанциональной или функциональной. На человеческой ступени развития мы становимся свидетелями выступления нового вида потребностей, т. е. *теоретической* потребности. Но анализ показывает, что она относится скорее к категории субстанциональных, чем функциональных потребностей.

2. Ситуация. Необходимым условием появления установки в определенном направлении, кроме потребности, является и наличие соответствующей ей *ситуации*. Если ее нет, то нет и установки: без наличия факта совместного и согласованного воздействия ситуации и потребности на субъект нет основания к тому, чтобы в этом последнем образовалась установка и чтобы, следовательно, он был готов к действию.

Конечно, потребность может существовать и вне ситуации, делающей возможным ее удовлетворение. Но в таком случае она не имеет законченного, индивидуально определенного характера. Она получает его лишь в результате воздействия наличной ситуации, могущей принести ей удовлетворение: потребность конкретизируется, она становится индивидуально определенной потребностью, удовлетворение которой возможно в конкретных условиях данной ситуации лишь при наличии этой последней. Пока такой ситуации нет, потребность продолжает оставаться неиндивидуализированной. Но достаточно появиться определенной ситуации, нужной для удовлетворения этой потребности, чтобы в субъекте возникла конкретно очерченная установка и он почувствовал бы в себе импульс к деятельности в совершенно определенном направлении.

Таким образом, для возникновения установки необходимо наличие соответствующей ситуации, в условиях которой она принимает вполне определенный, конкретный характер.

Следовательно, объективным фактором, определяющим установку, следует считать именно такого рода ситуацию.

Мы видим, что установка создается не на основе наличия одной только потребности или одной только объективной ситуации: для того чтобы она возникла как установка к определенной активности, нужно, чтобы потребность совпала с наличием ситуации, включающей в себя условия для ее удовлетворения.

Здесь было бы интересно коснуться учения Левина о «побуждающем характере» определенного круга представлений (Aufforderungscharakter). Характер этот выступает, по его мнению, в случаях наших отношений к вещам и явлениям, в которых мы нуждаемся. Когда у нас возникает какая-нибудь потребность, то объекты или явления, имеющие к ней отношение, приобретают некоторую силу по отношению к нам: они заставляют нас действовать в определенном направлении, они призывают нас к определенным актам деятельности: хлеб влечет голодного к тому, чтобы он схватил и съел его; постель влечет усталого лечь в нее. Но эта побуждающая, эта направляющая сила обнаруживается только в тех случаях, в которых субъект имеет соответствующую потребность. Достаточно ее удовлетворить, чтобы вещи и явления потеряли эту силу.

Это учение Левина интересно в том отношении, что оно представляет собой результат правильного наблюдения, согласно которому вещи и явления, когда они выступают компонентами ситуации удовлетворения какой-нибудь актуальной потребности, действительно становятся как бы силой по отношению к субъекту этой потребности: они как бы тянут его к себе в буквальном смысле слова. Но это бывает лишь в тех случаях, когда соответствующая потребность определенно имеется у субъекта. Левин в этом случае дает фактическое наблюдение, которое соответствует предположению о возникновении установки в определенном направлении лишь у субъекта, имеющего определенную потребность, и при наличии ситуации, необходимой для ее удовлетворения.

Итак, мы видим, что для возникновения установки в определенном направлении требуются условия субъективного и

объективного характера: нужно наличие как потребности, так и ситуации, в которой она может быть удовлетворена.

Это — два основных условия, которые абсолютно необходимы для того, чтобы могла возникнуть какая-нибудь определенная установка. Конечно, вне субъективных и объективных условий вообще никакой активности не бывает. Но в данном случае мы утверждаем не только это. Здесь мы хотели бы обратить внимание и на то обстоятельство, что необходимым и действительным условием возникновения установки следует считать как бы некоторое единство обоих этих условий. В нашем случае это единство осуществляется в следующем: потребность, которая имеется в субъекте, становится вполне определенной конкретной потребностью лишь после того, как выясняется объективная ситуация в форме какой-нибудь конкретной ситуации, предоставляющей субъекту возможность удовлетворения данной потребности; оба момента — и ситуация, и потребность — определяются как конкретные факты в связи друг с другом.

ОБОБЩЕННЫЙ ХАРАКТЕР УСТАНОВКИ

1. О возможности экспериментального изучения организма как целого. Если мы бросим взгляд на все случаи, в которых выше мы констатировали участие установки, то увидим, что не существует почти ни одной более или менее значительной сферы отношения субъекта к действительности, в которой это участие было бы вовсе исключено. Мы устанавливаем отношения с действительностью в первую очередь через наши рецепторы, и из них наибольшее значение для нас имеют, конечно, *дистантные* рецепторы, т. е. рецепторы, опосредствующие в первую очередь наши зрительные и слуховые впечатления. Констатированные выше нами факты иллюзий объема, а также иллюзии слуха имеют отношение к этой категории рецепторов.

Но действие установки касается и так называемых *контактных* рецепторов, и из них прежде всего рецепторов тактильного, а также мускульного чувства. Иллюзии установки, как мы видели, констатируются и в этих чувственных модальностях. Это — прежде всего мюллеровская иллюзия

тяжести, а затем и вскрытые нами тактильные иллюзии. Что же касается остальных контактных чувств — вкуса и обоняния, — то, нужно полагать, аналогичные иллюзии можно было бы констатировать и в них, но, поскольку они играют сравнительно незначительную роль в наших человеческих отношениях с действительностью, мы могли бы их здесь вовсе не касаться.

Круг разновидностей наших иллюзий далеко еще не ограничивается этим. Они встречаются не только при оценках количественных и качественных отношений. Достаточно вспомнить отмеченные нами выше опыты с индифферентным шрифтом, чтобы это стало ясным.

Но о чем говорит нам все это?

Если считать, что наши иллюзии в определенных условиях возникают во всех модальностях человеческих чувств, то это значит, что иллюзии эти имеют общий характер и что они вовсе не являются иллюзиями, обусловленными особыми условиями деятельности какого-нибудь из наших органов; наоборот, скорее всего, они представляются иллюзиями, коренящимися в закономерностях активности всего организма как целого. Короче говоря, мы должны считать, что в фактах этих иллюзий вскрывается одна из закономерностей деятельности живого организма как единого, нераздельного целого.

С этой точки зрения кажется бесспорным, что в случаях этих иллюзий мы имеем дело с феноменами, имеющими гораздо больше значения, чем любые другие феномены, характеризующие стимулирующий их живой организм с определенных частных точек зрения. Нужно полагать, что эксперименты с этими иллюзиями установки впервые дают нам возможность поставить вопрос об изучении активности живого организма как целого.

2. Проблема иррадиации установки. Если поглубже вглядеться в феномены наших иллюзий, мы увидим, что они в своей основе действительно не должны быть понимаемы как явления локального характера. Правда, Мюллер, а за ним и Ах, как и вообще все современные психологи, которым приходится высказываться относительно установки, трактуют ее

как один из обычных процессов психики. Но более внимательное исследование этих феноменов, как мы увидим ниже, не оставляет сомнения в том, что эта точка зрения устарела и в явлениях установки мы имеем дело, бесспорно, с новой сферой действительности, изучение которой представляет несомненно большой интерес для понимания психической жизни вообще.

Специальные опыты, поставленные нами для освещения этого вопроса, вполне подтверждают это предположение.

В основу этих опытов легло следующее соображение: если допустить, что установка представляет обычный локальный процесс, протекающий где-нибудь в определенном месте нашего психофизического организма, то, ясно, она должна иметь отношение исключительно к тем его сферам, которые принимают непосредственное участие в установочных опытах, в то время как другие сферы его должны оставаться совершенно нетронутыми. Так, если установка была активизирована, например, в одной левой или правой руке или в одном глазу, другие члены пары должны оставаться совершенно свободными от влияния. Следовательно, для активирования установки и в них должны быть проведены специальные установочные опыты. Но если допустить, что достаточно провести установочные опыты в области одного из глаз или одной из рук, чтобы установка появилась одновременно и в другом члене пары, то это дало бы нам аргумент в пользу предположения, что установка представляет собой скорее целостный, чем узко ограниченный локальный процесс.

Вопрос этот был разрешен в отрицательном смысле в опытах Стефенса. Этот автор нашел, что «моторная» установка, которую он изучал, представляет собой чисто локальный феномен, что она, будучи вызвана в одной руке, здесь и остается, не распространяясь на другой член пары. К тому же, по-видимому, пришел и Ах, который, говоря о необходимости признания специфического вида установки, так называемой сенсорной установки, подчеркивает, что моторная установка не распространяется на корреспондирующий орган, чего, по его мнению, нельзя сказать относительно сенсорной установки. Стефенс полагает, что установка должна быть

понимаема как процесс периферического характера, и поэтому нет ничего удивительного в том, что она — эта установка — ограничивается лишь той областью, где она специально была выработана, и не распространяется механически с одного из корреспондирующих органов на другой.

Первоначально, когда мы только еще начинали наши исследования по иллюзии установки, нам два раза пришлось проверить верность результатов наших опытов по следующему поводу. Сначала, в порядке обычной последовательности наших исканий мы провели опыты по вопросу об иррадиации установки на корреспондирующий орган, а именно мы проводили установочные опыты в одной из рук, скажем, в правой руке; в левую же мы давали равные шары в качестве критических. Результаты опытов, которые суммированы в табл. 6, совершенно недвусмысленно указывают, что установка сама собой, — без специальных для этого органа установочных опытов, — распространяется с одного органа на другой: число иллюзорных восприятий в этом случае в левой руке оказалось выше 83 % (табл. 6), а из них 60 % составляли иллюзии по контрасту.

Таблица 6

Число опытов	+	–	=
85	60%	23,5%	16,5%

Таким образом, мы могли не сомневаться, что моторная установка, будучи фиксирована в одном из корреспондирующих органов, автоматически распространяется и на другой орган.

Знакомство с работами Стефенса и Аха, которое последовало значительно позднее, побудило меня еще раз повторить эти опыты, с тем чтобы проверить правильность наших данных, суммированных в табл. 6. По моему поручению опыты были проведены одним из моих сотрудников, и полученные в этих опытах результаты суммированы в табл. 7. Здесь мы видим, что наши опыты не ограничиваются данными перехо-

Таблица 7

Порядок опытов	+	–	=
С правой на левую	56%	32%	12%
С левой на правую	64%	24%	12%

да установки с одной руки на другую, они касаются обоих из возможных случаев – возможности иррадиации с правой руки на левую или с левой на правую. Табл. 7 показывает, что данные этих контрольных опытов целиком подтверждают верность данных, суммированных в табл. 6.

Прежде всего интересно отметить, что количество иллюзорных восприятий в обоих критических опытах одинаково: оно равно как при иррадиации налево, так и при иррадиации направо 88 %. Разница касается лишь распределения случаев контрастных и ассимилятивных иллюзий.

Но еще интереснее, что эти данные почти полностью совпадают с данными, суммированными в табл. 6. Особенно это касается числа, наиболее характерного в этих опытах, — числа контрастных иллюзий. Во всяком случае, результаты опытов полностью подтверждают наше положение об иррадиации установки с одного из корреспондирующих органов на другой, в этом случае — с одной руки на другую.

В дальнейшей нашей практике вопрос этот, вопрос о возможности иррадиации установки с одного органа на другой, считается окончательно разрешенным и мы больше к нему не возвращаемся. Мы ставим опыты лишь по вопросу о степени иррадиации установки в каждом отдельном случае.

Но мы, конечно, должны иметь в виду, что свойство иррадиации характеризует установку не специально в одной какой-нибудь модальности, оно характеризует ее вообще. Специально с этой точки зрения нами был проведен ряд опытов в различных модальностях наших чувств.

Прежде всего нужно было убедиться, иррадиирует ли установка, выработанная в одном глазу, и на другой глаз. С этой целью мы провели следующую вариацию наших опытов.

Испытуемый закрывает один (например, левый) глаз, а другим фиксирует раздражитель, появляющийся в тахистоскопе. В установочных опытах мы предлагаем ему два круга, отличающиеся друг от друга по размерам. В критическом же опыте испытуемый получает два равных круга, и на этот раз он должен следить за ними левым глаэом и сравнивать их между собой. Таким образом, эти опыты рассчитаны на то, чтобы проверить, распространяется ли установка с одного глаза на другой.

Табл. 8, которая включает в себя данные этих опытов, показывает, что факт иррадиации налицо и в этом случае.

Таблица 8

Число испытуемых	+	–	=
86	69,8%	7%	23,2%

Таким образом, мы можем заключить, что установка, фиксированная в одном из парных органов (руки, глаза), иррадиирует и на другой орган, хотя этот последний, по-видимому, может быть вовсе отстранен от участия в установочных опытах.

Но сейчас же возникает новый вопрос: ограничивается ли факт иррадиации установки пределами одних лишь корреспондирующих органов или же пределы ее распространения значительно шире? Нужно полагать, что этот вопрос должен быть разрешен в положительном смысле, если установка не локальное состояние какой-нибудь отдельной части организма, а состояние его как целого. Поэтому результаты опытов по этому вопросу представляют для нас особенно большой интерес, поскольку они призваны окончательно разрешить интересующую здесь нас проблему.

В одной из серий опытов мы поступаем следующим образом: испытуемый получает в руки 15–25 раз пару деревянных шаров: в правую — шар большего объема, а в левую — меньшего. После этих установочных серий мы ставим крити-

ческий опыт тахистоскопически: испытуемый должен сравнить оптически между собой в отношении площади два объективно равных круга. Результаты этих опытов должны разрешить интересующий здесь нас вопрос. Они должны показать, влияет ли установка, созданная в гаптической сфере, на оценку отношений зрительных восприятий, или точнее: ограничивается ли фиксированная в руках установка только областью рук или она вовлекает в сферу своего влияния и зрительную область. Результаты этих опытов, проведенных в нашей лаборатории, суммированы в табл. 9.

Таблица 9

Число опытов	+	–	=
71	48%	8,4%	22,5%

Здесь мы видим, что наши результаты в общем подтверждают предположение о возможности иррадиации установки и на столь отдаленные сферы, как сферы гаптическая и зрительная. Мы находим, что иррадиация имеет место не менее чем в 56,4% случаев. Это достаточно высокая цифра для того, чтобы не сомневаться в фактической достоверности такого рода феномена.

Но этого мало! В этих опытах в роли критических объектов выступают фигуры, отличающиеся друг от друга приблизительно на 1–2 мм. А именно, когда в установочных опытах шар с большим объемом находится в правой руке, а шар с меньшим — в левой, то в критических направо демонстрируют больший (на 1–2 мм), а налево меньший по величине круг. Несмотря на это обстоятельство, число контрастных иллюзий, полученных в этих условиях, доходит до 48% всех случаев. Нужно полагать, что этот процент значительно повысился бы, если бы испытуемые получали в критических опытах равные, как обычно, раздражители. Во всяком случае несомненно, что 48% контрастных иллюзий в этих условиях — цифра, не оставляющая сомнения в том, что и в данном случае иллюзия представляет собой неоспоримый факт.

Если мы поставим вопрос о возможности иррадиации в обратном направлении, т. е. из зрительной области в гаптическую, то из серии опытов, которые были проведены в нашей лаборатории*, становится ясным, что иррадиация наблюдается и в этом случае. Правда, число констатации неравенства экспериментальных критических объектов здесь, как и вообще в опытах с иррадиацией, сравнительно невысоко, но тем не менее все-таки ясно, что иррадиация установки — в форме преобладания контрастных и ассимилятивных иллюзий вместе — встречается чаще, чем в 46% всех случаев (табл. 10).

Таблица 10

Иррадиация, %	+	–	=	?
С опт. на гапт.	13,3	33,3	26,6	26,6
С муск. на гапт.	46,6	6,6	13,3	33,3
С гапт. на муск.	13,3	13,3	20,0	53,3
С опт. на муск.	26,6	6,6	13,3	53,3
С муск. на опт.	20,0	33,3	26,6	20,1

Следует иметь в виду, что в этих опытах Адамашвили, которой и было нами поручено проверить состояние иррадиации установки в ряде чувственных модальностей (от гаптического чувства к оптическому, от мускульного к гаптическому, от оптического к мускульному и наоборот), обычные опыты были уточнены в том смысле, что от испытуемых требовали, чтобы они сосредоточили свое внимание не на материале, при помощи которого производились опыты, а на чистом соотношении экспериментальных объектов. А в таком случае, как мы уже имели возможность указать, число иллюзорных восприятий несколько уменьшается. Вероятно, этим и объясняется факт некоторого снижения числа иллюзорных показаний в этих опытах. Тем не менее число это все

* *Н. Г. Адамашвили.* К вопросу об иррадиации фиксированной установки // Труды Тбилис. гос. ун-та. 1941. Т. XVII.

же достаточно высоко для того, чтобы иметь основание решительно говорить о фактах иррадиации наших иллюзий в различных направлениях.

Далее представляет интерес, иррадиирует ли установка, фиксированная в мускульной сфере, и в гаптику и наоборот, и если это имеет место, то спрашивается, в какой степени. Результаты опытов, проведенных специально с этой целью, представлены в табл. 10.

Мы находим, что показатель иррадиации установки в данном случае достаточно высок: более 53 % контрастных и ассимилятивных иллюзий вместе вовсе не составляют низкой цифры. Это станет еще более бесспорным, если обратить внимание на распределение данных нашей таблицы, особенно на число контрастных иллюзий, наиболее показательных в этих количественных опытах,

Далее следует вопрос об иррадиации установки, наоборот, из гаптической сферы в мускульную. Та же табл. 10 говорит нам, что и это имеет место, хотя в сравнительно незначительном числе случаев (26,6 % контрастных и ассимилятивных иллюзий вместе). Но если обратить внимание на сравнительно высокий процент неопределенных ответов (под рубрикой «?»), то станет понятно, что 26,6 % иллюзий в этих условиях мы считаем вполне достаточным для того, чтобы утверждать, что иррадиация установки и здесь налицо, как и в обратных этим опытам случаях, в которых, как мы только что видели, число фактов иррадиации доходит до 53 % с лишним.

Что касается иррадиации установки с оптической сферы на мускульную, то бросается в глаза, что процент неопределенных ответов и здесь очень высок — 53,3. Нужно полагать, что это обстоятельство должно было повлиять на цифры, указывающие на наличие здесь иррадированной иллюзии. Так, общее число случаев иррадиации здесь равно 33,2 %. Если учесть, что число случаев, в которых иллюзии не оказалось вовсе, представлено сравнительно низкой цифрой (13,3 %), то 33,2 % несомненных случаев иррадиации в этих условиях следует расценивать как достаточно высокую цифру.

Если рассмотреть, наконец, данные об иррадиации установки, наоборот, с мускульной сферы в оптическую, то мы увидим, что они стоят на достаточно высоком уровне (табл. 10). Случаев иррадиации здесь в общей сложности более 53 %, тогда как на ее отсутствие указывает лишь сравнительно низкая цифра — 26,6 %. Это дает нам право определенно утверждать, что созданная на различении тяжести установка, распространяясь и на зрительную сферу, обусловливает восприятие равных объектов как явно неравных.

Таким образом, мы видим, что все эти опыты не оставляют сомнения в факте наличия иррадирования установки из одной чувственной области в другую. Получается впечатление, что рассмотренные здесь чувственные модальности, которые в истории становления вида дифференцировались в достаточно определенной степени, в основном все же не утеряли своего единства: они и сейчас являются органами единого целого, который пользуется ими как своими служебными орудиями при разрешении задач, возникающих перед ним.

3. Генерализация установки. Сейчас нам необходимо коснуться еще одного свойства установки, свойства, о котором мы уже имели случай говорить выше.

Мы только что видели, что одной из основных особенностей установки следует считать ее иррадиацию. Но наряду с этой последней мы открываем в ней еще одну особенность, которая, по-видимому, стоит близко к особенности иррадиировать. Я называю ее *генерализацией.*

Когда мы вырабатываем в субъекте какую-нибудь фиксированную установку, скажем, установку, что шар направо меньше, чем шар налево, то в критических опытах оказывается, что эта установка сохраняет свою силу и по отношению к ряду других предметов, имеющих мало общего с шаром, например по отношению к кубикам, к многогранникам и т. д. Еще ярче проявляется действие установки в тахистоскопических опытах, в которых варьировать фигуры критических опытов значительно легче.

Выше, когда у нас речь шла относительно фактора фигуры в действии установки, нам пришлось познакомиться с

фактами, родственными тем, которые сейчас нас интересуют*.

Мы видели тогда, что фиксированная, например, на разницу площади двух кругов установка ассимилирует ряд критических фигур, которые имеют очень мало общего с кругом. Как мы знаем, это может идти так далеко, что можно утверждать, что установка в этих случаях фиксируется скорее на соотношение вообще, чем на соотношение данных фигур.

4. Установка не является феноменом сознания. Мы показали, что установка, касаясь материала, получаемого субъектом при помощи всех его реципирующих органов, должна быть понимаема не как их специальная функция, а как общее состояние индивида. Факты широкой ее иррадиации и генерализации, на которых мы только что останавливались, подтверждают и определяют это положение.

Возникает вопрос: как же понимать это состояние?

Если оно — это состояние установки — представляет собой феномен сознания, то тогда придется считать его одним из многих явлений, имеющих в нем место наряду с другими. Но мы видели, что установка не может быть отнесена к этой категории явлений. Она должна представлять собой скорее *некоторое общее состояние, которое касается не отдельных каких-нибудь органов субъекта, а деятельности его как целого.*

Для того чтобы получить материал по этому вопросу, лучше всего обратиться к помощи эксперимента. Выше мы уже имели случай использовать опыты с постгипнотическим внушением** для разрешения вопроса о теории ожидания как основы наших иллюзий установки. Мы считаем, что эти же опыты дают нам вполне определенный ответ в первую очередь именно на вопрос, который сейчас стоит перед нами.

---

* *И. Ходжава.* Действие установки на основе абстракции материала // Труды Тбилис. гос. ун-та. 1941. Т. XVII. *Н. Л. Элиава.* Процесс прекращения действия установки, созданной на чистое соотношение. Там же.

** *Д. Н. Узнадзе.* К теории постгипнотического внушения // Труды Ин-та функц. нервн. забол. 1936. Т. 1.

Мы уже упоминали выше, как протекают эти опыты. После того как испытуемый переводится в состояние глубокого гипнотического сна, ему даются в руки шары — один большой, другой малый — с предложением сравнить их друг с другом и сказать, какой из них больше. После значительного числа повторений этих опытов испытуемый выводится из гипнотического состояния в другой комнате и здесь проводятся с ним критические опыты, т. е. ему даются в руки одинаковые шары с предложением сравнить их между собой.

Мы выше, в другой связи, уже упоминали об этих опытах. Но полученные в них результаты представляют большой интерес и с точки зрения занимающего сейчас нас вопроса.

Дело в том, что испытуемые, ничего не зная об установочных опытах, проведенных с ними во время гипнотического сна, в критических опытах все же обнаруживают обычную иллюзию установки: один из шаров, как правило, кажется им почти всегда больше другого, и это — определенно под влиянием проведенных во время гипнотического сна установочных опытов. Нужно заметить, что, как уже упоминалось выше, несмотря на факт обычной в таких случаях постгипнотической амнезии, мы все же внушали испытуемым, что они не будут помнить, что они делали во время гипнотического сна. Значит, бесспорно, что испытуемые, несмотря на то что сознательно ровно ничего не помнят об установочных опытах, проведенных с ними во время гипнотического сна, все же оказываются фактически под решающим влиянием этих опытов.

Совершенно ясно, что в результате установочных опытов у испытуемых вырабатывается какое-то состояние, которое, оставаясь вне пределов их сознания, все же сохраняет способность оказывать на него решительное влияние: не будь с ними этих установочных опытов, равные шары критических экспозиций они воспринимали бы, как правило, вполне адекватно.

Таким образом, становится бесспорным, что в нас существует некоторое состояние, которое, само не будучи содержанием сознания, имеет, однако, силу решительно на него действовать. В наших опытах это состояние вырабатывается

в результате действия установочных экспозиций, и факт восприятия равных критических шаров неравными является закономерным результатом активности этого — *внесознательного* — состояния.

Коротко говоря, на основе результатов этих опытов мы можем утверждать, что наши состояния сознания могут протекать под воздействием не обязательно других сознательных процессов: они могут определяться и такими процессами, которые не имеют определенного места в сознании и, значит, не являются сознательными психическими фактами. Мы должны признать, что, как это бесспорно видно из наших опытов, помимо сознательных психических процессов существуют и в известном смысле «внесознательные», что, однако, не мешает им играть очень существенную роль. В нашем случае эту роль, как мы видели, играет установка, которую мы предварительно, в состоянии гипнотического сна, фиксировали у наших испытуемых. Эта установка в наших опытах ни разу не являлась содержанием сознания. Тем не менее она оказывалась, несомненно, в силах действовать на него: объективно равные шары переживались как определенно неравные.

Таким образом, мы можем утверждать, что наши сознательные переживания могут находиться под определенным влиянием наших установок, которые, со своей стороны, вовсе не являются содержаниями нашего сознания.

5. Ненужность понятия бессознательного. Это дает нам право утверждать, что в распространенных учениях о большой роли бессознательного в психике человека несомненно имеется какое-то очень существенное основание. Однако ближайшее знакомство с этим учением показывает, что основание это не продумано до конца, и потому вся концепция оказывается малоубедительным и слишком искусственным построением.

Нет сомнения, что наиболее слабым пунктом учения о бессознательном, например у Фрейда, является утверждение, что разница между сознательными и бессознательными процессами в основном сводится к тому, что эти процессы, будучи по существу одинаковыми, различаются лишь тем,

что первый из них сопровождается сознанием, в то время как второй не сопровождается сознанием. Что же касается их самих, то внутренняя природа и структура их остаются в обоих случаях одинаковыми.

В таком освещении становится понятным, что бессознательные процессы, которые играют столь существенную роль, например, при психических заболеваниях, могут стать сознательными сначала для психоаналитика, а потом, в определенных условиях, и для самого больного. По учению психоаналитиков, с переживаниями больного не происходит по содержанию ничего нового, ничего существенного: какое-то содержание не освещалось у него лучами сознания, теперь оно освещается этими лучами, и этого в основном достаточно, чтобы больной стал вполне здоровым человеком.

Согласно этому учению, все дело сводится к прошлому больного — к каким-то переживаниям, которые имели или могли иметь место когда-то в сознании, но в первом случае подверглись забвению, а во втором с самого же начала были «вытеснены» оттуда. Кажется, что «осознать» в этом случае означает в основном не более как «вспомнить». И получается впечатление, что забытые содержания сознания продолжают жить и действовать вне сознания и, таким образом, оказывают влияние на поведение субъекта.

Можно утверждать, что наиболее существенным источником, из которого проистекают основные трудности, например всего учения Фрейда, является именно эта концепция бессознательного. Я думаю, если бы удалось освободить понятие бессознательного от обычного для сознательной жизни психического содержания, если бы удалось найти для него иное содержание, которое, по существу, не было бы радикально оторвано от связи с психикой, то тогда мы бы получили в руки орудие, которое дало бы нам возможность глубже вникнуть в действительное положение вещей.

Мы видели, что понятие установки как раз и представляет собой концепт, который больше всего подходит для решения этой задачи. Установка — мы это видели в опытах с постгипнотическим внушением — представляет собой состояние, которое, не будучи само содержанием сознания, все же ока-

зывает решающее влияние на его работу. В таком случае настоящее положение вещей следовало бы представить себе следующим образом: наши представления и мысли, наши чувства и эмоции, наши акты волевых решений представляют собой содержание нашей сознательной психической жизни, и когда эти психические процессы начинают проявляться и действовать, они по необходимости сопровождаются сознанием. Сознавать поэтому значит представлять и мыслить, переживать эмоционально и совершать волевые акты. Иного содержания, кроме этого, сознание не имеет вовсе. Но было бы ошибкой утверждать, что этим исчерпывается все, что свойственно живому существу вообще и особенно человеку, не считая его физического организма. Кроме сознательных процессов, в нем совершается еще нечто, что само не является содержанием сознания, но определяет его в значительной степени, лежит, так сказать, в основе этих сознательных процессов. Мы нашли, что это — установка, проявляющаяся фактически у всякого живого существа в процессе его взаимоотношений с действительностью. Мы видели из наших опытов, что она действительно существует актуально, не принимая форму содержания сознания: она сама протекает вне сознания, но тем не менее оказывает решительное влияние на все содержание психической жизни.

Таким образом, мы находим, что учение о бессознательном базируется лишь отчасти на правильном представлении о психической жизни. Оно подчеркивает, по праву, что сознательные процессы далеко еще не исчерпывают всего содержания психики и что поэтому возникает необходимость признания процессов, протекающих вне сознания. Мы видим, что понятие установки, как оно оформилось в результате наших гипнотических опытов, прекрасно подходит под это определение.

В таком случае возникает мысль, что, быть может, без участия установки вообще никаких психических процессов как сознательных явлений не существует, что для того, чтобы сознание начало работать в каком-нибудь определенном направлении, предварительно необходимо, чтобы была налицо активность установки, которая, собственно, в каждом отдельном случае и определяет это направление.

РАЗНОВИДНОСТИ СОСТОЯНИЯ УСТАНОВКИ

1. Фиксированная установка. При наличии потребности, которая должна быть удовлетворена, и соответствующей ситуации живой организм обращается к определенной целенаправленной деятельности. Но как мы убедились, эта деятельность в первую очередь зарождается в форме установки, которая в дальнейшем раскрывается в виде доступных наблюдателю внутренних и внешних актов поведения. Сейчас перед нами стоит вопрос, как и в каких формах происходит этот процесс зарождения установки.

В наших опытах дело начинается, как правило, рядом экспозиций экспериментальных объектов (установочные опыты), с тем чтобы затем перейти к критическим экспозициям и показать, как подействовали на них предшествовавшие им установочные опыты.

В чем же заключается роль этих установочных опытов? Выше мы уже говорили относительно феномена фиксации, который является результатом повторного предложения этих опытов испытуемому.

Мы полагаем, что в итоге многократного повторения этих опытов у испытуемого фиксируется установка, возникающая при каждой отдельной экспозиции. Повторение в данном случае, по-видимому, играет решающую роль, оно дает возможность зафиксировать возникающую при каждой отдельной экспозиции установку. Поэтому эти повторные установочные опыты можно было бы назвать фиксирующими.

Другое дело, как возможно, чтобы повторение в данном случае играло роль фактора, содействующего процессу фиксации. Этого вопроса здесь мы не будем касаться. Отметим только, что однократной экспозиции установочных объектов в большинстве случаев не бывает достаточно для того, чтобы соответствующая этой экспозиции установка осталась у испытуемого до такой степени доминирующей, чтобы предлагаемые затем равные объекты воспринимались на ее основе и, следовательно, казались бы неравными. Поэтому число экспозиций должно быть увеличено настолько, чтобы можно было говорить о достаточно фиксированной установке.

Фиксация установки может происходить и в следующих условиях: скажем, в условиях какой-нибудь определенной ситуации у меня появилась соответствующая этим условиям установка, которая, повлияв на акт моего поведения, сыграла свою роль и затем прекратила свое действие. Но что же фактически происходит с ней после этого? Исчезает ли она совершенно бесследно, будто ее никогда и не было, или она каким-то образом продолжает существовать, сохраняя способность все же оказывать некоторое влияние на наше поведение?

Если верно экспериментально подкрепленное выше положение о том, что установка представляет собой целостную модификацию личности или субъекта вообще, то тогда не вызывает сомнений, что она, сыграв свою роль, сейчас же должна уступить место другой, новой, актуально действующей установке. Но это еще не значит, что она-то сама окончательно и раз навсегда выходит из строя. Наоборот, в случае, если субъект попадает в ту же ситуацию с теми же намерениями, что и раньше, в нем должна возобновиться и прежняя установка заметно быстрее, чем это нужно было бы для возникновения новой установки в условиях совершенно новой ситуации. Это дает нам право считать, что раз активированная установка, вообще говоря, не пропадает, то она сохраняет в себе готовность снова актуализироваться, лишь только вступят в силу подходящие для этого условия.

Само собой разумеется, готовность эта не всегда одинакова. Нужно полагать, что она зависит в значительной мере от степени прочности установки, которая измеряется числом повторных установочных опытов: чем чаще повторяются эти опыты (в пределах оптимума для каждого данного испытуемого), тем прочнее фиксируется установка и тем более сильная способность актуализации вырабатывается в ней.

С другой стороны, в наших опытах окончательно выясняется и то, что существуют единичные случаи действия установки, которые и помимо всякого повторения оставляют по себе значительный след; установки, лежащие в их основе, фиксируются и независимо от повторения установочных

3 Зак № 137

опытов и, таким образом, приобретают значительно большую способность к актуализации.

Во всех этих случаях достаточно, чтобы начала действовать ситуация, похожая на актуальную, чтобы это оказалось достаточным для активирования установки и направления субъекта в соответствующую сторону.

Таким образом, мы видим, что бывают случаи, в которых, вследствие частых повторений установочных опытов или высокого личностного их веса, установка становится до такой степени легко возбудимой, что она актуализируется и в условиях воздействия неадекватных раздражителей, закрывая этим возможность проявления адекватной установки.

Конечно, нет никакой необходимости, чтобы в условиях действия фиксированной установки адекватная данной ситуации форма установки всегда стушевывалась и заменялась другой, близкой к ней, но все же отличной от нее фиксированной установкой. Дело в том, что ничто не мешает нам допустить, что могут иметь место и такие случаи, когда субъекту приходится иметь дело с ситуацией, вполне тождественной той, в которой выработалась данная форма фиксированной установки. В таких случаях, конечно, актуализированная фиксированная установка будет вполне совпадать с той, которую для данного случая мы должны считать адекватной.

Таким образом, в обычных, не экспериментальных условиях жизни мы встречаемся не только со случаями замены адекватной для данной ситуации установки близкой к ней фиксированной, но и с такими, в которых фиксированная установка оказывается вполне тождественной установке адекватной.

С другой стороны, могут иметь место и случаи, в которых к активности пробуждаются не те установки, которые фиксировались когда-нибудь в течение жизни данного индивидуума, а те, которые сделались фиксированными в истории его вида. Мне не раз приходилось в другой связи указывать на факты проявления такого рода активности, например, в жизни ребенка — на факты, относительно которых нельзя сказать, что они обусловлены потребностью получить имен-

но средства, реализуемые этой активностью. В жизни ребенка часты случаи, когда он обращается к деятельности исключительно потому, что в нем проявляется сильное стремление к ней: в нем пробуждается потребность функционировать, быть активным. Эта потребность, которую я называю функциональной тенденцией, нужно полагать, является наследственно приобретенной формой фиксированной установки*.

2. Диффузная установка. Но установочные опыты не являются обязательно и во всех случаях фиксированными. В некоторых случаях они играют совершенно другую роль. Дело в том, что бывает редко, чтобы для возникновения какой-нибудь индивидуально определенной установки было бы достаточно одного-единственного случая воздействия ситуации на субъекта. Нужно полагать, что на начальных стадиях зарождения какой-нибудь новой установки она определяется как индивидуально очерченный факт не сразу. Становится необходимым более или менее длительный процесс для того, чтобы установка определилась как таковая, чтобы она дифференцировалась, вычленилась как состояние, специфически адекватное для наличных условий поведения.

Мы полагаем, следовательно, что при первом своем зарождении установка является сравнительно еще не дифференцированным, не индивидуализированным состоянием. И вот для того, чтобы она дифференцировалась как определенная, адекватная для данных условий, становится необходимым повторное предложение соответствующих раздражений. В таких случаях повторение установочных опытов имеет совершенно определенную, отличную от фиксационных, цель — она направлена на дифференциацию установки.

Это бывает особенно необходимо для зарождения новых, еще незнакомых субъекту установок. Когда в таких случаях начинает действовать на субъекта какой-нибудь новый, впервые ему встречающийся объект, то вызываемая им установка должна носить диффузный, малоопределенный характер. Мы можем сказать, что она недостаточно еще дифференцировалась и в результате этого субъект не может точно иден-

---

* *Д. Узнадзе.* Психология ребенка. 1946.

тифицировать этот объект. Только с течением времени, по мере увеличения числа повторных воздействий того же объекта, вызываемая им установка постепенно дифференцируется и определяется как установка, специфичная именно для данного случая.

Следовательно, установочные опыты бывают не только *фиксирующими, но и дифференцирующими.*

ВОЗБУДИМОСТЬ (ФИКСИРУЕМОСТЬ) УСТАНОВКИ

1. Опыты на возбудимость установки. Не касаясь вопроса о принципиальном значении повторения, мы здесь остановимся на вопросе о роли его в процессе фиксации и дифференциации установки. Как выясняется, есть какая-то, правда не точно установленная, но все же твердая мера повторений, необходимая для фиксации установки в каждом отдельном случае. Если мы проследим с этой точки зрения данные отдельных испытуемых, мы получим достаточно богатый материал, который позволит нам установить существующие в этом отношении различия между ними.

Опыты для этой цели проводятся совершенно просто: после сравнения установочных объектов, скажем, неравных в отношении объема шаров, испытуемый дает показание о соотношении объемов уже равных (критических) объектов. Это повторяется до тех пор, пока он не покажет, что они равны. Число установочных экспозиций, следовательно, постепенно увеличивается, и это продолжается до тех пор, пока у испытуемых не возникает иллюзия о неравенстве объективно равных критических раздражителей. Таким образом, мы получаем возможность установить, какое количество установочных опытов необходимо для того, чтобы впервые у нас появилась иллюзия.

На основании данных о количестве установочных опытов, необходимых для появления иллюзии, мы устанавливаем степень *возбудимости* фиксированной установки.

Наши опыты показывают, что испытуемые в значительной степени отличаются в этом отношении друг от друга. Есть случаи, когда достаточно бывает и одного установочного опыта, чтобы критические объекты стали восприниматься

ся иллюзорно. Но бывает и так, что для этого не оказывается достаточным даже сравнительно высокое число установочных экспозиций. Словом, возбудимость фиксированной установки оказывается свойством, которое варьирует индивидуально и притом в довольно широких пределах.

Но указать на минимум установочных опытов необходимо лишь для установления нижнего порога возбуждения иллюзии, а это еще не значит, что возбудимость фиксированной установки охарактеризована в полной мере. Дело в том, что продолжение тех же опытов показывает, что максимум повторных экспозиций, необходимых для *оптимальной* фиксации установки, вовсе не совпадает с пороговыми числами этих экспозиций, т. е. бывают случаи, что установка, для начального возбуждения которой достаточно и незначительного числа экспозиций, для своей оптимальной фиксации требует большего числа установочных опытов, гораздо большего, чем для минимальной ее фиксации.

Словом, в результате опытов выяснилось, что нижний порог возбудимости установки вовсе не совпадает с порогом ее оптимального возбуждения. В результате этого наблюдения становится бесспорным, что каждый из этих порогов возбуждения фиксированной установки представляет собой независимую величину и установление ее дает нам возможность характеризовать испытуемых с различных точек зрения.

2. Возбудимость дифференцированной установки. Установить степень возбудимости фиксированных установок у наших испытуемых — это еще не все. Дело в том, что, как мы уже упоминали, помимо точки зрения фиксации существует и другая точка зрения на нашу установку, и для характеристики этой последней было бы существенно не оставлять и ее без внимания. Я имею в виду точку зрения дифференциации установки. Правда, круг ее применения сравнительно узок: он включает в себя лишь случаи неокончательно сформировавшихся установок. Но там, где таковые могут иметь место, несомненно представляло бы крупный интерес проследить процесс их постепенного изменения — процесс развития в сторону все более определенной дифференциации. Нет сомнения, как на это указывают наши многочисленные опыты,

что полученные результаты в значительной степени помогут нам разобраться в вопросах дифференцирования наших испытуемых.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ЗАТУХАНИЕ ФИКСИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ

Очередной вопрос, который стоит перед нами, таков: как протекает процесс затухания установки, но не в результате воздействия фактора времени, а в первую очередь под влиянием специально принятых для этого мер? Ниже мы увидим, что предоставленная воздействию фактора времени фиксированная установка слабеет и в конце концов затухает совершенно, уступая место адекватной для данных условий установке. Наш же вопрос касается сейчас не этого: нам интересно знать, что происходит, если принять специальные меры для того, чтобы фиксированная в экспериментальных условиях установка затухла.

1. Экспериментальная методика. Методика, которая применяется для этой цели, проста. Она сводится к повторению критических экспозиций, пока не получим достаточного числа правильных ответов на вопрос о соотношениях этих экспозиций друг к другу. Конечно, первого случая констатирования равенства этих объектов недостаточно для того, чтобы считать опыты законченными. Это можно сделать лишь после пятикратного подряд установления этого равенства, как это и было в свое время показано в специальных исследованиях по этому вопросу*. Испытуемый проходит часто достаточно длинный, а в некоторых случаях и заметно сложный путь, прежде чем он дойдет до признания критических объектов равными. Специальная работа, которая была посвящена этому вопросу, дает материал для того, чтобы составить себе ясную картину о положении вещей**. Оказывается, что процесс ликвидации фиксированной установки проходит ряд определенных ступеней, прежде чем дойдет до состояния полной реализации.

---

* *Н. Элиава*. Процесс прекращения действия установки, созданной на чистое соотношение // Труды Тбил. гос. ун-та. 1941. Т. XVII.

** *Б. Хачапуридзе*. Фазовый характер смены установок // Материалы к психологии установки. 1938. Т. 1.

Спрашивается, как протекает процесс ликвидации фиксированной установки в описанных нами выше экспериментальных условиях?

2. Затухание фиксированной установки. Нужно в первую очередь помнить, что в данном случае мы имеем дело с фиксированной установкой на количественные отношения, именно на отношения «больше» или «меньше». Это необходимо иметь в виду, чтобы не впасть в заблуждение и не думать, что результаты этих опытов имеют общее значение, распространяясь на все случаи действия установки.

И вот мы находим, что в процессе повторного предложения критических объектов испытуемый расценивает их как неравные, а именно: объект, скажем, справа ему кажется больше, чем объект слева. Интересно, что в установочных опытах справа у него помещался всегда объект меньшего размера, чем объект слева. Значит, испытуемый в данном случае становится жертвой иллюзии, которую, следовательно, можно расценивать как *контрастную* иллюзию.

Фаза контрастных иллюзий. Если продолжать экспозиции тех же объектов, то испытуемый на некоторое время будет оставаться во власти все той же контрастной иллюзии. Есть даже случаи, когда число этих иллюзий доходит до непрерывного ряда. На основании большого количества данных мы можем считать, что если число контрастных иллюзий доходит до трех и выше, то в этом случае мы имеем дело с первым этапом или первой фазой действия установки.

Анализ полученных данных показывает, что с этим этапом мы имеем дело только в том случае, если ряд контрастных иллюзий констатируется с самого же начала. (Это необходимо специально отметить потому, что мы нередко встречаемся со случаями, в которых первые две-три экспозиции вовсе не дают иллюзии; ряд контрастных иллюзий, и притом значительно длинный, начинается лишь с третьей-четвертой экспозиции.) Нужно полагать, что в данном случае мы имеем дело с наиболее устойчивым состоянием фиксации установки. Это — начальная фаза действия фиксированной установки, наиболее прочная и устойчивая.

Фаза выступления ассимилятивных иллюзий. Непосредственно за этим начинается следующая — вторая — фаза действия установки, характеризующаяся явными признаками начинающегося ее затухания. В результате ряда повторных воздействий критических объектов дает себя чувствовать начальная стадия сдвига фиксированной установки: она несколько ослабевает, и испытуемый, наряду с контрастными, начинает давать и случаи ассимилятивных иллюзий. Нужно полагать, что в этом случае мы имеем дело со второй фазой регрессивного развития установки — с фазой, которая, в сущности, впервые начинает обнаруживать совершившийся факт сдвига и следующего за этим состояния ослабления пока еще действующей фиксированной установки.

Нужно отметить, что эта фаза регрессивного развития установки обнаруживается не во всех случаях ее затухания. Она встречается чаще всего в случаях патологии установки, но имеет нередко место и у вполне здоровых индивидов.

Также нередки случаи, когда регрессивный процесс, постепенно развиваясь, дает значительное увеличение случаев ассимилятивных иллюзий. Дело доходит до того, что число ассимиляций начинает доминировать над контрастными иллюзиями, которые, постепенно затухая, часто всецело уступают место им, т. е. чисто ассимилятивным иллюзиям. В идеальных случаях все это дробится на ряд отдельных фаз, и в результате мы получаем несколько самостоятельных ступеней развития.

Фаза констатирования равенства. На этой ступени развития фиксированная установка все еще продолжает пребывать в активном состоянии — она все еще дает знать о себе, исключая, таким образом, возможность адекватного отражения объективной действительности: испытуемый продолжает оставаться во власти фиксированной установки. И вот мы становимся свидетелями наступления новой фазы в процессе регрессивного развития фиксированной установки: испытуемый начинает временами замечать, что, в сущности, он имеет дело не с неравными, а с равными критическими объектами. Он видит все это чаще, пока через некоторое время окончательно не переходит к признанию равенства их меж-

ду собой. Это — новая фаза регрессивного развития фиксированной установки, фаза, которая и завершает собой весь этот процесс.

Теоретически, конечно, можно допустить наличие значительно большего числа стадий регрессивного хода развития установки. Но фактически обычно мы являемся свидетелями выступления и смены лишь этих трех фаз.

3. Дифференциация видов фиксированной установки в зависимости от процесса ее затухания. Это, конечно, не значит, что ликвидация фиксированной установки может быть достигнута лишь в результате прохождения всех этих трех фаз. Есть немало случаев, в которых фиксированная установка ликвидируется лишь по прохождении одной или двух из этих фаз.

В зависимости от порядка и полноты прохождения всех этих этапов угасания установки мы различаем следующие случаи*.

Статическая установка: пластическая и грубая. Оказалось, что среди испытуемых можно найти определенное число лиц, которые в условиях данного числа установочных опытов не в состоянии выйти за пределы действия фиксированной установки — как бы часто ни экспонировались им критические объекты, равенства их они все же не замечают. Нужно полагать, что в данном случае мы имеем дело с лицами, для которых характерным является преобладание особенно неподвижных, инертных или статических форм установки. Правда, на протяжении многих лет нашей практики исследования установки мы приходили неизменно к одному и тому же заключению относительно немногочисленности людей этого типа среди нормальных испытуемых, но тем не менее его необходимо считать самостоятельной единицей, которая, как увидим ниже, объединяет в себе характерологически несомненно своеобразную группу людей.

Но, наряду с этой группой, мы видим следующую, которая резко отличается от нее тем, что она хотя и проходит несколько фаз затухания установки, но фазы полного ее

---

* *Д. Н. Узнадзе.* К психологии установки // Материалы к психологии установки. 1938. Т. 1. С. 185.

затухания все же не достигает. Это значит, что в данном случае мы имеем дело с лицами, которые, наряду с иллюзиями, дают, быть может, иногда и случаи вполне правильных ответов. Нужно полагать, что в этом случае перед нами испытуемые, которые не в состоянии развить установку такой же прочности, как лица вышеуказанной группы; тем не менее их установка все же статична до такой степени, что не дает им возможности окончательно достигнуть правильной оценки соотношения действующих раздражителей.

Таким образом, мы можем сказать, что если в первом случае мы имеем дело с лицами с *прочной статической* установкой, то в данном случае этого нет и перед нами стоят лица хотя и со статической, но значительно менее прочной установкой.

Особенно характерным свойством лиц первой группы следует считать *грубость* установки. Это можно заключить на основе наблюдения, из которого видно, что воздействие объективных агентов не оказывается в состоянии хоть в какой-нибудь степени изменить характер установки, зафиксированной в процессе установочных опытов.

Зато среди испытуемых оказалась и вторая группа, которая никогда не бывает в состоянии окончательно констатировать равенства предлагаемых им в критических опытах объектов, хотя некоторый процесс развития все же проходит: сначала дает данные, характерные для второго этапа процесса угасания установки, затем иногда и данные для третьего этапа; дело этим, однако, и ограничивается, оно дальше не двигается, и испытуемый не оказывается в состоянии окончательно пробиться к констатированию равенства критических объектов.

Нет сомнения, что в этом случае мы не имеем той грубости установки, которая характерна для первых двух групп, — установка здесь имеет скорее пластический характер, но она остается все же статической.

Таким образом, статическая установка может быть пластической или же грубой.

Динамическая установка: пластическая и грубая. Дальнейшую группу испытуемых характеризует следующего

рода ход критических опытов: сначала мы видим обычные контрастные иллюзии установки, за ними следуют случаи констатирования равенства критических объектов, и, наконец, испытуемый останавливается на признании их равенства окончательно. Это значит, что установка, которая была фиксирована в процессе специальных для этой цепи опытов, постепенно слабеет и затем мало-помалу окончательно уступает место адекватной для данной ситуации установке. Следует особо подчеркнуть, что в данном случае адекватная ситуация вступает в силу не сразу, а в результате прохождения ряда ступеней своего постепенного угасания.

Следовательно, здесь уже нельзя говорить ни о грубости установки, ни о ее статичности. Здесь мы имеем дело со свойством, которое можно квалифицировать как пластичность установки, поскольку переход к окончательному констатированию соотношения критических объектов происходит не непосредственно, а через ряд предшествующих ступеней, и как динамичность, поскольку субъект не остается на одном из предшествующих этапов, а, двигаясь вперед, достигает окончательного констатирования равенства предложенных ему критических объектов.

Ликвидации состояния, выработанного в установочных опытах, и создания адекватной для данных условий установки достигают и две последующие группы наших испытуемых. Но они переходят к адекватной оценке критических объектов не постепенно, двигаясь от фазы к фазе, а прямо непосредственно с той фазы, с которой они начинают ряд своих показаний о соотношении этих объектов. Характерной особенностью обеих этих групп является то, что они обе достигают признания равенства критических объектов, значит, освобождаются от влияния установочных опытов; но делают они это не постепенно, переходя от одной ступени к другой, а сразу — перескакивая с того этапа, на котором находятся с самого начала, прямо к констатации равенства критических объектов. Мы видим, что установка обеих этих групп динамична, поскольку в конце концов она дает возможность проявиться адекватной установке. Но она лишена пластичности,

и поэтому ее можно было бы характеризовать как грубую динамическую установку.

Нефиксируемая установка. Наконец, мы являемся свидетелями наличия совершенно особенной группы испытуемых, которые характеризуются тем, что в отличие от всех других групп вовсе не поддаются влиянию установочных опытов, совершенно не фиксируют возникающей у них в каждом отдельном случае установки и поэтому дают всегда правильную оценку объема экспериментальных шаров. Мы видим, что обычное число установочных экспозиций не оказывается достаточным, чтобы фиксировать у этих лиц установку, которая, следовательно, возникает у них при каждой отдельной экспозиции заново.

Нужно полагать, что в данном случае мы имеем дело с лицами, которые, будучи лишены внутренней направляющей силы, оказываются как бы в полном распоряжении извне идущих впечатлений и, таким образом, отличаются крайней экстравертностью.

ЗАТУХАНИЕ УСТАНОВКИ ПРИ ДЛИТЕЛЬНЫХ ЭКСПОЗИЦИЯХ

1. Опыты с длительной экспозицией критических объектов. Мы видели, что процесс затухания установки в условиях наших опытов протекает в определенном порядке: обнаруживается ряд этапов, которые проходит фиксированная установка, прежде чем ликвидация ее сделается совершившимся фактом. Но возможно, что этот порядок ликвидации установки имеет место лишь в условиях наших экспериментов, что он не обязателен при всех условиях, в которых она протекает.

Для того чтобы проверить это, мы несколько изменили наши обычные опыты: порядок установочных опытов остался тот же, что обычно, перемена коснулась лишь критических экспозиций.

Вместо того чтобы кратковременно экспонировать критические объекты, мы оставляли их перед глазами (или в руках) испытуемого продолжительное время, пока он не оказывался в состоянии окончательно констатировать равенство этих

объектов. Вопрос о продолжительности экспозиций изучался в специальных опытах. Оказалось, что оптимальной следует считать продолжительность экспозиций до одной минуты: у 55 % всех наших испытуемых установка потухает за этот период времени (у 22 лиц из общего числа 40 человек). Более продолжительные сроки оказываются необходимыми лишь для сравнительно незначительного числа испытуемых (1–2' – для 7,5 %; 2–3' – 12,5 %; 4–5' – 10 %).

2. Результаты этих опытов.

Каковы же результаты этих опытов?*

1. После того как испытуемый получает 15 установочных экспозиций, он берет критические объекты, которые остаются у него в руках в течение одной минуты, и дает показания о соотношении их. Показания эти приблизительно таковы: сначала выступает контрастная иллюзия, которая остается в силе в течение довольно продолжительного времени. Затем объекты начинают казаться равными, но это проходит быстро, и испытуемый указывает, что сейчас шар налево стал больше (ассимилятивная иллюзия). Затем – опять случай равенства, которое снова ликвидируется сразу: «теперь направо становится больше», и эта контрастная иллюзия сохраняется сравнительно долго, после чего испытуемый окончательно констатирует равенство критических шаров. Таким образом, испытуемый проходит три определенных этапа, прежде чем окончательно констатирует равенство действующих на него объектов: сначала выступает продолжительная контрастная иллюзия, затем следуют кратковременное впечатление равенства и ряд ассимилятивных иллюзий и, наконец, ряд случаев равенства, как и иллюзий, после чего уже фиксированная установка ликвидируется окончательно.

2. Встречаются и другие типы угасания фиксированной установки. Второй тип представлен случаями такого рода: сначала действует сравнительно продолжительная контрастная иллюзия; затем вмешиваются случаи равенства, но контрастная иллюзия остается все еще господствующей формой

---

* *К. Мдивани.* Процесс ликвидации установки в условиях длительной экспозиции // Труды Тбил гос. ун-та. 1941. Т. XVII.

реакций, и наконец начинают преобладать случаи равенства, которые с течением времени становятся окончательной формой реакций. В этих случаях мы имеем дело с типом, отличающимся от предшествующей формы лишь тем, что там второго этапа — этапа ассимилятивных иллюзий — нет совершенно, и весь процесс исчерпывается наличием двух этапов — этапа контрастных иллюзий и этапа таких же иллюзий, но с участием случаев констатации равенства.

3. Один из испытуемых дает следующий тип реакции: экспонируемые круги ему кажутся неравными (45"): сначала круг налево выглядит как бы значительно больше; потом он становится меньше и приближается по величине к кругу справа. К концу процесс этот приостанавливается, и испытуемый замечает, что круги стали равными.

В этом случае мы имеем дело с процессом постепенного ослабления иллюзии по контрасту, вплоть до окончательной ее ликвидации.

4. Наконец, были случаи и такого рода: после 15 установочных экспозиций иллюзия появляется сейчас же и остается без перемены в течение всего времени экспозиции. Показания одного из испытуемых таковы: «Направо больше... направо... направо... все же направо, но не так, как раньше... все так же... сейчас опять направо больше, чуть больше!.. все-таки направо больше...» В этом случае мы не имеем окончательного потухания фиксированной установки.

Если специально проверить, каковы же данные этих испытуемых при кратковременных экспозициях экспериментальных объектов, то мы найдем, что по существу картина остается одинаковой в обоих случаях: испытуемые дают ту же последовательность смены этапов ликвидации фиксированных установок в опытах с продолжительной экспозицией критических объектов, что и в опытах с кратковременной их экспозицией.

Единственное, что мы должны здесь особенно подчеркнуть, так это следующее: в опытах с продолжительной экспозицией создается возможность следить, что происходит с экспериментальными объектами в течение сравнительно продолжительного времени их экспозиций. В кратковременных

опытах этой возможности у нас нет, так как продолжительность экспозиции слишком мала, чтобы можно было следить, что происходит с ними за это время.

И вот в опытах с продолжительными экспозициями критических объектов мы нашли следующее: испытуемые сплошь и рядом становятся как бы свидетелями определенной динамичности процессов, происходящих с экспериментальными объектами, а именно: в то время как в опытах с кратковременными экспозициями критических объектов мы, как правило, констатируем лишь разницу в величине — говорим, что один круг или шар больше другого, — здесь, в этих опытах, мы часто являемся свидетелями, как эти объекты изменяются в величине, как они «расширяются» или же «суживаются». Если в обычных опытах с кратковременными экспозициями так называемые переживания перехода (Uebergangserlebnis) выступают лишь очень редко, как исключение, то здесь, в опытах с продолжительными экспозициями, они становятся как бы правилом.

Если теперь посмотреть ближе на распределение этапов, которые проходят испытуемые в процессе этих экспериментов, то мы увидим, что картина в основном и в этом случае получается та же, что и в условиях опытов с кратковременными экспозициями. Единственное, что обращает на себя внимание, так это сравнительно высокий процент показателей *грубой* (67,5 %) и низкий процент показателей *пластической* установки (32,5 %), чего при кратковременных экспозициях мы не встречаем.

Нужно полагать, что достаточно внимательный анализ случаев грубой установки разъяснит нам это положение. Как мы указывали выше, испытуемые часто подчеркивали в своих наблюдениях наличие «переживаний перехода». Эти-то переживания и показывают, что там, где кажется, что мы имеем дело с формами грубой установки, на самом деле речь идет о своеобразной форме пластической установки, которую можно было бы назвать формой «скрытой пластичности»*. Под этой последней мы разумеем те многочисленные

* *К. Мдивани*. Указ. соч.

случаи, которые мы встречаем в наших опытах и которые характеризуются как раз тем, что испытуемые констатируют как бы феномен внутреннего движения в переживании размеров критических объектов. Словом, раз при наблюдениях явлений грубой установки так часто отмечаются случаи «переживаний перехода», то это дает основание полагать, что здесь мы имеем дело не столько с грубой, сколько с пластической формой установки.

Правда, пластичность носит здесь скрытый характер — она открывается лишь при наблюдениях случаев в опытах с продолжительными экспозициями; но тем не менее факт ее наличия не подлежит сомнению. Быть может, как раз эта особенность наших опытов с продолжительными экспозициями, особенность, которая специфична именно для них, и дает им право на самостоятельное место в арсенале методов изучения установки.

Таким образом, мы можем заключить, что затухание фиксированной установки носит характер развернутого во времени процесса не только в опытах с кратковременными экспозициями критических объектов, но и в тех, в которых эти последние предлагаются испытуемым в развернутых во времени, длительных экспозициях.

Для того чтобы убедиться, что затухание фиксированных установок по существу носит длительный характер, что оно по своей природе является текучим процессом, мы должны посмотреть, как обстоит дело в случаях, когда оно протекает исключительно под влиянием продолжительных временных интервалов, т. е. когда эта установка сама «умирает естественной смертью», без специальных воздействий со стороны.

ПРОЦЕСС ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАТУХАНИЯ ФИКСИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ

1. Стабильность фиксированной установки. Из предыдущей главы становится ясным, что фиксированная установка оказывает некоторое противодействие попыткам ее ликвидации, что она проходит процесс этой ликвидации лишь постепенно, пока наконец совершенно не прекратит

своего существования на данный отрезок времени. Но вот возникает вопрос: не является ли этот факт ликвидации фиксированной установки естественным результатом лишь того обстоятельства, что для этого были приняты специальные меры — повторное продолжительное воздействие критических раздражителей на субъект вплоть до прекращения действия фиксированной установки?

Для ответа на этот вопрос нам нужно проследить активность фиксированной установки через определенные более или менее продолжительные временные промежутки, чтобы установить, как проходит процесс ее естественной ликвидации. Иначе говоря, перед нами стоит вопрос, в какой степени стабильна фиксированная установка и как она ликвидируется с течением времени.

На этот вопрос впервые обратил внимание Фехнер, а затем он был специально поставлен Стефенсом. «Моторная установка», которая фигурирует у этого автора, может, по его мнению, сохраниться и на достаточно продолжительный период времени. Однако специального исследования этого вопроса он не производил. Это было сделано впервые в нашей *лаборатории**.

У испытуемых фиксировали установку в течение 3–4–5 дней (число экспозиций 15–16). Критические опыты проводились через интервалы разной продолжительности времени (1 день, 2–3 дня, 1–2 месяца). Опыты ставились зрительными иллюзиями — тахистоскопически.

Табл. 11 включает в себя (в процентах) результаты этих опытов. Мы видим, что фиксированная в указанных условиях установка не всегда замирает даже через 2–3 месяца после первого дня фиксации. Цифры указывают, что время, конечно, влияет на степень фиксированности установки, но нужно отметить, что оно влияет не во всех случаях одинаково. В этом отношении между нашими испытуемыми отмечается иногда очень крупное различие: в то время как у одних фиксированная установка сохраняется месяцами, у других

---

* *Б И Хачапуридзе.* К вопросу о длительности искусственно созданной установки // Материалы к психологии установки. 1938. Т. 1.

она замирает сравнительно рано. В общем же находим, что фиксированная установка обладает достаточной степенью стабильности, хотя, с другой стороны, нужно отметить, что отдельные индивиды отличаются в этом отношении друг от друга значительно.

Вопрос о стабильности установки принадлежит к ряду вопросов, ожидающих своих исследователей, которые могли бы изучить это явление более дифференцированно, чем это сделано в цитированной выше работе начального периода изучения установки, когда перед исследователем стоял пока лишь вопрос о фактической достоверности этого явления.

Таблица 11

Интервалы	+	–	=
В тот же день	54	12	34
Через 1 день	75	5	20
Через 2–3 дня	75	5	20
Через 2–3 месяца	62	12	26

Однако мы и сейчас можем поставить вопрос, как, собственно, замирает, как затухает фиксированная установка под влиянием более или менее продолжительных отрезков времени. Нужно полагать, что она, подвергаясь этому влиянию, становится постепенно слабее и в конце концов совершенно стирается. Словом, мы должны считать, что прежде, чем установка окажется до конца ликвидированной, она последовательно проходит ряд ступеней постепенного затухания.

2. О ступенях процесса естественной ликвидации фиксированной установки. Если проследить состояние фиксированной установки через определенный промежуток времени, то перед нами откроется вполне определенная картина. Мы увидим, что фиксированная установка проходит определенные ступени затухания и через некоторое время достигает состояния полной ликвидации. Перед нами, по существу, та же картина, что и в случаях ликвидации установки в экс-

периментальных условиях. Это обстоятельство дает нам возможность поставить вопрос о ступенях процесса ликвидации установки в естественных условиях.

Мы находим, что в первые дни действия фиксированной установки господствующей формой реакции являются контрастные иллюзии. Это та же картина, что и в экспериментальных условиях ликвидации фиксированной установки.

За этой ступенью доминирования контрастных иллюзий следует ступень иллюзии ассимилятивного характера. Конечно, здесь нет такого состояния, чтобы можно было сказать, что мы имеем дело в чистом виде лишь со ступенью ассимилятивных иллюзий. Как и в обычном ходе ликвидации установки в экспериментальных условиях, так и здесь речь может идти лишь о выступлении, а может быть, иногда и о преобладании этой формы установки. Но и этого достаточно, чтобы сказать, что здесь мы действительно имеем дело с новой фазой процесса ликвидации установки. В частности, относительно этой фазы можно сказать, что при естественном ходе затухания установки она представлена в сравнительно более чистом виде, чем в случаях экспериментальной ликвидации установки. Здесь она встречается все же чаще, чем там.

Наконец, дело и здесь кончается тем, что наряду с иллюзиями начинают выступать и случаи констатирования равенства критических объектов, пока наконец дело не дойдет до состояния, когда иллюзии вовсе прекращаются, уступая место лишь случаям стабильной оценки критических объектов. Как и в случаях экспериментальной ликвидации установки, и здесь бывает, что у некоторых субъектов установка остается в силе на более продолжительное время, чем у других. Это те случаи, в которых фиксированная установка не ликвидируется за принятый в экспериментах максимальный срок (2–3 месяца в нашем случае). Нужно полагать, что ликвидация установки имела бы место и через более продолжительные сроки.

Таким образом, фиксированная установка может быть ликвидирована не только в экспериментальных, но и в естественных условиях своего существования и притом в обоих

случаях одинаковым образом, а именно: процесс ликвидации и там и здесь протекает по отдельным фазам, которые следуют друг за другом в строго определенной последовательности. Во всяком случае, это положение имеет силу по отношению к случаям установки, фиксированной на количественные отношения.

К ВОПРОСУ О ДЕЙСТВИИ КРИТИЧЕСКИХ ЭКСПОЗИЦИЙ

1. К вопросу о фиксирующем действии критических опытов. Мы видели, что после ряда критических опытов фиксированная установка затихает, она глохнет и уступает место установке, адекватной данным условиям. Правда, это бывает не всегда. Как мы знаем, нередки случаи активности и статической фиксированной установки. Но в нормальных случаях, как правило, встречается лишь ее динамическая форма. Это значит, что через некоторый ряд критических экспозиций (экспозиций равных объектов) испытуемый, освободившись от иллюзии, начинает давать правильные показания. Однако дальнейшие опыты свидетельствуют, что через некоторое время — у одних раньше, у других позже — иллюзии пробуждаются снова и показания испытуемого делаются неадекватными. Достаточно вспомнить наши эксперименты на стабильность установки, чтобы считать это положение несомненным. И вот неизбежно возникает вопрос: как понять это?

Чтобы разрешить этот вопрос — вопрос, безусловно, большого принципиального значения, проведем специальные эксперименты, рассчитанные на то, чтобы осветить положение вещей, возникающее в результате наших критических опытов. Мы ставим вопрос, как действует на испытуемого повторное констатирование равенства объектов в этих опытах. Не фиксируется ли вследствие этого обстоятельства — вследствие повторного воздействия критических объектов — именно установка на равенство и в дальнейших экспозициях, не по этой ли причине расцениваются эти объекты как равные?

В поставленных для разрешения этого вопроса опытах* испытуемые получали в критической серии, после пятикратного засвидетельствования равенства предлагаемых объектов, чуть отличающиеся друг от друга по величине фигуры, а именно круги в 20–21 мм, 20–22 мм, 20–23 мм и 20–24 мм в диаметре, а также квадраты — в 15–16 мм, 15–17 мм, 15–18 мм и 15–19 мм. Точнее, эксперименты протекали в следующем порядке: испытуемые получали в установочных опытах пару контурных кругов (20–36 мм) 15 раз. Затем следовали критические опыты: пара равных контурных кругов (20–20 мм). После пятикратного констатирования их равенства испытуемым подменивали эти равные критические круги неравными (20–21 мм). Если круги продолжали казаться равными, они снова подменивались сначала кругами в 20–22 мм, затем — в 20–23 мм и, наконец, — в 20–24 мм.

Какие же результаты были получены в этих опытах? При экспозиции пары критических кругов в 20–21 мм были получены результаты, суммированные в табл. 12. Мы видим, что в данном случае иллюзии возникли из 46 только у 4 испытуемых, а остальные 42 дали вполне адекватные ответы.

В следующей серии опытов испытуемым были предложены круги, отличающиеся друг от друга в диаметре на 2 мм. Здесь получились еще более показательные результаты: оказалось, что в этом случае все 11 лиц, которые были допущены к опытам (в этой серии принимали участие лишь те лица, которые в предыдущих опытах уже с самого начала или после лишь некоторого колебания дали пятикратную иллюзию), констатировали факт неравенства критических кругов.

Таблица 12

	Иллюзия	Адекватность
Абс. число	4	42
%	8,6	91,4

* *А. Авалишвили* К вопросу об установочной роли критических экспозиций в опытах на установку // Психология 1942. Т. 1.

Чтобы не осталось сомнения, что, быть может, здесь играет роль фактор фигуры, познакомимся с результатами опытов с другой фигурой, с квадратами. Здесь при опытах с различием в 1 мм (15–16 мм) результаты оказались точь-в-точь те же, что и при кругах с той же разницей в диаметре. Три человека имели иллюзию, а 43 оценивали соотношение фигур совершенно правильно. Что же касается квадратов, отличающихся друг от друга на 2 мм (15–17 мм), то полученные в этом случае данные свидетельствуют, что случаи иллюзии встречаются лишь в виде исключения (3 человека из 43, тогда как правильная оценка здесь в порядке вещей).

Мы не приводим данных, полученных в других сериях аналогичных опытов (заполненные круги вместо контурных в первой серии, контурные квадраты вместо заполненных в предыдущей серии); в сущности, они повторяют выводы предшествующих опытов, ничего существенного к ним не прибавляя.

Таким образом, мы можем утверждать, что многократное повторение показаний равенства фактически неравных объектов в критических опытах далеко не означает факта фиксации этого равенства.

Но это заключение можно было бы признать достоверным лишь в том случае, если бы мы были уверены, что критические объекты воспринимаются адекватно, т. е. как неравные, именно в связи с отсутствием установки, фиксированной на равенство, а не потому, что неравенство критических объектов слишком явно и, таким образом, не может быть ассимилировано установкой, фиксированной на равенство.

Нам необходимо проверить это предположение. Допустим, что у нас имеется установка, фиксированная специально на равенство, и предложим испытуемому с такой установкой в качестве критических объектов интересующие нас в этом случае фигуры (круги, отличающиеся друг от друга в радиусе на 1–2 мм). Если установка на самом деле окажется бессильной ассимилировать это различие, то мы получим от испытуемого правильные показания относительно неравенства предложенных ему фигур; если же нет, тогда фигуры эти будут казаться равными.

Проверить это не представляет трудности. Но этого и не нужно. У нас есть опыты, из которых можно почерпнуть ответ на поставленный здесь нами вопрос*.

В этих опытах у испытуемых фиксировалась установка на равенство геометрических фигур (кругов и квадратов), а затем им экспонировались в качестве критических фигуры, отличающиеся друг от друга по величине на 1,5 мм и 1 мм (круги диаметром 22,5–24 мм и квадраты с длиною сторон 21–22 мм). Результаты оказались вполне соответствующими указанным нами предположениям, а именно: общее число лиц, дающих иллюзию хотя бы на одну из критических фигур под влиянием установочных опытов, доходит до 30, т. е. до 70,1 % общего числа (42) испытуемых.

Следовательно, не может быть сомнения, что при наличии соответствующей установки различие фигур на 1–2 мм не играет роли: оно не мешает проявиться ассимилирующему влиянию фиксированной установки.

Это значит, что раз в описанных выше опытах различие фигур на 1–2 мм никогда не оставалось незамеченным, т. е. эти различия там никогда не ассимилировались, соответствующей фиксированной установки там вовсе и не было.

Таким образом, можно считать установленным, что в наших обычных опытах повторная апперцепция равных кругов как равных вовсе не играет роли установочных экспозиций и не фиксирует совершенно никакой новой, соответствующей им, установки. Пока равные фигуры воспринимаются как неравные, продолжает действовать все та же фиксированная в установочных опытах установка. Когда же испытуемый начинает повторно воспринимать их как равные, то в основе этого лежит уже не фиксированная на равенство, а адекватная настоящему положению вещей установка.

Итак, нет сомнения, что критические экспозиции не фиксируют никакой новой установки. Они содействуют лишь проявлению установки, адекватной данной ситуации.

2. Временное затухание установки. Как было указано выше, спустя некоторое время после прекращения критиче-

---

* *Р. Г. Натадзе.* К вопросу о выработке установки на равенство // Труды Тбилис. гос. ун-та. 1941. Т XVII.

ских опытов повторное предложение этих последних снова начинает вызывать те же обычные установочные иллюзии.

Спрашивается, как понять это?

Не подлежит сомнению, что в результате воздействия критических экспозиций фиксированная ранее установка не окончательно ликвидируется: по всей видимости, она отступает перед непрерывным рядом воздействий критических экспозиций, совершенно не соответствующих ей, уступая место адекватной им установке. В тех случаях, в которых выработанная в фиксированных опытах установка достаточно прочна, это происходит лишь временно, под влиянием постоянного, непрерывного воздействия критических экспозиций. Следовательно, стоит пройти этому периоду непрерывного действия критических экспозиций, чтобы сила фиксации снова дала себя почувствовать, снова вернула бы себе способность вызывать к жизни соответствующие ей обычные иллюзии установки.

Поэтому следует полагать, что в экспериментах на стабильность установки мы получаем данные, говорящие о факте продолжающейся живучести фиксированной установки. Однако живучесть эта ограничена: через некоторое время — в одних случаях раньше, в других позже — фиксированная установка все же замирает и более не оказывает противодействия случаям возникновения новых, адекватных положению вещей, установок.

3. К проблеме асимметрии. В связи с этим необходимо здесь же отметить дополнительно еще одно обстоятельство. Из обычного наблюдения и особенно из специальных опытов известно, что человек, по существу, построен не вполне симметрично. Наиболее известным случаем нашей асимметричности является функциональная неравноценность наших рук. Менее очевидна разница в том же отношении в функционировании других наших органов: ног, глаз, ушей. В этих случаях в основе функциональной неравноценности лежит более или менее очевидная морфологическая разница между органами.

Специальные исследования по вопросу асимметрии обнаруживают разительные факты ее распространения. Когда в

наших опытах испытуемый получает два одинаковых впечатления (зрительных, гаптических или еще каких-либо других) для сравнения их между собой, то выясняется, что встречается значительное число случаев, в которых сравнение производится неточно, асимметрично и какой-нибудь из членов отношения, как правило, переоценивается в ту или иную сторону*.

Следовательно, нельзя быть уверенным, чем определяется в каждом отдельном случае показание испытуемого — оценкой ли объективного положения вещей или его субъективным свойством — его асимметричностью.

Наряду с явлениями асимметрии в функционировании этих органов, замечены аналогичные факты и в других случаях, в которых морфологической основы этих явлений, по-видимому, не существует. Следовательно, возникает необходимость говорить и о фактах *функциональной асимметрии*. Детальное изучение этой последней покажет нам, насколько широко распространены явления этого рода.

Специальные исследования, особенно из области психофизических экспериментальных изысканий, показывают нам, до какой степени редки случаи адекватной оценки равенства впечатлений, получаемых нами из самых различных сенсорных источников. Можно считать экспериментально установленным, что человек вообще легче замечает и правильнее оценивает явления неравенства, чем явления равенства. Эти факты показывают, что человек скорее настроен воспринимать окружающее асимметрично, чем наоборот, и что вообще он психически склонен больше к явлениям асимметрии, чем симметрии.

Как понять это? Чтобы найти ответ на этот вопрос, мы постараемся сначала выяснить, нельзя ли искусственно, экспериментально создать в человеке склонность к асимметрическому восприятию воздействующих на него впечатлений.

Мы знаем, что в наших установочных опытах мы имеем дело всюду как раз с экспериментально стимулированной

---

* *Б. Хачапуридзе.* Сенсорная асимметрия и фиксированная установка // Тезисы докл Отд. общ. наук АН Груз. ССР. 1943.

асимметричностью наших испытуемых. Когда в результате ряда установочных экспозиций у испытуемого фиксируется соответствующая установка, то после этого в течение определенного периода времени в критических опытах он начинает обнаруживать прочную асимметричность восприятия: из двух равных объектов один ему кажется больше другого.

Впечатление в этом случае получается такое, какое имеем мы, когда являемся свидетелями асимметрических восприятий у тех лиц, которые и без специальных мероприятий оказываются асимметрическими. Это обстоятельство дает нам основание поставить вопрос, не базируются ли явления асимметрии в обоих случаях на одном и том же фундаменте.

Нельзя сомневаться, что ни в случае нашей экспериментальной асимметрии, ни в случае естественной не существует дефекта органического характера, на котором базировались бы явления асимметричности восприятий наблюдаемых нами субъектов. Асимметричность ни в одном из этих случаев не имеет органического основания. При экспериментальной асимметрии в основе ее лежит установка, которая была фиксирована нами в результате воздействия наших установочных экспозиций. Не исключена возможность, что и в случаях естественной асимметрии мы имеем дело с аналогичным явлением. Правда, установочных экспозиций в этом случае мы специально не получаем. Но это не исключает того, что в обычных условиях жизни у человека может появиться ситуация, которая действует на его установку так же фиксирующе, как это имеет место в наших экспериментах. Конечно, для этой цели в последнем случае мы обращаемся к приему многократного повторного воздействия на испытуемого, но мы знаем, что для фиксации установки этот прием не представляет необходимости — бывают случаи фиксации установки и в результате однократного воздействия соответствующей ситуации. Нужно полагать, что в жизни каждого из нас нередко встречаются случаи, которые и без повторного воздействия закрепляют соответствующую установку. В таком случае ничто не мешает допустить, что в обычных условиях нашей жизни не раз возникают обстоятельства, которые сразу фиксируют соответствующую им установку.

Таким образом, мы можем заключить, что каждый из нас носит в себе бесчисленное множество фиксированных в течение жизни установок, которые, активируясь при всяком удобном случае, направляют работу нашей психики в соответствующую сторону.

Далее, необходимо отметить, что, как мы видели, в результате воздействия наших критических экспозиций фиксированная установка отходит в сторону, и это дает возможность вступить в силу установкам, адекватным ситуациям. Переживания субъекта определяются отныне этими последними, и показания его становятся созвучными им. Так бывает в наших обычных опытах. Словом, через некоторое число критических экспозиций вступает в силу адекватная данной ситуации установка, а та, что была фиксирована в экспериментальных условиях, вовсе ликвидируется на данный момент.

Что же происходит со случаями асимметрии, т. е. с теми случаями, в которых мы имеем дело не с экспериментальными, а с «естественно» зафиксированными установками? Как действуют в данном случае критические опыты? Имеют ли они тот же эффект, что и в экспериментальных условиях, или они проявляют себя как-нибудь иначе?

Единственно, что может оправдать такую постановку вопроса, так это то, что фиксированные здесь установки имеют непроверенное, а потому неизвестное нам происхождение. Но ведь бесспорно, что, несмотря на это обстоятельство, они остаются все же обычными фиксированными установками и, следовательно, должны разделять в соответствующих условиях судьбу этих последних.

Это значит, что нет никаких оснований для допущения иной судьбы для естественно фиксированных установок, чем для экспериментально фиксированных. Если в результате воздействия равных критических объектов фиксированная в экспериментальных условиях установка заглушается и вступает в силу актуальная установка, то ничего иного не может происходить и с естественно фиксированной установкой: и она должна в этих условиях выйти из строя, чтобы уступить место установке, адекватной данной ситуации.

Таким образом, мы видим, что в критических опытах ничего не остается от асимметрии, которая так властно давала себя чувствовать до этого: здесь нет никакой разницы, с каким испытуемым мы имеем дело — с тем ли, который показывает определенную асимметричность, или с тем, кто кажется нам вполне симметричным. Все это заставляет думать, что в наших опытах явления асимметричности вовсе не играют роли, которая могла бы нас заставить специально считаться с ними.

УСТАНОВКА, ВОЗНИКАЮЩАЯ НА ОСНОВЕ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛА

Мы уже имели случай указать, что наши обычные опыты с установкой имеют в виду количественные отношения, что аспекты качества в этих экспериментах остаются вне внимания. Сейчас перед нами стоит вопрос, можно ли считать, что эти эксперименты имеют частный, специфический для количественных отношений характер и потому малоприменимы для характеристики явлений других категорий, в частности категории качества, или же, наоборот, они имеют значение и для категории качественных явлений.

1. Опыты по установке на равенство. Прежде чем перейти к изложению результатов, которые мы получили в опытах на чисто качественный материал, мы считаем нужным познакомиться с данными исследования с несколько иной постановкой вопроса. Я имею в виду следующее: если испытуемому давать ряд раздражений, с тем чтобы выработать фиксированную установку не на различие, а на равенство, а затем в критических опытах предложить ему пару неравных объектов с заданием сравнить их между собой, то естественно возникает вопрос, что же получится в этом случае? Конечно, здесь мы имеем все условия, которые следует считать достаточными для того, чтобы получить факты фиксации установки. Но бесспорно, что это не может быть установкой на отношение «больше» или «меньше». Итак, иллюзий контраста мы здесь получить не можем.

Следовательно, в данном случае мы имеем дело с опытами в условиях, почти совершенно тождественных тем, кото-

рые имеются в наших обычных опытах, и возможность возникновения контрастных иллюзий здесь совершенно исключается.

Спрашивается, что же мы получаем в этих опытах?*

Прежде чем перейти к ответу на этот вопрос, необходимо отметить особое положение, которое занимает отношение равенства в ряду других отношений. Дело в том, что развертывающиеся вокруг нас явления, бесспорно, отличаются друг от друга с какой-нибудь стороны; вполне одинаковых явлений не существует. Равенство, или тождество, может быть констатировано лишь в результате оценки объективированных явлений, т. е. явлений, которые мы делаем объектами своего наблюдения с вполне определенной целью — с целью определить то или иное явление по отношению к миру явлений вообще, не ислючая его самого. Фактически равенство может быть констатировано лишь в форме тождества, т. е. лишь по отношению к себе самому. Поэтому понятно, что одинаковыми, т. е. равными, могут быть лишь вещи, которые принадлежат не к миру естественных, а к миру искусственных, человеческими руками созданных явлений.

Но если допустить, что это действительно так, тогда само собой станет понятно, что наблюдение отношений равенства значительно труднее, чем наблюдение отношений неравенства. Поэтому нет ничего удивительного, что повторение опытов, с тем чтобы фиксировать установку на равенство, встречается с затруднениями, не знакомыми в опытах с установкой на «больше» или «меньше». Стало быть, необходимо принять специальные меры в этих опытах для того, чтобы обеспечить нашим испытуемым возможность повторного переживания предлагаемых им объектов равными. Для этого достаточно особо обращать внимание испытуемых именно на *равенство* установочных объектов.

Не касаясь других мер, ставших необходимыми для облегчения фиксации установки на равенство, я хочу остановиться на вопросе о критических раздражителях. Ведь как было

---

* *Р. Г. Натадзе.* К вопросу о выработке установки на равенство // Труды Тбилис. гос. ун-та. 1941. Т. XVII.

выше указано, таковыми должны были быть не равные, а как раз неравные объекты. И вот в наших опытах возникал вопрос о допустимой здесь степени неравенства между этими объектами.

Нетрудно было установить, что неравенство должно было быть лишь незначительно выше порогового, ибо в случаях слишком высокой разницы ассимиляция его оказалась бы невозможной. Как выяснилось, в качестве критических объектов можно было взять круги, отличающиеся друг от друга на 1,5 мм в диаметре, и квадраты, стороны одного из которых были на 1 мм длиннее сторон другого. Но не исключена была возможность, что для некоторых из испытуемых и эта разница могла оказаться недостаточной.

Поэтому опыты обычно протекали следующим образом: в самом начале испытуемым демонстрировались фигуры критических опытов, и в случае, когда они не расценивались как явно различные, они заменялись более дифферентными величинами.

Из результатов этих опытов в первую очередь, конечно, следует отметить, что, ввиду отсутствия условий для возникновения контрастных иллюзий, таковых не оказалось вовсе. Зато доминировали иллюзии ассимилятивные, т. е. у 70,1 % испытуемых, у которых вообще выработалась фиксированная установка, была иллюзия такого рода: неравные кружки или квадратики казались им, как правило, всегда равными.

Следовательно, нет сомнения, что в указанных здесь условиях, т. е. по существу в условиях, обычных для возникновения нашей иллюзии установки, могут появиться новые иллюзии, которые можно квалифицировать как иллюзии установки на равенство. Это первый, самый существенный результат, который мы получаем в этих опытах и которым они отличаются от обычных опытов на установку.

Возникает вопрос, как же обстоит дело с рядом других особенностей, выступающих в аналогичных случаях. Прежде всего оказывается, что *возбудимость* установки и в этом случае может быть исследована совершенно обычным путем, тем же, что и в наших количественных опытах. Только результаты, что, впрочем, и следовало ожидать, получаются не-

сколько иные, чем обычно. А именно: возбудимость фиксированной установки на равенство оказывается значительно ниже, чем в случаях с фиксированной на другие количественные отношения установкой. При работах с такого рода установками это обстоятельство всегда следует иметь в виду, т. е. следует иметь в виду, что в данном случае установка фиксируется значительно труднее и позже, чем в случаях отношения неравенства. Конкретно: фиксируемость в лучшем случае оказывается в границах 12–15 установочных экспозиций. В других же случаях число этих экспозиций доходит до 25–30.

Таким образом, мы можем повторить, что установка на отношения равенства фиксируется заметно труднее, чем наши обычные количественные установки.

Интересно посмотреть, как протекает процесс угасания установки на равенство. Это представляет особенный интерес, поскольку феномен контрастных иллюзий здесь отсутствует, а в сменах этапов угасания установки как раз он — этот феномен — и играет особенно большую роль.

Но если случаи контрастных иллюзий исключить совершенно, то мы получим лишь две возможности: иллюзии ассимилятивные и случаи адекватных ответов. В наших опытах по установке на равенство мы получаем как раз эти две возможности: чаще всего имеем дело с рядом случаев, в которых испытуемый дает или бесконечную серию ассимилятивных иллюзий, или же, через некоторое их число, — резкий переход к случаям адекватных оценок.

Но это не единственный тип реакции, который дают испытуемые в этих ответах. Встречаются и такого рода случаи: испытуемый дает иллюзии не сплошь, и в некоторых случаях мы являемся свидетелями правильных ответов. Эта смена реакций, однако, через некоторое время прекращается с тем, чтобы уступить место сплошь правильной оценке критических фигур. Очевидно, что в данном случае мы имеем дело с явлениями, которые напоминают нам третий этап в обычном процессе угасания фиксированных установок.

Таким образом, в опытах на неравенство мы не встречаемся с изобилием фаз, характерных для хода угасания фик-

сированной установки на «больше» — «меньше». В условиях этих опытов *иначе и не могло быть. Тем не менее* у нас все же нет оснований утверждать, что фиксированная установка на равенство угасает сразу без какой бы то ни было постепенности: наличие третьей фазы, т. е. фазы констатации неравенства, во всяком случае, не вызывает никаких сомнений. Необходимо, однако, отметить, что в этих опытах сравнительно часты случаи статической установки, т. е. число случаев бесконечно продолжающихся иллюзий (20% всех случаев).

Особенного внимания заслуживает вопрос о степени *стабильности* фиксированных установок на равенство.

Фактические данные по этому вопросу следующие.

После паузы в 15–20 минут фиксированная установка продолжает быть активной лишь у 38% испытуемых, т. е. из 13 лиц всего только у 5. Это обстоятельство совершенно недвусмысленно указывает на незначительную стабильность нашей фиксированной установки на равенство. Если при этом принять во внимание, что у 3 из этих 5 лиц установка оказалась до такой степени слабой, что она ликвидировалась после одной—четырех экспозиций, то вывод о незначительной стабильности установок на равенство будет вне всякого сомнения.

Что же касается возможности сохранения такой фиксированной установки на более продолжительное время, например на сутки, то полученные в этих опытах данные не подтверждают ее. Во всяком случае, бесспорных показателей в пользу этой возможности мы не получили.

Из ряда данных наших экспериментальных исследований по установке можно считать бесспорным, как мы на это указывали выше, что фиксированная на определенном материале (скажем, на кругах) установка без всякого затруднения транспонируется на другой материал (скажем, на квадраты), что установка эта вообще генерализируется.

Мы знаем, что для наших обычных опытов факт генерализации установки до такой степени обычное явление, что если не иметь его в виду, то нельзя постигнуть настоящей сущности этих опытов. И вот для того, чтобы показать, что в

опытах на равенство мы имеем дело по существу с обычными фиксированными установками, мы остановимся дополнительно на опытах, касающихся вопроса о возможности генерализации этих установок.

Опыты проводились на испытуемых, у которых установка на равенство фиксировалась точно и определенно. Чтобы проверить факт генерализации выработанной у испытуемого установки, были использованы в этом случае лишь круги и квадраты: проверялось, может ли установка на равенство в случае кругов распространиться и на квадраты.

В результате опытов оказалось, что явление генерализации следует считать и в этих опытах бесспорным фактом. А именно оказалось, что установка на равенство кругов генерализировалась на квадраты, и наоборот. Факт, констатированный в опытах с установкой на «больше» — «меньше», оправдывается и в этом случае.

Следовательно, если бросить взгляд на все эти факты, станет бесспорным, что в опытах на равенство мы получаем в основном те же результаты, что и в обычных наших установочных опытах.

Отсюда можно заключить, что эти опыты представляют собой те же установочные опыты, только на другом материале. Они представляют для нас большой интерес, особенно в том отношении, что они подводят нас вплотную к вопросу о возможности распространения данных, полученных в результате установочных экспериментов, на количественные отношения «больше» и «меньше» и на область отношений равенства. Если бы нам удалось показать, что это действительно возможно, что понятие фиксированной установки так же применимо там, как и здесь, то тогда результаты наших опытов можно было бы использовать не только для характеристики установки на количественные отношения, но равно, быть может, и установки на качественные отношения, поскольку бесспорно, что равенство в какой-то мере относится и к категории качества.

Перейдем к этому вопросу.

2. Опыты фиксированной установки на качественные различия. В наших лабораториях было сделано несколько

4 Зак № 137

опытов построения методики исследования установки на качественно различные отношения*. Мы здесь ограничиваемся одной из них, работой, в которой непосредственно ставится интересующий нас вопрос. Выше мы уже имели случай говорить относительно этой работы и в общем уже характеризовали метод, который был в ней применен. Там же мы имели случай указать, что метод этот был рассчитан на исследование чисто качественных отношений и вполне пригоден для их характеристики. Сейчас мы можем полнее рассмотреть полученные в результате этих исследований положения.

Испытуемый получает тахистоскопически ряд слов (30), написанных от руки латинским шрифтом, — по 5 букв в каждом, например *ridal*, *daluf*, *tifal* и т. д. После этого он получает ряд русских слов (35 и больше) по 5 букв в каждом. Они были написаны нейтральным шрифтом, и их можно было читать и по-латыни; например, почва, топор, рупор и т. п. Слова первого ряда с латинским шрифтом были использованы в качестве установочных, а второго — в качестве критических. Были изучены вопросы о *возбудимости* и *стабильности* установки и особенно вопросы о ее фазах.

Что же мы получили в результате этих опытов?

Первое, что обращает на себя внимание, так это то, что здесь совершенно определенно фиксируется установка на чтение латинских слов: читая ряд слов, испытуемый настраивается читать по-латыни. Следующие затем русские слова играют роль критических, и оказывается, что испытуемый читает их согласно выработанной раньше установке, как латинские слова, например, вместо прекрасно ему известного слова «топор» испытуемый читает «моноп», вместо «порча» он говорит «нопра» и т. д.

Далее оказалось, что установка фиксируется у всех 100 % испытуемых: они все поддаются установке на чтение по-латыни и вследствие этого не догадываются, что «порча», «топор» и т. п. русские, а не латинские слова. Но с течением времени им все же приходит в голову мысль, что они имеют дело

---

* *З. И. Ходжава.* Устойчивость и фазовый характер установки в действии навыка чтения // Психология. 1945. Т. III.

с русскими словами. Конечно, не все испытуемые поступают в точности одинаково: одни раньше переходят на чтение по-русски, другие это делают позже, одни это делают сразу, другие — постепенно и т. д.

Особенно интересным оказывается, что и в этих опытах фиксированная установка замирает, пройдя ряд отдельных фаз.

1. Первое, что раньше всего обращает на себя внимание, так это то, что дело здесь начинается уже не с контрастных иллюзий, как это бывает в наших обычных опытах. Их место занимает обычная ассимилятивная иллюзия: испытуемый читает и русские слова, как если бы они были латинские. Выше мы уже говорили относительно этого; мы тогда специально отметили эту особенность качественных опытов установки. В этом, собственно, единственная разница между этими и обычными установочными опытами. Нужно полагать, что наша точка зрения на контрастную иллюзию, относительно которой мы уже имели выше случай говорить, в достаточной степени соответствует действительности: явление контраста — это явление, которое свойственно лишь категории интенсивности; качественная сфера действительности контраста не знает.

2. Вторую степень регрессивного развития установки в опытах с чтением характеризует следующее: впервые начинают появляться «случаи чтения со смешанной ассимиляцией»* (например, топор читается как мопор или моноп), т. е. чтения, в котором некоторые буквы читаются как латинские, а некоторые как русские). Однако число случаев этого рода со «смешанной ассимиляцией» все же меньше случаев латинского чтения. Итак, характерной особенностью этой, второй, ступени следует считать именно чтение со смешанной ассимиляцией. Число испытуемых, относящихся к этой группе, т. е. читающих со смешанной ассимиляцией, доходит до 60 % всего числа испытуемых, принимающих участие в опытах.

---

* *З. И. Ходжава.* Устойчивость и фазовый характер установки в действии навыка чтения // Психология. 1945. Т. III.

3. Если допустить, что за единичными случаями смешанной ассимиляции следуют случаи чтения то по-русски, то по-латыни и притом по-русски, т. е. адекватно, сравнительно реже, чем по-латыни, то в таких случаях мы можем говорить относительно третьей ступени регрессивного развития фиксированной установки. Случаи чтения этого типа встречаются сравнительно чаще, чем случаи предшествующей, второй, ступени регрессивного развития установки. Из общей массы испытуемых проходят эту ступень 73,3 %, в то время как на второй ступени мы констатируем всего лишь 60 % испытуемых.

Дальнейшие ступени характеризуются следующим: четвертая ступень — по преимуществу чтением по-русски; пятая — чтением русских слов как латинских, но с быстрой коррекцией и правильным произношением (30 % испытуемых) и, наконец, шестая ступень характеризуется в общем правильным чтением всех русских слов, но с предварительной апперцепцией ряда этих слов как латинских и быстрым преодолением этих невольных апперцепций правильным чтением по-русски (40 % испытуемых).

4. Если поближе приглядеться к этим этапам регрессивного развития установки, то нам нетрудно будет заметить, что здесь, в сущности, мы имеем дело, во всяком случае практически, не с шестью, а всего лишь с тремя этапами регрессивного развития фиксированной установки. Дело в том, что все четыре ступени (третья, четвертая, пятая и шестая), которые следуют за второй, могли бы быть объединены в одну — третью — ступень развития установки. Характерной особенностью этой ступени было бы тогда преобладание случаев чтения по-русски над чтением по-латыни. И вот за ней последовал бы наконец факт полной ликвидации фиксированной установки, а значит, и ошибочного чтения предложенного ряда слов.

Если бы мы ограничились указанием лишь этих трех основных этапов, имеющих место в ходе регрессивного развития данной установки, то мы нашли бы факт глубоко идущей аналогии между установками обоих видов — между установками качественного и количественного порядка. Мы могли

бы тогда говорить, что, в сущности, механизм установки один и тот же, чего бы она ни касалась — количественного или качественного материала, безразлично.

Это положение остается в силе и в том случае, если спросить себя, можно ли и в этих качественных экспериментах найти те особенности, которые характерны для установки на количественные отношения.

В самом деле, можно ли говорить в этих опытах о показателях прочности установки? Мы помним, что под прочностью установки нужно разуметь ту ее особенность, благодаря которой установка оказывается в силах противостоять воздействиям несоответствующих раздражений и сохранить себя в нетронутом виде. Само собой разумеется, эта особенность установки в первую очередь должна сказаться в продолжительности первого этапа регрессивного развития, выражающей ее ассимилятивные способности. Следовательно, чтобы проверить степень прочности установки и измерить ее, мы должны установить число критических экспозиций, необходимых в каждом отдельном случае для окончательной ликвидации установки. Полученные в этом направлении данные дают нам возможность судить о прочности установки и в этом случае, а именно оказывается, что чтение примерно 5–7 слов под ассимилирующим влиянием установки указывает на слабую степень прочности установки (26,9 % общего числа испытуемых), 8–11 слов — среднюю степень (55,2 %), и, наконец, 12 слов и выше указывает на высокую степень прочности установки (66,7 %).

Но интересно посмотреть, как обстоит дело с числом повторений установочных экспозиций, признанным вполне достаточным для выработки установки, прочно фиксированной на качественные различия.

Как мы видели выше, установка на отношение объемов данных тел тем прочнее, чем больше количество установочных экспозиций, затраченных на ее фиксацию. Аналогично с этим, нужно полагать, прочность или сила установки на качественные определения измеряется количеством слов, ассимилируемых действием данного числа установочных единиц. И действительно, опыты показали, что после 5 установочных



слов ассимилирующему влиянию их подвергается всего 1–2 слова; после 15 таких слов ассимилируются 4–5, а после 30 — 5–10 слов.

Не касаясь других результатов этих опытов, мы можем в общем заключить, что прочность фиксированной установки на апперцепцию латинских слов находится в прямой зависимости от числа фиксационных экспозиций, затраченных в каждом отдельном случае. Следовательно, не подлежит сомнению, что прочность фиксированной установки оказывается измеримой и в качественных экспериментах.

Коснемся коротко и вопроса о *возбудимости* качественных установок. Как выясняется, она оказывается в соответствующих условиях измеримой величиной. Во-первых, эта величина не постоянна — она находится в зависимости от индивидуальности испытуемого: в то время как для одних достаточно и одного установочного латинского слова, чтобы следующие за ним русские слова ассимилировались вполне, для других число установочных слов должно быть выше одного, причем для разных лиц в разной степени. Следовательно, возбудимость качественных установок оказывается интериндивидуально варьируемой величиной.

Во-вторых, в сравнении с показателями возбудимости установки на количественные отношения возбудимость на качественные данные оказывается гораздо выше: в то время как одного-единственного латинского слова оказывается достаточным для того, чтобы фиксировать соответствующую установку (в 80 % всех случаев), в количественных опытах необходимо четырехкратное повторение оптических экспозиций, чтобы получить впервые фиксацию, и притом в значительно более скромных границах (29,5 % испытуемых).

Наконец, как, впрочем, и нужно было ожидать, в этих опытах оказалось возможным поставить вопрос о *стабильности* установки. Выяснилось, что: во-первых, установка через однодневный интервал сохраняется в 60 % случаев, тогда как в тот же день она проявляется во всех случаях без исключения. При еще более длинных интервалах, скажем, через один месяц, коэффициент сохранности установки спускается до 25 % всех случаев. Таким образом, по мере удлинения интервала

между установочными и критическими опытами процент случаев действия установки, правда, значительно понижается, но он в какой-то степени все же сохраняется надолго; во-вторых, нужно отметить, что по мере удлинения продолжительности интервала между установочными и критическими опытами установка, сохраняясь, становится все менее и менее пластичной; так, через один день она сохраняет переходы через все три стадии (I – 40 %, II – 10 % и III – 10 %), тогда как через интервал в один месяц она теряет всякую пластичность, сохраняясь лишь в первой стадии своего проявления; в-третьих, в связи с вопросом о стабильности установки отметим еще одно обстоятельство: через интервал в 24 часа один из испытуемых читает по-латыни подряд 8 русских слов, а трое остальных – по 4–5 слов, за которыми следуют случаи адекватного, правильного чтения. Через интервал в один месяц мы имеем показатели еще более низкие: один из наших испытуемых читает по-латыни три первых русских слова, а двое остальных – по два первых.

Полученные результаты в целом можно формулировать следующим образом: «Фиксированная на латинское чтение установка продолжает существовать на некоторое время, но существовать так, что по мере удлинения временного интервала актуальность ее становится закономерно слабее, и это выявляется не только в уменьшении ее общей массовой распространенности, но также и в понижении ее прочности и фазовой действенности»*.

3. Особенности установки, фиксированной на качественном различии. Какие особенности наблюдаются в процессе угасания фиксированной на качественном материале установки?

Прежде всего обращает на себя внимание, что в этих случаях мы вовсе не встречаемся с первым этапом процесса угасания установки – мы не находим случаев контрастных иллюзий, наблюдаемых нами на начальных стадиях угасания фиксированной на количественные отношения установки. Вместо этого дело начинается прямо с ассимилятивных

---

* *З. И. Ходжава* Устойчивость и фазовый характер установки в действии навыка чтения // Психология. 1945. Т III.

иллюзий — с эффекта непосредственного воздействия фиксированной установки на восприятия нашего испытуемого.

Факт этот еще раз показывает, что наличие контраста специфично *лишь* для восприятия количественных отношений и что качественные свойства, наоборот, характеризуются многосторонностью взаимных отношений. Следовательно, явление, обусловленное своеобразными особенностями количественных отношений, нельзя считать спецификой самой установки: оно вырастает на почве внутренних свойств материала, но не природы самой установки.

Установка на качественные особенности не включает в себя этапа контрастных иллюзий как этапа, обусловленного спецификой лишь материала количественных отношений, но не особенностями самой установки.

Процесс угасания последней по существу представляется значительно более простым, чем это можно было бы думать, исходя из наблюдения над этапами угасания установки на количественные отношения.

Если исключить ступень контрастных иллюзий, процесс угасания фиксированной установки представится нам в следующем виде: а) сначала мы будем иметь иллюзии ассимиляции: русские слова читаются как латинские; б) за ними следует ступень смеси ассимилятивных иллюзий и адекватных восприятий; например, при фиксированной установке на чтение латинского текста может случиться, что испытуемый читает слово «чурек» как «чупек», т. е. смешанно, отчасти по-русски, отчасти по-латыни — ступень «смешанной ассимиляции» (в данном случае третью букву он читает как латинскую, а другие — как русские); в) за этим следует, по существу, последняя ступень, которая сводится к чтению предложенных слов то по-русски, то по-латыни.

Нет сомнения, процесс угасания фиксированной установки на количественные отношения представляется значительно более сложным, чем тот же процесс в случаях угасания установки на качественный материал. Тем не менее в процессе угасания фиксированной установки в этом последнем случае мы находим ступень, совершенно не встречающуюся в случаях угасания количественных установок. Мы имеем в

виду вторую ступень, т. е. ступень «смешанной ассимиляции», которая сводится к чтению одного и того же слова отчасти по-русски и отчасти по-латыни.

Наличие этой ступени можно констатировать и в другой серии опытов на установку качественных отношений. Так, например, в опытах нашей сотрудницы Н. Л. Элиава, которая фиксировала установку на картину определенного содержания, оказалось, что в критических опытах испытуемые воспринимают предлагаемую им новую картину на основе такой же смешанной ассимиляции, как и в опытах на чтение по-латыни, т. е. они видят картину, которая включает в себя одновременно признаки не только критической, но и установочной картины.

Коротко говоря, в опытах установки на качественные особенности выявляется своеобразная ступень процесса затухания фиксированной установки, сводящаяся как бы к суммарной ассимиляции некоторых из признаков как установочных, так и критических объектов.

Ничего подобного мы не находим в опытах с установкой на количественные отношения. Там дело обстоит совершенно иначе: за этапом контрастных иллюзий следует этап ассимилятивных или смешанных со случаями равенства иллюзий, пока наконец не наступит этап вполне адекватных показаний. Здесь в каждом отдельном случае выступает одно из двух: отношение равенства или отношение неравенства («больше» или «меньше»). Других показаний здесь не бывает и быть не может, так как, поскольку количественные отношения взаимно исключают друг друга, невозможно, чтобы члены реляции были бы одновременно и равны и неравны между собой.

Другое дело в случаях установки на качественные свойства! Здесь дело представляется иначе. Мы видели выше, что на одном из этапов регрессивного хода развития фиксированной установки выступает специфическая форма иллюзии, которая сводится как бы к одновременному проявлению активности двух установочных состояний — состояния, созданного в установочных опытах, и состояния, адекватного воздействию критических опытов. Так, при предложении

в качестве критического раздражителя русского слова «чурек» испытуемый читает его как «чупек», воспринимая русское «р» как латинское «п». То же явление имеет место — и притом совсем нередко — во всех прочих опытах с установкой на качественные особенности. Так, бывает, что испытуемый воспринимает картину критических опытов как новый образ, включающий в себя элементы как установочной, так и критической картины.

Как понять этот новый образ, представляющий собой как бы произведение двух отдельных, но одновременно действующих установок? Если вспомнить, что всякая установка представляет собой целостное состояние личности, тогда относительно возможности возникновения такого рода произведения, представляющего собой как бы смесь отдельных частей двух самостоятельных установок, говорить не придется.

Но тогда как понять это явление? В опытах с текстом можно указать на один своеобразный момент, выступающий наглядно только в этих опытах, но все же имеющий общее значение. Я имею в виду следующее: когда испытуемому после ряда латинских установочных экспозиций предлагают прочесть русское слово «чурек» и он читает его как «чупек», это значит, что это слово как русское он все еще не воспринимает, несмотря на то что все буквы, кроме одной, или в крайнем случае первые две он читает как русские. Сочетание стоящих перед его глазами букв (ч-у-р-е-к) не представляет для него настоящего слова, потому что слово это прежде всего указывает на значение данного комплекса звуков; когда же этого значения, как в этом случае, нет или когда я не вижу его, тогда слово распадается на простой комплекс звуков, ничем существенно между собой не связанных. Каждая отдельная буква становится здесь вполне самостоятельной единицей, которая может читаться согласно любому адекватному алфавиту, ничего этим не нарушая, кроме, быть может, установки на чтение по определенному алфавиту. Но эта последняя, если ее не поддерживает воспринимаемое в каждом отдельном случае значение, легко замирает и уступает

место другой установке, выступающей вперед на том или ином основании.

Короче: когда я читаю сочетание букв, независимо от значения, которое в нем выражается, то тогда не остается основания для чтения на одном определенном языке. Поэтому легко может быть, что в этих случаях комплекс букв распадается на отдельные единицы, из которых одни воспринимаются как буквы одного, а другие — как буквы другого алфавита. Мы видим, что в этом случае мы не имеем того раздвоения установки, о котором говорили выше.

Но как обстоит дело в других случаях, в случаях опытов с картинами? Как мы видели, бывает, что испытуемые после ряда установочных опытов с какой-нибудь картиной начинают воспринимать новую картину, предложенную им в критических опытах, как сложный образ, включающий в себя элементы как установочных, так и критических картин. Иначе говоря, в этом случае перед нами точно те же явления, что и выше, в опытах на чтение по-латыни. Разница заключается лишь в том, что, в то время как в первом случае мы имеем дело лишь с сочетанием букв, независимо от смысла, который, быть может, в них заключается, здесь перед нами картины, которые являются картинами чего-нибудь и потому воспринимаются всегда как смысловое целое. Одним словом, в данном случае мы имеем дело обязательно с изображениями или картинами чего-нибудь, но не с пустыми, ничего не изображающими сочетаниями линий или красок. Поэтому в этих опытах мы не имеем точного повторения тех же результатов, что мы видели в опытах на чтение.

Но значит ли это, что в этих опытах мы принуждены признать в субъекте факт наличия одновременно двух вполне самостоятельных, не зависимых друг от друга, установок? Если мы проанализируем относящиеся сюда случаи, мы увидим, что на этот вопрос придется дать отрицательный ответ. В самом деле! Когда в критических опытах субъект видит картину, как бы суммирующую особенности и установочного и критического объектов, то это вовсе не значит, что в данном случае мы имеем дело действительно с суммарной картиной. Наоборот, воспринимаемая картина представляет собой

единый, вполне цельный образ, а вовсе не суммарное изображение предлагаемых в этих опытах картин. Наоборот, достаточно бросить на нее взгляд, чтобы увидеть, что здесь перед нами вполне самостоятельное, цельное изображение, в котором внимательный анализ обнаруживает лишь элементы, привлеченные в это изображение из образа установочной картины.

Но если это так, то в таком случае не остается сомнения, что в критических опытах мы имеем дело не с выступлением и совместной активностью двух установок, а с фактом выработки специфической установки, легшей в основу восприятия образа критических опытов.

Таким образом, процесс протекания установки, фиксированной на качественном материале, до такой степени совпадает с картиной, которую представляет наша обычная количественная установка, что уже не представляется необходимым вести раздельное изучение их. Мне кажется, для исследования установки вообще было бы достаточно, если бы мы использовали один из этих методов. Сейчас мы отдаем предпочтение методу фиксированной установки на количественные отношения как методу, сравнительно лучше разработанному на сегодняшний день, и продолжаем в большинстве случаев пользоваться им.

К ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ УСТАНОВКИ

Общепсихологический анализ явлений установки показывает, что в этом случае мы имеем дело, несомненно, с существенным фактом, определяющим в значительной степени структуру поведения человека. Но наряду с этим встречались и факты, которые указывают на дифференциально-психологическое значение изучения вопросов установки. Мы видели, что явления установки протекают не везде и не всегда одинаково, что есть случаи, в которых установка меняет свой обычный ход активности, становится иной, чем она бывает обыкновенно. Это обстоятельство, понятно, ставит перед нами задачу — рассмотреть проблему установки подробнее и с дифференциально-психологических позиций. Не

будет ничего неожиданного, если установка окажется моментом в психологии человека, сопряженным с крупным дифференцирующим значением.

1. Дифференцированность установки. Поставим прежде всего вопрос относительно дифференциации установки, лежащей в основе отдельных актов поведения человека. Мы знаем, что в обычных случаях, из которых складывается опыт данного индивида, требуется некоторое число повторных воздействий данного стимула, прежде чем определится, дифференцируется ли соответствующая ему установка. И вот естественный вопрос, который возникает в связи с этим, — вопрос о значении индивидуального фактора в этом случае. Не будет ничего удивительного, если окажется, что ход дифференциации установки не во всех случаях и не у всех индивидов вполне тождествен. И если мы увидим, что это действительно так, то вопрос об исследовании процесса дифференциации установки в каждом данном случае придется признать одним из существенно важных дифференциально-психологических вопросов.

В самом деле! Если признать за установкой ту роль в психологии поведения, которую мы ей приписываем, то станет совершенно понятно, что характер поведения каждого данного индивида в значительной степени зависит от хода дифференциации его установок, от быстроты их образования и степени их определенности. Путаность поведения, его нерешительность и неопределенность будут естественным результатом плохой дифференцированности установки, лежащей в основе этого поведения. С другой стороны, медленность, отсутствие решительности в необходимых поведенческих актах придется рассматривать как естественный результат этой особенности процесса дифференциации установки.

На основании ряда наблюдений не подлежит сомнению, что между людьми констатируется значительная разница с точки зрения этих особенностей поведения. Поэтому следует полагать, что и процессы дифференциации установок у них окажутся значительно различными. Несомненно поэтому, что задача выявления и определения своеобразных

темпов и путей дифференциации установки в каждом отдельном случае является одной из важнейших дифференциально-психологических задач, стоящих перед психологией установки. Несмотря на это, к сожалению, у нас до настоящего времени не имеется экспериментальных исследований по этому вопросу.

2. Возбудимость фиксированной установки. Мы уже указывали выше на настоящее содержание этого понятия. Мы знаем, что для того, чтобы установка фиксировалась, необходимо определенное число фиксационных или установочных опытов. Но мы еще не говорили, что это число нельзя рассматривать как определенную величину, одинаково применимую к установке каждой отдельной личности. Наоборот, наши многочисленные опыты всякий раз доказывают, что в данном случае мы имеем дело с величиной дифференциально-психологической категории. Есть лица, у которых установка фиксируется с самого начала; у них установка оказывается достаточно строго фиксированной с первого же раза, тогда как мы встречаемся и с такими испытуемыми, которые оставляют впечатление лиц, вообще исключающих возможность всякой фиксации установки. Правда, эти две крайние категории встречаются сравнительно редко, но они представляют собой предельные случаи, и наличие их не вызывает сомнений. Конечно, достаточно большое число установочных экспозиций в конце концов все же оказывается в силах фиксировать установку и в этом последнем случае. И вот между этими крайними случаями констатируется наличие промежуточных состояний, которые варьируют от низких показателей установочных экспозиций до значительно высоких.

Если подойти к данным возбудимости установки отдельных лиц, то нам следует с самого начала иметь в виду, что данные эти должны быть подобраны прежде всего с определенной точки зрения: несомненно, важно знать, когда, после какого числа установочных опытов можно констатировать определенные, несомненные следы фиксации.

Как мы уже отмечали выше, многочисленные опыты по установке показали нам, что в этом отношении отдельные

индивиды отличаются друг от друга в значительной степени: есть лица, у которых фиксация установки намечается сравнительно очень рано, а есть и такие, у которых первые признаки фиксации намечаются лишь очень поздно.

При изучении проблем установки иногда оказывается очень важным знать, когда установка впервые начинает давать признаки фиксирования. И в этом случае становится необходимым изучить возбудимость установки с первых же моментов ее проявления.

Но проблема возбудимости этим, конечно, не исчерпывается. Возникает вопрос относительно оптимальной ступени возбудимости, т. е. относительно ступени возбудимости, которая для установки данного индивида является наиболее подходящей. Как и следовало ожидать, показания двух форм возбудимости не совпадают: есть лица, у которых пороги минимальной и оптимальной возбудимости далеко расходятся, тогда как встречаются и такие, у которых эти пороги близко подходят друг к другу.

Для полной характеристики возбудимости фиксированной установки того или иного лица становится необходимым установить оба эти порога. В зависимости от разницы в их показателях мы часто находим специфические, отличительные особенности в поведении субъектов, которые во многом другом часто напоминают друг друга. Пороги возбудимости устанавливаются очень просто; они измеряются числом установочных экспозиций, необходимых для: а) начальных ступеней фиксации установки (показатели нижнего порога) и б) для наиболее оптимальных ступеней ее (показатели оптимального порога).

3. Возбудимость фиксированной установки у детей. Кроме индивидуального фактора здесь играет роль и фактор возраста; мы знаем из специальных исследований фиксированной установки у детей, что возбудимость ее является одной из основных особенностей, характеризующих этот возрастной период, и прежде всего дошкольный период*.

---

* *Б. И. Хачапуридзе.* Некоторые особенности установки у детей // Труды Тбилис. гос. ун-та. 1941. Т. XVII.

Сейчас можно считать установленным следующее: достаточно бывает и одной установочной экспозиции, чтобы фиксировать установку у ребенка этой возрастной ступени. У 80% исследованных детей-дошкольников фиксированная установка появляется уже в результате одной-единственной экспозиции, причем ассимилятивные иллюзии наблюдаются у 60%, а контрастные — у 20% исследованных детей.

Таким образом, выясняется, что возбудимость начальных ступеней фиксированной установки в дошкольном возрасте стоит очень высоко, но одновременно становится очевидным и то, что здесь, на начальных ступенях возбудимости, мы имеем дело именно с низкими показателями фиксации, характеризующимися преобладанием форм ассимилятивных иллюзий.

При увеличении числа установочных экспозиций до 4 дело меняется в значительной степени: здесь преобладающей формой реакций становится уже иллюзия по контрасту, тогда как число ассимилятивных иллюзий спускается до 25%. При дальнейшем увеличении числа установочных опытов (15 экспозиций) число случаев контрастных иллюзий растет уже значительно (74–79%), но не настолько, чтобы только поэтому считать именно это число оптимальным.

Однако здесь имеется момент, с которым уже необходимо считаться. Это — стойкость фиксированной установки, которая дает значительно высокие показатели при дальнейшем повышении числа установочных опытов. Здесь число случаев контрастных иллюзий поднимается до 67%, в то время как при 4 экспозициях оно едва достигает 40%. Наряду с этим, здесь и число случаев ассимилятивных иллюзий значительно меньше (при 2 экспозициях их 30%, при 4–8 — 10–12%, при 15 — 6%). Все это заставляет думать, что оптимальным числом установочных экспозиций в дошкольном возрасте следует считать не 4, а скорее 15.

Таким образом, можно считать установленным, что возбудимость установки у детей дошкольного возраста стоит на сравнительно высоком уровне: низший ее порог не выше 1, а оптимальный порог если не 4, то, во всяком случае, не выше 15.

Если перейдем сейчас к школьному возрасту, мы найдем, что коэффициент возбудимости установки начинает здесь подниматься все выше. Но мы, по-видимому, все же можем утверждать, что коэффициент этот вплоть до 11 лет еще не очень заметно отходит от показателей дошкольного возраста. Во всяком случае, этот отрезок времени в жизни ребенка, именно возраста дошкольной и начальной школы, следует считать, по-видимому, периодом наиболее сильной возбудимости установки.

Зато за этим периодом следует период неполной средней школы — возрастные ступени 12, 13, 14 и отчасти 15 лет, — который характеризуется совершенно несомненными показателями снижения возбудимости.

За этим начинается период 15–16–17-летнего возраста, в котором мы наблюдаем определенный рост показателей возбудимости. Быть может, можно было несколько усомниться в данных для детей 17-летнего возраста, которые, согласно находящемуся в нашем распоряжении исследованию, снижены в значительной степени. Но ввиду незначительности числа изученных на этой возрастной ступени детей (всего 10 человек, тогда как на других возрастных ступенях число исследованных детей колеблется от 58 до 214), показатели эти можно совершенно игнорировать, приравняв их к показателям близких возрастных ступеней. В таком случае мы получили бы вполне определенную картину развития возбудимости фиксированной установки детей школьного периода начиная примерно с 15-летнего возраста*.

Мы видим, что возбудимость установки очень высока в дошкольном возрасте, несколько ниже — до 11 лет, а затем (12, 13, 14 лет) показатели сильно снижаются, чтобы потом — с 15 до 17 лет — опять подняться.

Своеобразную картину возбудимости установки дают и психопатологические случаи. Есть основание полагать, как мы это увидим ниже, что возбудимость установки в некоторых патологических случаях делается несколько своеобраз-

---

* См. подробно об этих данных в кн.: *Б. И. Хачапуридзе.* Некоторые особенности установки у детей.

ной — в одних ее показатели сильно поднимаются вверх, в других, наоборот, они не менее резко спускаются вниз. В качестве примеров можно назвать, с одной стороны, некоторые случаи шизофрении, в которых возбудимость установки значительно высока, а с другой — психастению, где коэффициент возбудимости снижается сильно. Но подробнее об этих явлениях мы будем говорить ниже, в главе о психопатологических случаях.

4. Прочность установки. Наши эксперименты вскрывают далее и *прочность* фиксации установки как следующую ее особенность. Дело в том, что мы часто являемся свидетелями колебания в широких границах прочности фиксированной установки у разных лиц и в разных ситуациях.

Но мы сначала условимся, как понимать это свойство установки. Что такое ее прочность? Можно подумать, что она совпадает с понятием легкости образования установки, что лица, у которых она фиксируется легко, должны характеризоваться как люди с прочной установкой. Но это положение не обязательно соответствует действительному положению вещей. Наоборот, бывают случаи, когда установка, зафиксированная в результате большого ряда установочных экспозиций, оказывается значительно слабее, чем установка после сравнительно более короткого ряда фиксационных опытов. Но бывает и наоборот.

Словом, можно думать, что прочность установки и легкость ее фиксации — явления, совершенно не зависимые друг от друга. Во всяком случае, здесь мы имеем дело с проблемой, которую следовало бы изучить особо.

Итак, мы можем полагать, что люди отличаются друг от друга не только степенью возбудимости фиксированной установки, но и прочностью ее. Но возникает вопрос: как выявляется экспериментально уровень прочности наших фиксированных установок?

Надо думать, что показателем прочности фиксированной установки следует считать длину пути, который приходится преодолеть испытуемому прежде, чем он достигнет состояния полной ликвидации фиксированной у него установки. А путь этот измеряется двояко: а) после ряда установочных

опытов мы можем экспонировать перед испытуемым критические объекты на продолжительное время, с тем чтобы следить, через сколько времени он сумеет идентифицировать их. Продолжительность времени, затраченного на этот процесс, и является показателем прочности измеряемой нами фиксированной установки; б) есть еще и второй способ измерения того же свойства установки. В основе этого способа лежит следующее соображение: роль измерителя продолжительности экспонирования критических объектов может играть и число их *повторных* экспозиций, пока не будет точно засвидетельствовано, что они равны. Результат и при этом втором способе получается тот же самый: в начале опытов в этом случае, как, впрочем, и в первом, испытуемый дает ряд ошибочных показаний, но потом чем дальше, тем больше он приближается к возможности правильной оценки предлагаемых ему критических объектов.

Отсюда, естественно, вытекает следующее: прочность установки измеряется как продолжительностью критических экспозиций, так и числом кратковременных повторных экспозиций критических объектов.

Итак, из ряда исследований, касающихся фиксированной установки лиц, отличающихся друг от друга по ряду признаков, мы видим, что и прочность установки должна быть квалифицирована как величина, имеющая несомненное дифференциально-психологическое значение. Однако специальных исследований по этому и аналогичным вопросам мы до настоящего времени не имеем.

5. Динамичность и статичность установки. Когда фиксированная установка уже налицо, то, независимо от того, как она фиксировалась, встает вопрос и относительно ее регрессивного развития, относительно процесса ее ликвидации. Этот вопрос возникает совершенно неизбежно, потому что уже при изучении общепсихологического вопроса о ликвидации фиксированной установки совершенно определенно выступает и дифференциально-психологическая природа этого явления. Мы видели, что процесс ликвидации фиксированной установки, правда, имеет некоторые общие пути

развития, но определенно большую роль играет здесь и индивидуально-психологический фактор.

Итак, каковы же дифференциально-психологические вопросы в этой проблеме? Мы уже указывали выше, что существуют две возможности при разрешении вопроса, стоящего в данном случае перед испытуемым. Он может или ликвидировать свою установку, или же оказаться бессильным это сделать. И вот этого обстоятельства достаточно для того, чтобы видеть, что в данном случае мы имеем дело, в сущности, не с общепсихологической, а с чисто дифференциально-психологической проблемой, эти две возможности реакции исключают друг друга и, значит, одновременно в одном и том же лице существовать не могут.

Выше мы уже видели, что существуют два типа людей, которые дифференцируются как раз с той точки зрения, которая сейчас нас занимает. Лиц, которые в результате прохождения ряда этапов в конце концов все же доходят до признания равенства критических фигур, мы относим к типу испытуемых с *динамической установкой.* К этой группе относятся все испытуемые, которые в наших опытах вообще доходят до констатации равенства критических объектов и, освобождаясь от влияния фиксированной ранее установки, начинают решать задачу правильно.

Но мы видели, что нередки случаи, когда мы встречаемся и с лицами другого типа. Это — люди, лишенные способности освободиться от власти фиксированной установки, которая доминирует в них в данный момент. Время, по-видимому, не может смягчить, а потом и вовсе искоренить фиксированную ранее установку. Мы видели выше, что в таких случаях мы имеем дело с лицами *статической установки.*

В отличие от динамической статическая не является распространенной формой установки среди нормальных лиц. Особенность ее заключается в том, что субъект на длительный период времени оказывается под влиянием одной и той же фиксированной установки — установки, которая не только сама не является адекватной, но и не дает возможности проявиться таковой. Нет сомнения, что лица со статической формой фиксированной установки ни в какой степени не

являются вполне приспособленными субъектами. Они в какой-то мере определенно отступают от нормы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что чаще всего статическая форма установки встречается в психопатологических случаях. Ниже мы увидим, как высок коэффициент лиц с этой формой установки среди изученных нами патологических субъектов.

Тем не менее никак нельзя утверждать, что статичность установки — специфический признак, свойственный одним лишь явно больным субъектам. Это хорошо видно из большого материала, находящегося в нашем распоряжении. Мы видим там, что существуют отдельные группы людей, которые специфически характеризуются статичностью установки или же, по крайней мере, являются носителями, в числе прочих особенностей, также и ее. Ниже, при анализе основных типологических групп, нам специально придется говорить по этому вопросу. Там мы увидим, что люди, например, с грубо-статической установкой встречаются вовсе не так редко.

Таким образом, признаки динамичности и статичности установки представляют собой признаки, которые необходимо учитывать при дифференциально-психологической характеристике людей.

6. Пластичность установки и ее грубость. Выше, при характеристике процесса затухания фиксированной установки, мы уже имели случай говорить относительно этих ее сторон. Мы тогда нашли, что процесс ликвидации установки протекает в определенном порядке и что, в частности, необходимо различать *пластичные* и *грубые*, или *инертные*, формы ее. Сейчас мы подчеркиваем, что это обстоятельство имеет значение и с типологической точки зрения, и при изучении отдельных индивидов обойти эти аспекты не представляется возможным.

Но что же они собой представляют? Что мы имеем в виду, какую особенность установки, когда говорим относительно пластичности и грубости или, как еще иначе можно было бы выразить ту же особенность, относительно ее инертности? Выше, в контексте общепсихологических проблем установки, мы уже имели случай говорить относительно этого. Тогда мы достаточно подробно останавливались на вопросе

о дифференцировании этих форм. Сейчас дополнительно нужно подчеркнуть, какого момента активности установки они касаются.

Если при динамичности и статичности установки вопрос касается окончательной судьбы ее, а именно будет она при данных условиях ликвидирована или это окажется невозможным, то здесь при установлении пластичности или грубости наших установок речь идет совершенно о другом: здесь стоит вопрос о судьбе ее в процессе ликвидирования, о тех изменениях, которые она претерпевает в этом процессе независимо от того, чем он заканчивается, будет она ликвидирована или нет. В тех случаях, когда фиксированная установка под влиянием ряда критических опытов начинает сгибаться — меняется, делается все слабее, независимо от того, что в конце концов с ней происходит, — мы имеем дело с фиксированной установкой, которую следует характеризовать как *пластичную*. В тех же случаях, где процесс критических опытов не оказывает никакого влияния на характер установки и она до конца сохраняет себя, по-видимому, без изменений, в этих случаях мы говорим о *грубой*, или *инертной*, установке.

В результате наших опытов выяснилось, что эти стороны установки имеют также резко выраженный дифференциально-психологический характер. Какую индивидуально-психологическую ценность они имеют, об этом нам придется говорить ниже. Здесь же нужно отметить, что эти особенности установки, так же как и указанные выше динамичность и статичность, представляют собой моменты, которые варьируют в зависимости от индивидуальных и, может быть, от других (возрастных, сексуальных и т. п.) условий.

В частности, относительно возрастных изменений в развитии фиксированной установки у нас имеются данные, которые определенно подтверждают как наличие их, так и особенность путей движения их вперед*. Правда, они требуют все же некоторого пополнения, но их можно и сейчас использовать в этом контексте. Мы уже отмечали выше, что оптимальным числом установочных опытов у детей можно счи-

* *Б. И. Хачапуридзе.* Некоторые особенности установки у детей.

тать 15 экспозиций. Поэтому наиболее характерными для них я считаю те показатели, которые они дают в результате фиксации установки под воздействием на них именно этого числа экспозиций. Если мы рассмотрим имеющиеся данные, касающиеся разных возрастных ступеней, то увидим, что главнейшие формы установки, о которых идет здесь речь, распределяются следующим образом: в дошкольном возрасте доминирующей формой можно считать статическую фиксированную установку; в период начальной школы — опять статическую, но в пластической форме, и, наконец, в период средней школы — грубо-динамическую установку. Правда, эти данные трудно считать окончательными, но приблизительную картину распределения форм фиксированной установки по возрастным ступеням они нам все же дают.

7. Иррадиированность и генерализованность установки. Выше мы уже встречались с проблемой иррадиации установки. Но там нас интересовал этот вопрос лишь с принципиальной точки зрения, как общепсихологический феномен. Здесь нам приходится указать, что эта проблема имеет и свой дифференциально-психологический аспект.

Правда, установка представляет собой психологический факт, который находит свою характеристику, быть может, даже особенно яркую, именно в том, что она иррадиирует по всему организму в целом. Но, с другой стороны, мы встречаемся с рядом фактов, которые показывают, что иррадиированность установки не всегда можно констатировать или же что в одних случаях она представлена широко, в других же — распространена на сравнительно ограниченные области. Поскольку это так, становится бесспорным, что в число дифференциально-психологических проблем включается и проблема иррадиации установки.

При исследовании проблемы иррадиации установки с общепсихологической точки зрения нельзя, конечно, целиком обойти этот дифференциально-психологический вопрос, и в настоящее время у нас выработалась определенная точка зрения относительно него.

Исследование, посвященное вопросу об иррадиации установки, на которую мы ссылались выше, привело к явному

выводу, что иррадиированность установки в степени, выявляемой применяемой в этом случае методикой, не представляет всеобщего явления, что она, наоборот, встречается лишь в некоторых случаях и характеризует, таким образом, лишь установку отдельных индивидов. Впрочем, при установлении состояния иррадиации у отдельных испытуемых уже давно было обращено внимание на его дифференциально-психологическую природу. Но, к сожалению, нам до настоящего времени не удалось еще вскрыть ее в полной мере в специальных экспериментальных исследованиях. Тем не менее при индивидуально-психологическом исследовании аспект иррадиации установки и сейчас нельзя упускать из внимания.

Конечно, не иначе обстоит дело и с родственной проблемой — проблемой генерализации установки. Выше мы нашли, что аспект генерализации — это специальный аспект, который имеет свой особый предмет, свою специфическую задачу и определенное значение с точки зрения общетеоретических психологических интересов. Одновременно даже и тот незначительный материал, который мы имеем на сегодняшний день по этой проблеме, достаточно определенно указывает также на ее дифференциально-психологическое значение. Поэтому, конечно, и проблема генерализации установки должна быть специально исследована в дифференциально-психологическом аспекте.

Уже и те данные, которые на сегодняшний день имеются у нас относительно этих проблем, указывают, что в данном случае перед нами стоит задача, которая обещает немало интересного материала при изучении индивидуально-психологических особенностей отдельных лиц.

В цитированной выше работе Хачапуридзе «О некоторых особенностях установки у детей» мы находим ряд данных по вопросу об иррадиации установки в детском возрасте. Если рассмотреть эти данные в дифференциально-психологическом аспекте, мы найдем в них ряд интересных положений по интересующему здесь нас вопросу. Нужно, однако, иметь в виду, что эта работа была закончена в тот период, когда у нас не было еще понятия *генерализации* и оно трактовалось пока еще в диффузной связи с понятием иррадиации. Поэтому-то

в этой работе мы еще не имеем дифференцированных данных по этим двум проблемам. Тем не менее данные, нашедшие себе место в ней, и по сегодняшний день продолжают сохранять за собой значение.

Эти данные сводятся к следующему.

В дошкольном возрасте установочные опыты проводились в гаптической сфере (в качестве раздражителей предлагались обычные в наших опытах деревянные шары), а критические — в зрительной (два равных круга в тахистоскопе). Результаты, которые получались с самого начала, определенно указывали на наличие факта иррадиации: если в фиксационных опытах принимались меры для того, чтобы фиксировать гаптически установку — «направо больше», то в критических экспозициях, которые следовали в тахистоскопе непосредственно за установочными, чаще всего круг направо казался больше, чем круг налево, т. е. обнаруживались случаи ассимилятивных иллюзий. Но это имело место не во всех случаях наших опытов: правда, сравнительно редко, но случаи контрастных иллюзий все же имели место. На основании многократно и с разных сторон проверенных опытов были получены следующие цифры: ассимилятивных иллюзий — 42 % и контрастных — 15 %, т. е. всего случаев иррадиации — 57 %. Таким образом, мы видим, что в дошкольном возрасте феномен иррадиации в гаптической и зрительной сферах представляет собой несомненный факт.

В возрасте начальной школы установочные экспозиции давались так же, как и в дошкольном возрасте, гаптически. Зато критические опыты проводились на экране, т. е. испытуемые получали на экране пару равных кругов, которые освещались на момент и опять затемнялись, так что испытуемый мог их отчетливо видеть, чтобы сравнить между собой.

Каковы же результаты этих опытов?

Из ряда данных, имеющихся по этому вопросу, мы выбираем те, которые получены от наибольшего количества испытуемых.

И мы находим, что в этом случае имеется 68 % контрастных иллюзий и 21 % ассимилятивных (остальные 11 % падают

на случаи правильных ответов, т. е. равные критические объекты расцениваются правильно, как равные). Эти цифры показывают, до какой степени быстро растет число контрастных иллюзий в школьном возрасте. Правда, и случаи ассимиляции представлены здесь не низкими цифрами (21 %), но если сравнить эту цифру с той, которую мы видели в дошкольном возрасте (42 %), то станет ясно, как быстро меняется здесь картина, имеющая, несомненно, существенное значение для понимания хода развития детской психики. Этот рост случаев контрастных иллюзий при явлениях иррадиации указывает на ряд изменений, имеющих место в период начальной школы и показывающих значительные сдвиги в психике ребенка, которые приближают его к особенностям психической жизни взрослого.

8. Константность и вариабельность фиксированной установки. Мы знаем, что процесс затухания фиксированной установки протекает не во всех случаях одинаково и что в зависимости от этого установка может быть динамичной или статичной, пластичной или грубой. Но в ходе наших экспериментальных исканий оказалось, что люди в значительной степени отличаются друг от друга и в том отношении, что тип затухания у некоторых лиц в зависимости от обстоятельств меняется часто, он не остается константным, так что не представляется возможным считать, что данный индивид, вообще говоря, относится к какому-нибудь определенному типу установки. Само собой разумеется, это ставит перед нами вопрос о природе установки вообще: является ли она чем-то внутренне обусловленным или же она всецело и исключительно зависит от внешних условий, в которых приходится жить данному субъекту. Конечно, этот вопрос имеет очень существенное принципиальное значение. От его решения зависит в значительной степени вопрос о механизмах человеческого поведения.

Для того чтобы ответить на этот вопрос, мы ставили эксперименты повторно через определенные промежутки времени (через часы, сутки, недели, месяцы и т. д.), ничего не изменяя в условиях опытов. Результаты должны были показать, меняется ли картина протекания опытов в том или

ином случае, и если меняется, то в каких условиях и в какой степени.

Результаты наших многочисленных опытов показывают нам, что константность установки не представляет собой необходимого явления, что есть люди, у которых установка меняется часто, тогда как встречаются и такие лица, у которых наблюдается постоянно одна и та же картина протекания этапов угасания фиксированной установки.

Словом, мы можем сказать, что константность фиксированной установки — не общее явление, что бывают случаи *вариабельности установок.*

Если проследить эти случаи, мы придем к определенному выводу относительно константности установки, к выводу, что фиксированная установка вполне нормального, здорового человека остается во всех случаях константной. Что же касается проблемы вариабельности, то на основании длинного ряда наблюдений можно утверждать, что она выступает лишь в случаях отступлений от нормы — либо во временных и скоро проходящих, либо в *сравнительно* постоянных и стабильных. В первом случае мы являемся свидетелями быстрых и неглубоких колебаний типов затухания установки, во втором же — эти колебания носят более глубокий и сравнительно постоянный характер.

9. Стабильность и лабильность фиксированной установки. Выше мы имели случай поставить вопрос о новой стороне фиксированной установки, которую мы тогда обозначили как ее стабильность. Она заключается в свойстве установки в течение определенного промежутка времени сохранять способность к активности.

Для того чтобы проверить эту способность, мы поступаем следующим образом: после того как в результате определенного числа установочных опытов мы достаточно прочно фиксируем соответствующую установку, мы ставим критические опыты через определенные промежутки времени, продолжительность которых меняется в зависимости от наших интересов (через часы, дни, недели и т. д.). В отличие от опытов на константность установки, здесь установочные опыты ставятся лишь в начале экспериментов и больше не повторя-

ются: через интересующие нас промежутки времени повторяются лишь критические опыты, которые в каждом отдельном случае показывают, какова судьба фиксированной установки — ликвидировалась она или пока еще остается активной силой.

Выше мы убедились, что фиксированная установка, вообще говоря, обладает свойством стабильности. Но одновременно мы убедились и в том, что это свойство имеет значительно широкое дифференциально-психологическое значение. Установка может быть более или менее стабильна или же она может быть вовсе лишена этого свойства — быть крайне лабильной. С этой точки зрения люди, в зависимости от ряда особенностей, могут значительно отличаться друг от друга. Вопрос касается степени и глубины стабильности. Мы можем на основе экспериментальных данных различить следующие случаи.

Прежде всего, конечно, лабильность установки разнится в зависимости от того, через какой промежуток времени эта установка перестает оказывать влияние на восприятие критических объектов. С этой точки зрения нужно различать друг от друга фиксированные установки, из которых одни теряют свою актуальность уже через несколько минут или часов после своего выступления, а другие — через дни и недели и т. д. Ряд наших опытов показывает, что в этом отношении можно констатировать значительную разницу между испытуемыми: в то время как одни оказываются совершенно лабильными, т. е. совершенно неспособными сохранять единожды фиксированную установку в течение некоторого времени, чтобы проявить ее в случае нужды, другие, наоборот, показывают в этом отношении ряд ступеней, на которых они продолжают стоять; одни сохраняют свою установку на недели, другие же — на месяцы и, быть может, даже на годы. Словом, вариабельность испытуемых в этой плоскости достаточно большая.

Но среди этих же лиц необходимо проследить, в какой *степени константности они сохраняют* эту установку. Данные наших опытов показывают, что степень эта различная. Встречаются лица, которые сохраняют установку в одной и

той же форме; тип фиксированной установки не меняется, пока она у них остается в силе, мы не замечаем никаких признаков постепенного снижения силы фиксированной установки — она сохраняется неизменно в одной и той же форме. В этом случае мы могли бы говорить относительно наличия фиксированной установки, которую нужно было бы характеризовать как *константно-стабильную* установку.

Наконец, встречаются и такие случаи, в которых дело обстоит совершенно иначе — установка не обнаруживает никакой константности. Наоборот, через определенные промежутки времени она дает признаки вариабельности — меняет свой тип, пока продолжает оставаться в силе. Следовательно, в данном случае мы имеем дело определенно с *вариабельно-стабильной* формой установки, которая, однако, может выявиться в ряде различных ступеней.

10. Интермодальная природа типа фиксированной установки. Мы рассмотрели отдельные стороны, или аспекты, фиксированной установки и нашли, что каждый из них имеет свое дифференциально-психологическое применение. Но мы оставили вне нашего внимания вопрос, имеющий в этом случае бесспорно большое значение. Дело в том, что мы еще не имеем прямых доводов в пользу того положения, что все эти отдельные аспекты фиксированной установки представляют собой по существу не частные, не зависимые друг от друга состояния отдельных модальных областей, а общие свойства, имеющие распространение, по-видимому, на весь организм в целом. Если бы оказалось действительно так, если бы отдельные специфические стороны установки, как например ее возбудимость, динамичность и пластичность, ее константность и стабильность, ее иррадиированность и дифференцированность, оказались постоянными, неизбежными величинами, независимо от областей, в которых они обнаруживаются, то тогда мы могли бы сказать, что имеем дело действительно с особенностями субъекта как целого, а не отдельных его органов. Правда, судя по тому, что мы уже знаем относительно установки, мы могли бы разрешить этот вопрос и без специально на него рассчитанных опытов. Но мы считаем целесообразным все же обратиться к ним, чтобы и в этом

случае иметь в своем распоряжении возможно точный материал.

Итак, если мы вскроем характер фиксированной установки субъекта с точек зрения всех ее нам известных отдельных сторон, во всех имеющихся у нас чувственных областях, то можно спросить себя, каковы же отношения между всеми этими отдельными аспектами проявления установки? Если исследуем особенности установки субъекта в зрительной сфере, а затем постараемся найти, каково же положение дел с установками в гаптической и мускульной сферах и каково отношение их друг к другу, то перед нами будет материал, годный для ответа на интересующий здесь нас вопрос.

Для того чтобы сделать это, мы поступаем следующим образом: мы считаем целесообразным провести опыты с нашими испытуемыми по трем чувственным модальностям (в нашем случае мы ограничиваемся зрением, гаптикой и моторикой), причем исследуем динамичность, пластичность, прочность, константность, стабильность и возбудимость фиксированной установки каждого отдельного испытуемого, с тем чтобы найти, как относятся найденные результаты друг к другу, повторяют ли отдельные модальности друг друга или каждая из них характеризуется установкой со своими специфическими особенностями*. Словом, мы должны убедиться, представляет ли данный тип фиксированной установки прочную особенность каждого определенного испытуемого или он меняется в зависимости от чувственных модальностей, в условиях которых возникает.

Для того чтобы достигнуть этого, помимо обычных мероприятий, мы обращаемся к следующему приему: мы стараемся растянуть протяженность опытов во времени на промежутки, достаточные для того, чтобы возможно было в каждом отдельном случае максимально гарантировать чистоту результатов от возможного влияния иррадиации.

Какие же результаты мы получаем в этих опытах?

---

* *А. Авалишвили.* К вопросу об интермодальной константности типов фиксированной установки // Труды Тбил. гос. ун-та. 1941. Т. XVII.

Из 8 испытуемых, данные которых были специально изучены по всем отдельным пунктам экспериментов, 4 дают вполне определенную картину: их результаты по всем моментам установки, какие только в этом случае подвергаются экспериментальному исследованию, оказываются одинаковыми, испытуемые дают всюду одну и ту же картину. Для примера назовем испытуемого № 1. Этот испытуемый относится к группе косно-динамических, слабых, константных субъектов, которые характеризуются лабильностью и интермодально-однообразной возбудимостью фиксированной установки. Это значит, что он обнаруживает неизменно в течение 10 дней один и тот же тип угасания фиксированной установки: он дает вначале непрерывный ряд контрастных иллюзий и затем сразу, без обычных переходных форм, начинает констатировать равенство предложенных ему объектов. Но это он делает не только в одной какой-нибудь специальной реципирующей области, а во всех трех областях без всякого исключения: фиксированная установка испытуемого № 1 сохраняет свой определенный тип процесса угасания, где бы, в какой чувственной модальности она бы ни возникала.

Ту же картину мы видим и по отношению к остальным модификациям установки: возбудимость ее одинакова по всем направлениям. То же самое нужно сказать и относительно стабильности, несмотря, впрочем, на то что при исследовании этих субъектов не было еще возможности дифференцировать стабильность их установок с точки зрения степени их константности.

Из остальных испытуемых трое представляют ту же картину интермодальной неизменяемости фиксированной установки; однако они отличаются от испытуемого № 1 тем, что этот последний относится к типу слабой, но грубой динамической установки, в то время как эти трое принадлежат к субъектам, правда, такой же грубой динамической, но зато определенно прочной установки. Такие же отдельные особенности, о которых сейчас нет необходимости говорить, имеются и у остальных испытуемых. Правда, каждый из них дает своеобразную картину фиксированной установки, но они все сходны в том, что фиксированная установка проявляется у

них, по всем обследованным нами сенсорным модальностям без исключения, неизменно в одной и той же форме.

Большой интерес представляет группа остальных испытуемых. Это — лица, которые резко отличаются от только что указанных нами испытуемых тем, что фиксированная у них установка оказывается варьирующей в зависимости от сенсорных модальностей, которые у них подвергаются испытанию. Рассмотрим вкратце, что же мы имеем в этих случаях.

В отличие от основной группы испытуемых, особенно выделяются двое, относительно которых можно с уверенностью сказать, что они представляют действительно своеобразную картину ликвидации фиксированной установки. Каждый из них дает нам образец оригинального способа разрешения задачи — образец, в корне отличающийся от предшествующих случаев. Характерной особенностью этого способа является полная запутанность картины, неопределенность основного пути процесса ликвидации установки. Если в предшествующих случаях мы являлись повсюду свидетелями одного определенного способа заглушения активности фиксированной установки, то здесь, в этих случаях отступления от нормы, мы видим полное отсутствие какого-либо твердого порядка, какого-либо более или менее определенного плана. Достаточно сопоставить эти два случая друг с другом, чтобы воочию убедиться в этом.

Испытуемый № 7 вырабатывает в зрительной сфере слабую фиксированную установку, но косную и динамическую. Зато совершенно другую картину обнаруживает он в гаптической и особенно своеобразную — в мускульной сферах. В гаптике наш испытуемый сохраняет, с одной стороны, ту же картину фиксированной установки, что и в зрительной, но с другой — здесь она оказывается совершенно определенно *прочной* (число последовательно друг за другом следующих контрастных иллюзий здесь не ниже 13, в то время как в зрительной сфере оно не выше 5). Зато совершенно иначе обстоит дело в сфере мускульной чувствительности: здесь наш испытуемый никогда не бывает в состоянии освободиться от раз фиксированной установки, сколько бы ни повторялись критические опыты. В этой области установка оказывается

статически зафиксированной, ее невозможно ликвидировать в обычных для этого условиях, и испытуемый не в силах добиться правильной оценки равенства двух одинаковых тяжестей, в то время как другим испытуемым сделать это не стоит никакого труда.

Такая же интермодальная вариабельность характеризует и константность установки этого испытуемого: в то время как она сохраняет свой обычный тип в двух сенсорных модальностях — в оптической и мускульной, — она оказывается совершенно иной в гаптической сфере — здесь она вариабельна, появляется сначала в форме косной, статической, но дня через два она вдруг меняется и показывает себя в форме динамической установки. Так же перепутана в этом случае и картина лабильности установки; в то время как в мускульной области испытуемый дает все время контрастную иллюзию, т. е. обнаруживает стабильно-константный тип установки, в других модальностях дело принимает совершенно иной оборот: в зрительной области установка замирает через два дня, а в гаптической — уже через день. Одна лишь картина возбудимости, по крайней мере нижний ее порог, оказывается во всех случаях одинаковой.

Таким образом, в данном случае мы становимся свидетелями в общем значительно глубокой изменчивости активности установки в зависимости от чувственных модальностей, через которые она вырабатывается. Коротко говоря, в этом случае мы имеем дело с интермодально-вариабельной фиксированной установкой.

Совершенно другую картину обнаруживает фиксированная установка испытуемого № 8 — более путаная, чем установка испытуемого № 7. А именно: в оптической сфере испытуемый обнаруживает прочную пластическую форму установки, но она — эта установка — продолжает оставаться все время фиксированной и не дает вовсе возможности адекватного восприятия. Следовательно, она оказывается пластической, но это не мешает ей оставаться совершенно статической фиксированной установкой.

Та же картина наблюдается и в мускульной сфере, впрочем, с той разницей, что прочная пластическая установка

5 Зак № 137

делается здесь слабой. Однако совершенно меняется картина в гаптической сфере: оставаясь пластической, установка оказывается здесь уже динамической. В этой сенсорной области испытуемый сравнительно легко освобождается от влияния фиксации и достигает возможности вполне адекватного восприятия.

Понятно, что эта форма установки вряд ли может оказаться константной; и действительно, мы видим, что она все время меняет свой облик, оставаясь сравнительно постоянной лишь в одной мускульной области.

Наконец, что касается стабильности этой установки, то она оказывается достаточно вариабельной: в оптической области она сохраняется за все время опытов без видимых изменений; в гаптической — ликвидируется уже со второго, а в мускульной — с третьего дня.

Только со стороны возбудимости установка испытуемого остается приблизительно одинаковой во всех чувственных модальностях, она с самого же начала (после 5–3 экспозиций) имеет форму интермодально-косной динамической установки.

Таким образом, можно считать определенным, что обычно у каждого нормального субъекта имеется свой тип фиксированной установки, который в целом остается неизменным, независимо от различия чувственных областей, принимающих участие в процессе его возникновения. Но выясняется, что не все испытуемые принадлежат к этому основному, так сказать целостному, типу людей, среди них существует какая-то сравнительно незначительная масса, которая не обнаруживает единства и согласованности в проявлениях своих установок: в одних сферах своего организма они представляют одну, а в других — совершенно другую картину. Это — люди не единой внутренней сущности, не установленные в определенном порядке, нередко люди — внутренне конфликтные. Во всяком случае сейчас можно сказать, что, наряду с людьми нормального склада, несомненно существуют и такие, у которых уже в структуре фиксированной установки намечаются бесспорные признаки отступления от нормы.

* * *

Вот основные сведения, имеющиеся в нашем распоряжении по вопросу об установке. О чем говорят нам они?

Основное положение таково: возникновению сознательных психических процессов предшествует состояние, которое ни в какой степени нельзя считать непсихическим, только физиологическим состоянием. Это состояние мы называем *установкой* — готовностью к определенной активности, возникновение которой зависит от наличия следующих условий: от *потребности*, актуально действующей в данном организме, и от объективной *ситуации* удовлетворения этой потребности. Это — два необходимых и вполне достаточных условия для возникновения установки — вне потребности и объективной ситуации ее удовлетворения никакая установка не может актуализироваться, и нет случая, чтобы для возникновения какой-нибудь установки было бы необходимо дополнительно еще какое-нибудь новое условие.

Установка представляет собой первичное, целостное, недифференцированное состояние. Это не локальный процесс — для него скорее характерно состояние *иррадиации* и *генерализации*. Несмотря на это, основываясь на данных экспериментального исследования установки, мы имеем возможность характеризовать ее с различных точек зрения.

Прежде всего оказывается, что установка в начальной фазе обычно выявляется в форме диффузного, недифференцированного состояния и, чтобы получить определенно дифференцированную форму, становится необходимым прибегнуть к повторному воздействию ситуации. На той или иной ступени такого рода воздействия установка фиксируется, и отныне мы имеем дело с определенной формой *фиксированной* установки.

Установка вырабатывается в результате воздействия на субъекта ситуаций, дифферентных в количественном или качественном отношениях, причем значительной разницы между ними не обнаруживается и закономерность активности установки в обоих случаях остается в существенных чертах одной и той же.

Эта закономерность проявляется в различных направлениях, и она с разных сторон характеризует состояние установки субъекта. Мы видели, что фиксация установки, так же как и ее дифференциация, реализуется не одинаково быстро (степень возбудимости установки). Мы видели также, что процесс затухания протекает с определенной закономерностью. он проходит ряд ступеней и только в результате этого достигает состояния ликвидации. Однако в данном случае выявляется и факт индивидуальных вариаций: с точки зрения полноты ликвидации различается установка *статическая* и *динамическая* и с точки зрения ее постепенности — установка *пластическая* и *грубая*. Следует отметить, что и постоянство фиксированной установки не всегда одинаково: она по преимуществу *лабильна* или, наоборот, *стабильна*. То же нужно сказать и относительно ее типологической устойчивости. С этой точки зрения различаются установки *константные* и *вариабельные*.

Таким образом, мы видим, что установка может быть характеризована с различных точек зрения и ее особенности должны быть квалифицированы с разных сторон.

Мы видим, что у человека имеется целая сфера активности, которая предшествует его обычной сознательной психической деятельности, и изучение этой сферы представляет, несомненно, большой научный интерес, так как без специального ее анализа было бы безнадежно пытаться адекватно понять психологию человека.

Сейчас перед нами ставится задача изучить вопрос об установке животного, и если окажется, что установка встречается в той или иной форме и у него, тогда у нас откроется возможность и необходимость искать специфические формы активности установки у человека.

II. УСТАНОВКА У ЖИВОТНЫХ

1. Постановка вопроса. Мы видели, что основными условиями возникновения установки у человека следует считать актуальность какой-нибудь из его потребностей и наличие ситуации ее удовлетворения. Поскольку в этих услови-

ях нет ничего такого, что было бы специфической, исключительно человеку свойственной особенностью, естественно возникает вопрос о возможности активирования установки и у животных. У нас нет оснований полагать, что на базе потребности и ситуации установка соответствующей активности может возникнуть лишь у человека. Наоборот, поскольку у человека сознательная жизнь играет выдающуюся роль, а ее-то у животных не видно, мы можем полагать, что, быть может, именно поэтому в последнем случае установка получает особенно большое значение.

Для того чтобы убедиться в факте актуального наличия установки у животного, целесообразнее всего было бы обратиться к помощи эксперимента. У нас имеется достаточно богатый опыт в деле экспериментального изучения установки у человека. Мы, конечно, воспользуемся этим обстоятельством и постараемся построить методику изучения животного возможно ближе к нашей обычной, уже испытанной методике исследования установки у человека. Правда, в этих опытах предполагается наличие языка у испытуемого, но участие его в этом случае существенного значения не имеет, и оно легко может быть исключено без вреда для результатов опытов. Зато мы получаем в этих экспериментах материал, на основе которого можно без колебаний решить вопрос не только о наличии установки у животного, но и сравнить ее с тем, что мы имеем у человека.

На сегодняшний день мы имеем возможность проследить вопрос об установке у птиц (в частности, у домашних кур), у белых крыс и, наконец, у обезьяны. Методика в основном во всех случаях одинакова, но так как она все же несколько меняется в зависимости от того, над кем и в каких условиях производятся опыты, нам все же придется изложить материал не только о результатах, полученных нами в каждом отдельном случае, но и о самой постановке опытов,

Опыты по методу фиксированной установки впервые были поставлены Н. Ю. Войтонисом* над низшей обезьяной.

---

* *Н. Ю. Войтонис.* Формы проявления установок у животных и особенно у обезьян // Психология. 1944. Т III.

Они дали положительный результат. Однако на них здесь мы не задерживаемся, поскольку они были проведены не в нашей лаборатории и результаты их использованы автором в рамках более широкой постановки вопроса.

Мы остановимся здесь более подробно на работах, которые были проведены непосредственно в нашем институте и под нашим наблюдением и руководством.

2. Опыты с курами*. Раньше всех был поставлен вопрос о домашней курице: можно ли говорить об установке у кур, и если да, то фиксируется ли она и как протекает?

Для того чтобы ответить на эти вопросы, курице давали корм — пшеничные зерна, рассыпанные на поверхности доски, разделенной на две половины — более темную и более светлую. При этом зерна на светлой половине прочно были приклеены к поверхности и их нельзя было клевать; с более темной же половины, наоборот, ничто не мешало ей клевать. Курице предлагали доску, с тем чтобы она успела клюнуть два-три раза, а затем доску удаляли так, чтобы корм стал ей невидим. Это повторялось несколько раз (установочные опыты). После этого переходили к критическому опыту: курица получала ту же доску, но на этот раз обе ее половины были одинаковы по тону и корм был разбросан свободно по поверхности. В зависимости от установки, фиксированной в установочных опытах, курица клевала либо с правой, либо с левой половины.

3. Установка у кур. Результаты опытов показывают, что факт установки у курицы не подлежит никакому сомнению и что в результате повторных установочных опытов установка эта фиксируется в большей или меньшей степени. Нужно, однако, отметить, что в этом случае мы имеем дело с некоторыми особенностями фиксации установки, характерными для условий наших опытов. А именно: из опытов с людьми мы знаем, что фиксация установки у этих последних не представляет никаких затруднений; двух-трех экспозиций, как правило, бывает достаточно, чтобы переступить нижний порог фиксации. В случаях же с курами минимальное число

---

* *В. Н. Чрелашвили.* Иллюзии установки у кур // Психология. 1947. Т. IV.

установочных экспозиций значительно выше — оно доходит чуть ли не до 20.

Само собой разумеется, в данном случае мы имеем дело с определенно своеобразным явлением. Мы думаем, что трудность фиксации установки здесь в значительной степени зависит прежде всего от затрудненности ее дифференциации. Курица, получая установочные экспозиции, должна дифференцировать возникшую у нее установку, чтобы в конце концов быть в состоянии фиксировать ее. Это дает нам возможность заключить, что факт фиксации установки у кур не подлежит сомнению, но эта фиксация здесь запаздывает в значительной степени. Нужно полагать, что причиной этого является то, что установка у кур малодифференцированна и поэтому необходимо более или менее значительное число экспозиций, чтобы дифференциация ее стала окончательно совершившимся фактом.

Дальнейший обзор этих опытов вскрывает нам еще одну особенность установки. Мы знаем, что в количественных опытах с людьми число контрастных иллюзий преобладает сильно, а ассимилятивная выступает сравнительно редко. В опытах же с курами этого как будто не бывает. Здесь часто число ассимилятивных иллюзий значительно высоко и условия их возникновения видны яснее, чем в опытах с людьми. Так, у курицы I число этих иллюзий доходит до 85 % всех случаев — цифра значительно высокая для таких же опытов с людьми. Но здесь — у людей — мы ясно видим, что иллюзии возникают лишь в определенных случаях, а именно когда установочные объекты не сильно отличаются друг от друга или же в крайнем случае когда установка еще не успела фиксироваться в достаточной степени. Это положение, которое впервые было найдено нами в результате наблюдения активности фиксированной установки у человека, в опытах с курами выступает значительно чаще, чем в опытах с людьми.

Что касается иллюзий контраста, то они, как правило, появляются у кур тем чаще, чем прочнее фиксируется у них установка. Тем самым лишний раз подтверждается, что в этих опытах мы имеем дело именно с установкой, т. е. явлением, с которым мы впервые встретились у человека.

Таким образом, мы видим, что в наличии в соответствующих условиях установки у кур и возможности ее фиксации сомневаться не приходится. Конечно, возможность эта заметно ограничена, и она протекает значительно медленнее, чем у человека, но нужно полагать, что это обстоятельство создает здесь специфические условия для проявления ассимилятивных иллюзий, число которых в этих опытах встречается значительно чаще, чем в опытах с людьми.

Но это же обстоятельство содействует далее и более частому проявлению контрастных иллюзий. Следуя за стадией ассимиляции, они становятся постепенно прочнее, пока совершенно не оттеснят ее в сторону.

В описанных опытах резко выступает на сцену еще одна особенность процесса фиксации установки – значительно резче, чем это бывает в опытах с людьми. Я имею в виду следующее. В процессе опытов курица III начала обнаруживать одну характерную особенность: через 10 дней ежедневных опытов она резко изменила поведение — вовсе прекратила реагировать на условия опытов. Как только подавали экспериментальную доску с кормом, она отворачивалась от нее и продолжала стоять неподвижно, пока экспериментатор совершенно не отходил от нее. Курица голодала таким образом $2\frac{1}{2}$ дня; ей нарочно ничего не давали есть вне опытов. Тем не менее она продолжала держать себя так же, вовсе отворачиваясь в экспериментальных условиях от корма. На третий день, в период установочных экспозиций, она осторожно начала подходить к экспериментальной доске и клевать с положительной половины, т. е. с той, откуда можно было клевать. Но когда через 29 установочных экспозиций ей была предложена «критическая» доска, она, увидев ее, как бы окаменела сразу, подняла голову вверх и в течение ряда секунд стояла неподвижно... потом сорвалась с места и с кудахтаньем бросилась в сторону.

Мы видим, что опыты с этой курицей проходят естественно лишь в пределах ограниченного числа экспозиций. Когда же это число растет чрезмерно, то с ней происходит нечто неожиданное: она теряет способность реагировать или, скорее, вовсе отказывается реагировать, и даже трехдневный

голод не в силах вывести ее из этого бездействия. Нужно полагать, в данном случае мы имеем дело со специфическим состоянием, на базе которого развиваются факты, включающие в себя феномен типа «пресыщения», так подробно изученного К. Левином*.

Как видно из приведенного примера, существует какая-то норма, превышение которой приводит к полному «срыву» деятельности животного. Быть может, эта норма совпадает с оптимумом числа экспозиций, свойственным данному животному.

Во всяком случае, следует отметить, что вопрос об оптимуме находит здесь свое выражение в достаточно резких формах, чего на более высоких ступенях развития обычно не бывает. Однако это вовсе не означает, что мы не должны его иметь в виду и здесь.

Те же самые опыты дают нам материал для разрешения вопроса о прочности, как и о стабильности фиксированной установки у кур. Относительно прочности выясняется, что фиксированная установка курицы сохраняет силу лишь в течение двух-трех критических экспозиций. Что же касается стабильности этой установки, то оказывается, что она сохраняется в константном виде лишь в течение 24 часов. Это, однако, не значит, что она далее этого срока не может удержаться; она сохраняется около трех суток, но не в константном, а в вариабельном виде, т. е. продолжает оставаться актуальной, но формы ее проявления меняются — она становится лабильной. И этот процесс ее регрессивного развития заканчивается всего за трое суток.

Таким образом, мы находим, что факт активности установки у кур, ее дифференциации и фиксации не подлежит сомнению. Однако не менее несомненно и то, что эти процессы значительно более примитивны, чем у человека; установка у курицы, по-видимому, уже с самого начала имеет малодифференцированный характер, и для того, чтобы добиться некоторой дифференциации, а затем и фиксации ее в этом виде, требуется сравнительно большое число установочных экспо-

---

* *Е. К. Абашидзе.* Фактор пресыщения в действии фиксированной установки. 1947.

зиций. Тем не менее фиксация эта носит малоустойчивый характер, и она быстро, через два-три критических опыта, сходит на нет. Если ее не поддерживать постоянно, она может сохраниться лишь в течение суток в константном виде и двое-трое суток в вариабельном.

УСТАНОВКА У БЕЛЫХ КРЫС

1. Постановка опытов. Небольшая клетка имеет с одной стороны вход, а с другой — два выхода, которые закрываются серыми картонами: один -- более светлым, а другой — значительно более темным. Крыса впускается в клетку, и при выходе из клетки через темный выход она получает корм. Если же она проходит через светлый выход, она ничего не получает. Спустя достаточное количество опытов оба выхода завешиваются картонами одинакового тона. Мы знаем, что через определенное число установочных экспозиций картоны начинают ей казаться неодинаковыми: один ей кажется светлее, а другой — темнее. Если допустить, что у крысы выработалась установка проходить через темный выход, то она в критическом опыте попытается пройти через один определенный выход — тот, который ей будет казаться более темным.

В другой серии опытов картоны серого цвета заменяются картонами с начерченными на них кругами с неодинаковой, значительно отличающейся друг от друга площадью. В ряде установочных опытов первой серии крыса приучается проходить именно через выход с большим кругом; как только она впускается в клетку, она бежит через этот выход из клетки и там получает приманку (корм).

В критических же опытах крыса получает возможность выйти из клетки из обоих выходов, как с большим, так и с меньшим кругом.

2. Результаты опытов. Коснемся здесь некоторых из результатов этих опытов. Прежде всего нас интересует вопрос об установке у белой крысы: есть ли и фиксируется ли она у нее? В опытах нашей сотрудницы Н. Чрелашвили, которая впервые и занялась этим вопросом, получились довольно интересные данные.

Таблица 13

Установочные опыты	Число критических опытов	Контрастная иллюзия		Ассимилятивная иллюзия	
		абсол. число	%	абсол. число	%
1–137	39	6	15	25	64
137–190	38	34	89	4	10

Прежде всего выяснилось, что и здесь, как и в опытах с курами, установка фиксируется сравнительно поздно, только после 30, 50 и 65-й экспозиций начинают появляться единичные случаи иллюзий.

Затем, как это видно из табл. 13, в пределах до 137 установочных опытов преобладают ассимилятивные иллюзии. Это значит, что ассимиляция выступает здесь по преимуществу в начальный период опытов, когда установка еще не успела зафиксироваться решительно. Поэтому совершенно естественно, что после большого числа экспозиций установочных объектов (137–190) начинают выступать уже иллюзии по контрасту (89 %). Ассимиляции, правда, и здесь остаются в силе, но это бывает очень редко и то лишь в виде исключения (10 %).

В этих опытах обращает на себя внимание то же явление, что и в опытах с курами. А именно: когда число экспозиций заметно увеличивается, примерно через 6–9 критических экспозиций, темп работы крыс снижается, они начинают колебаться при выборе, реагируют явно медленнее и наконец вовсе теряют целенаправленность своих реакций. У кур в аналогичных условиях мы отметили случай «срыва», полного отказа от участия в опытах. Здесь этого, правда, нет; однако нельзя не заметить, что, в сущности, и в этом случае мы имеем дело с явлением той же категории, что и с курами. Что и в данном случае речь идет действительно о факте «пресыщения», доказывается результатами несколько модифицированных установочных опытов. Когда крыса получает не

неизменно одно и то же, а ряд постоянно меняющихся раздражений и соотношение установочных объектов не остается постоянным, то оказывается, что она сохраняет способность реагировать долго и устойчиво; контрастная иллюзия остается в силе на протяжении 20–25 критических экспозиций и притом она все время удерживает характер быстрых и решительных реакций.

Представляет интерес, что здесь, в опытах с постоянными и меняющимися установочными экспозициями, мы получаем не совсем одинаковые результаты. Когда крыса подвергается действию неизменно одних и тех же установочных экспозиций, то возникающая при этом установка не оказывается особенно устойчивой, она остается в силе лишь в течение 6–9 критических опытов, после чего выступают заметные признаки колебаний и понижения темпа, как и целенаправленности активности крысы.

Иную картину имеем мы в случаях применения меняющихся установочных экспозиций. Так, когда крыса получает в качестве установочных, вместо одних и тех же, ряд меняющихся в объеме объектов, оказывается, что возникающая в этих условиях иллюзия удерживается на протяжении достаточно длинного ряда экспозиций: контрастная иллюзия продолжает появляться даже на 20–25 критических экспозиций.

Нужно отметить и другую особенность установки, возникающей в условиях воздействия меняющихся установочных экспозиций; они обладают способностью транспонироваться на ряд аналогичных соотношений. Мы имеем в виду следующее: если выработать фиксированную установку на ряд соотношений степеней освещения, то установка транспонируется и на ряд соотношений, не имевших места в установочных опытах. Однако эти соотношения не должны резко отличаться от установочных, так как в случаях, в которых установочные экспозиции остаются без изменения, т. е. когда установка фиксируется путем повторного воздействия одного и того же установочного раздражителя, транспозиции почти никогда не бывает.

Не лишено интереса, что при применении рядов меняющихся установочных экспозиций обнаруживается следую-

щее: когда применяется ряд в 10 экспозиций, то в этих случаях возникает контрастная иллюзия, которая не меняется до конца (грубо-статическая установка). Когда же число экспозиций снижается до 4–5, картина получается иная, и, наряду с контрастными, активируются и ассимилятивные иллюзии, причем преобладают последние.

Что касается опытов по вопросу о стабильности установки, они дают следующие результаты: если давать крысе, у которой предварительно была выработана соответствующая фиксированная установка, ряд критических объектов на следующий день после проведения с ней установочных опытов, то оказывается, что фиксированная установка продолжает сохранять свою актуальность, и это повторяется, как правило, в течение еще 1–2 дней. Следовательно, стабильность фиксированной установки у белой крысы измеряется продолжительностью времени в 2–3 суток.

УСТАНОВКА У ОБЕЗЬЯН

1. Постановка опытов. В зоологическом саду в Тбилиси в настоящее время антропоидов не имеется. Поэтому пришлось ограничиться для опытов по установке лишь низшими обезьянами. Наша сотрудница Н. Г. Адамашвили провела эти опыты над двумя экземплярами капуцинов (над Вовой — 8 л. и Виви — 2,5 г.). Методика в принципе была та же, что и в наших обычных опытах по фиксированной установке. Она заключалась в следующем: в одной серии опытов, которая проводилась только с Вовой, обезьяна получала повторно в качестве установочных по паре экспозиций — одна с меньшим, другая с большим по размерам кормом. После ряда этих экспозиций обезьяна получала в критических опытах два одинаковых по размерам корма.

Кроме этого, была поставлена и вторая серия опытов — сначала с этой же обезьяной, а потом особенно с Виви, которая в опытах первой серии не принимала участия.

Сначала в течение полутора месяцев обезьяна проходила тренировочные опыты, которые были направлены на то, чтобы она привыкла реагировать различно на одинаковые и неодинаковые по размерам приманки; когда она получала

неодинаковые по размерам приманки, она брала большую из них, а меньшая сейчас же удалялась от нее, в то время как одинаковые приманки она подбирала себе одну за другой. В результате этих тренировочных опытов из двух неодинаковых приманок обезьяна выбирала себе только большую, а меньшую не трогала. В случае же равных приманок она быстро, одним импульсом, отбирала их себе и пожирала одну за другой.

После этого начинались установочные опыты. Экспозиции продолжались достаточно времени для того, чтобы обезьяне можно было успеть подобрать обе приманки, если бы они показались ей равными по размерам.

2. К вопросу о наличии фиксированной установки у обезьяны. Несмотря на то что из предшествующих опытов ясно видно, что установка представляет собой бесспорный факт, который в принципе у животного так же доступен экспериментальному исследованию, как и у человека, все же прежде всего нужно поставить вопрос, имеем ли мы дело в результате опытов с обезьяной действительно с фактом установки или, быть может, речь идет здесь о явлениях, ничего общего с установкой не имеющих.

Прежде всего посмотрим, что мы имеем в этих опытах. Факты таковы: когда обезьяна получает два поля с кормом (в наших установочных опытах), она приучается подбирать больший по объему корм. В критических опытах, в которых ей предлагается на обоих полях корм одинакового объема, обезьяна в большинстве случаев подбирает корм с той стороны, на какой в установочных опытах помещался корм меньшего объема. По всем признакам мы имеем здесь дело с иллюзией объема, которая, по-видимому, и определяет поведение обезьяны. Мы знаем, что в основе этой иллюзии лежит фиксированная в предшествующих опытах установка. Следовательно, можно думать, что в этом случае мы имеем дело с нашей обычной иллюзией фиксированной установки.

В правильности этого положения можно не сомневаться, если иметь в виду, что аналогичные явления, как правило, имеют место и в опытах с людьми при исследовании их фик-

сированных установок. Еще менее можно в этом сомневаться, если вспомнить, что то же явление имеет место и у ряда животных — у кур и у крыс. Несмотря на это, все же было бы нелишне проследить все наиболее вероятные возможности иного разрешения задачи, стоящей здесь перед обезьяной.

Прежде всего нужно спросить себя, не представляют ли реакции животного в критических опытах результатов укрепления, фиксирования и механизации актов поведения, осуществляемых им в течение установочных опытов. Это предположение, естественно, может касаться лишь ассимилятивных иллюзий, возникающих у обезьян в этих условиях опытов. Что же касается иллюзий контраста, то, поскольку они имеют направление, противоположное установочным реакциям животного, это предположение, конечно, не может их касаться: здесь ведь возникают иллюзии, как раз противоположные тем, которые укреплялись, фиксировались и механизировались.

Но если этого не может быть по отношению к контрастным иллюзиям, то, нет сомнения, нельзя допустить эту возможность и в отношении ассимилятивных иллюзий: мы ведь знаем, что обе эти иллюзии представляют собой по существу явления одной и той же категории. Тем не менее попытаемся допустить, что ассимилятивные иллюзии представляют собой все же самостоятельное явление, ничего общего в этом случае не имеющее с иллюзиями контраста. Нельзя ли подумать, что они здесь должны быть понимаемы как результат фиксирования и механизации установочных экспозиций? Такое понимание этих реакций, быть может, было бы совершенно естественно и оно оправдывалось бы целиком, если бы в случае ассимилятивных иллюзий мы имели дело действительно с бесспорным, не вызывающим возражений повторением точно тех же реакций, что мы имели в установочных опытах.

Но так ли это? Анализ ассимилятивных реакций, возникающих в этих случаях, показывает, что речь идет здесь о реакциях троякого рода. Во-первых, мы имеем в данном случае дело с ассимилятивными реакциями, возникающими без вся-

кого колебания, непосредственно за критическими экспозициями. Относительно их мы не имеем прямых оснований утверждать, что они являются результатом именно установочных экспозиций, а не простого фиксирования и механизации этих реакций. Поэтому все эти случаи мы можем оставить без внимания. Зато у нас есть два других случая, в которых не может быть сомнения, что мы имеем дело действительно с новой, адекватной, но не механизированной реакцией, повторяющейся лишь в силу ее фиксированности. Реакция характеризуется тем, что в одном случае ей предшествует совершенно явный период колебания, а в другом — такой же период колебания обнаруживается непосредственно за совершением акта реакции. Достаточно бросить взгляд на структуру этих реакций, чтобы убедиться, что они не имеют случайного характера, что, наоборот, в обоих этих случаях мы имеем дело определенно с реакциями выбора. Объяснить иначе факт наличия колебаний перед и после реакций было бы совершенно невозможно.

Итак, мы видим, что предположение о возможности объяснения реакций животного фактами фиксации механизированных актов поведения не находит достаточного основания.

Другое объяснение может быть таковым: поведение обезьяны определяется тем, что она в установочных опытах привыкает реагировать на раздражение «слева». Ее реакции представляют собой поэтому просто реакции привычки на определенную ориентацию в пространстве. Но нам достаточно вспомнить тот же факт своеобразной структуры реакций животного, чтобы убедиться, что это предположение не имеет достаточно оснований. Я имею в виду наблюдения, в которых реакции животного сопровождаются, как мы видели выше, явными фактами колебаний. Если бы реакции эти представляли собой простую последовательность привычных движений, то факты колебаний, конечно, не имели бы в них места. Это положение следует считать совершенно бесспорным, если вспомнить, что в этих опытах мы имеем дело не только с ассимилятивными, но еще чаще с контрастными иллюзиями, которые имеют локализацию, конечно, всегда в противоположном привычному направлении.

Можно было бы подумать, что направление действий обезьяны определяется всегда конечностью, которая приводится в активность в каждый данный момент: если это правая конечность, то она будет направлена на корм вправо, если же левая, то обезьяна будет стараться схватить корм с левой стороны. Это предположение находит оправдание в ряде случаев, можно сказать, почти во всех начальных стадиях опытов. Но стоит пройти некоторому времени и фиксироваться установке в достаточной степени, чтобы от этого не осталось и следа: обезьяна в этих случаях дает, как правило, реакции, вполне соответствующие смыслу фиксированной установки.

Наконец, как указывает наш автор, известны случаи, в которых у животного вырабатывается под влиянием упражнения какой-нибудь определенный ритм поведения, и оно следует этому ритму. Можно было бы подумать, что, быть может, именно с этого рода ритмом мы имеем дело и в наших опытах. Однако достаточно поставить этот вопрос, чтобы решить его определенно отрицательно. Ведь бесспорно, что в наших опытах не имеется никаких условий для выработки какого-нибудь определенного ритма действий со стороны обезьяны; наши критические опыты не имеют ничего, что дало бы нам повод говорить об их ритмической последовательности.

Одним словом, у нас нет никаких оснований полагать, что реакции животного — контрастные или ассимилятивные — представляют собой акты случайного характера, не имеющие отношения к предшествующим им экспозициям как экспозициям установочным. Мы должны сказать, что в рассмотренных актах обезьяны мы имели дело с обычными нашими установочными иллюзиями, возникающими здесь так же, как и у других нами обследованных животных. Словом, мы можем и в этом случае говорить об иллюзиях установки.

Когда обезьяна получает в ряде установочных опытов корм, скажем, с правой стороны, и в критических опытах, в которых ей предлагается два одинаковых поля, она набрасывается на приманку с левой стороны, то это значит, что корм слева ей кажется большим по размеру, чем корм справа (кон-

трастная иллюзия), и потому она спешит завладеть им. В других опытах, в определенных условиях, ей может показаться более привлекательным (большим по размерам) корм с левой стороны, и это может лечь в основу противоположной — ассимилятивной иллюзии.

Это наблюдение не оставляет сомнения, что в определенных условиях у обезьяны возникают те же иллюзии установки, что и у других нами обследованных животных, а также у человека.

3. Фиксированная установка у обезьяны. Сейчас перед нами возникает задача ближе познакомиться с этими реакциями обезьяны.

Прежде всего необходимо подчеркнуть, что, так же как и в других случаях (у человека или у животного), мы встречаемся у обезьяны с обоими видами установочных реакций, как с ассимилятивными, так и с контрастными. Причем оказывается, что закономерность выступления этих иллюзий и здесь такая же, как и в других случаях, а именно: ассимилятивные иллюзии выступают чаще в случаях незначительной разницы между установочными возбудителями, как и незначительного числа установочных опытов.

Эта закономерность, известная нам из опытов с людьми, находит свое подтверждение в достаточной степени и на животных, в частности особенно явно на обезьянах.

Так, мы видим (табл. 14), что при различии приманок в количественном отношении в размере от 0,5 мм до 1 мм у обезьяны появляется почти исключительно ассимилятивная ил-

Таблица 14

Разница в размере, мм	Ассимилятивная иллюзия, %	Контрастная иллюзия, %	Равенство, %
0,5	75,0	8,3	16,6
1,0	90,3	6,5	3,2
1,5	61,7	28,5	9,4
3,0–6,0	47,0	45,0	8,0

люзия (от 75 до 90,3%). Но при увеличении разницы дело меняется — начинает расти число случаев иллюзий контраста, и при различии установочных возбудителей в 3–6 мм число контрастных иллюзий уравнивается с числом ассимилятивных. Затем, как это известно и из других данных, оно начинает решительно превалировать над числом ассимилятивных иллюзий и наконец вовсе исключает возможность проявления этих последних.

Та же картина развертывается перед нами и при вариации числа установочных экспозиций. Здесь мы находим (табл. 15), что максимальное число ассимилятивных иллюзий падает на 1–3 установочные экспозиции, тогда как при увеличении этого числа в общем значительно растет и число контрастных иллюзий, в то время как ассимиляции становятся реже.

Таблица 15

Число установ. экспозиций	Ассимилятивная иллюзия, %	Контрастная иллюзия, %	Равенство, %
1	9,4	6.2	84,4
2,3	16,1	25,9	58,1
5	10.0	40,0	50,0
10,15	15,0	45,0	40,0

Таким образом, мы находим, что закономерность выступления ассимилятивных и контрастных иллюзий, в основном у обезьяны, остается такой же, что и у людей: мы находим, что при незначительном числе установочных экспозиций (оптимальным следует, по-видимому, считать две), как и при незначительной разнице этих последних, у обезьяны появляется ассимилятивная иллюзия, в то время как при увеличении числа установочных экспозиций, как и количественной разницы между ними, начинают выступать иллюзии контраста, которые чем дальше, тем чаще перекрывают случаи ассимиляции.

Если мы обратимся к другим сторонам фиксированной установки обезьяны, нам придется прежде всего остановиться на вопросе о степени ее *возбудимости*. Из ряда опытов с двумя обезьянами получены результаты, которые не дают возможности окончательно судить о возбудимости их фиксированной установки. Как видно из полученных данных, есть случаи, когда у обезьяны после ряда экспозиций установка фиксируется, но есть и такие случаи, в которых, несмотря на то что число установочных экспозиций то же или даже выше, чем раньше, установка не фиксируется вовсе. Эта странная неустойчивость возбудимости установки у обезьяны находит свое выражение дополнительно и в том, что иногда установка не дает признаков фиксации даже при том числе установочных экспозиций, при котором она только что фиксировалась.

Такая вариабельность возбудимости фиксированной установки является очень характерной особенностью обследованных нами обезьян, и возможно, особенностью не только их одних. Но там, где возбудимость является явным фактом, у нее оказывается показатель высокой чувствительности. В опытах с обезьянами мы находим, что часто достаточно 1–2 экспозиций, чтобы установка зафиксировалась в высокой степени.

Таким образом, мы могли бы сказать, что действительно коэффициент возбудимости установки у обезьяны может быть очень невысоким (1–2 экспозиции), но в общем он оказывается сильно вариабельной величиной, колеблющейся от случая к случаю в значительно широких пределах — от нуля и выше.

Это обстоятельство возбуждает у нас сомнение в возможности наличия высокой степени *устойчивости* фиксированной установки у наших обезьян. Как мы знаем, эта особенность измеряется данными ряда без перерыва следующих друг за другом контрастных иллюзий. У обезьяны Вовы в двух случаях проявляется ряд в 6 и в двух случаях — ряд в 9 контрастных иллюзий, в то время как в четырех остальных случаях мы являемся свидетелями выступления лишь единичных фактов иллюзий. Приблизительно то же самое нахо-

дим мы у другой обезьяны (Виви). Это говорит о том, что мы лишены вообще возможности говорить о прочно фиксированной мере устойчивости установки у наших обезьян. Она, так же как и возбудимость, не представляет у обезьяны постоянной величины, а меняется от случая к случаю, и нет сомнения, что настоящая основа этих изменений достаточно важна для того, чтобы сделаться предметом специального исследования.

Сейчас нам необходимо выяснить, как протекает процесс замирания фиксированной установки у обезьяны. Здесь мы прибегаем к обычному приему повторного воздействия критических раздражителей до тех пор, пока фиксированная установка, ликвидировавшись, не уступит места адекватной для условий этих опытов установке.

Что же получаем мы в итоге этих экспериментов?

Не вдаваясь в подробности полученных результатов, мы бы хотели указать, что обезьяны в условиях наших опытов очень редко достигают полной ликвидации фиксированной у них установки. И видно по всему, что признак вариабельности, который констатируется у них и в других случаях, например при исследовании возбудимости, является наиболее характерной их особенностью. Из полученных данных становится очевидным, что если в какой-нибудь данный момент двух-трех критических экспозиций оказывается достаточно для того, чтобы соответствующая фиксированная установка ликвидировалась, то в другой момент для этой же цели не оказывается достаточным и гораздо большего числа экспозиций или же обнаруживается, что на этот раз та же фиксированная установка вообще не поддается ликвидации.

Таким образом, мы должны сказать, что у наших обезьян и признак динамичности фиксированной установки отличается высокой степенью вариабельности.

Что касается вопроса о *пластичности* установки обезьяны, то он представляется в высокой степени проблематичным. Дело в том, что у одной из наших обезьян мы вовсе не встречаемся со случаями замирания фиксированной установки: она ни разу не дает реакции одинаковости критических раздражителей. Если бы мы сумели гарантировать

соответствующие условия и обезьяна перешла бы к этой последней фазе опытов, мы получили бы приблизительно одинаковую картину у обеих обезьян и могли бы сказать, что фиксированная установка их не в такой степени лишена пластичности, как это могло бы показаться с первого взгляда. Тем не менее и в этих условиях нельзя сказать, что мы здесь имеем дело действительно с пластичной фиксированной установкой, потому что в последнем случае мы имели бы дело с последовательным прохождением всех ступеней, или фаз процесса затухания, фиксированной установки.

Словом, мы находим, что фиксированная установка обезьян отличается малой пластичностью, вариабельностью и динамичностью.

Наконец, специальные опыты по вопросу о *стабильности* фиксированной установки у обезьяны показали следующее. Если фиксировать установку у обезьян, то она сохраняет свою активность в течение достаточно продолжительного времени; есть случаи, когда она оказывается вполне актуальной и спустя неделю после первого дня своей фиксации. Однако оказывается, что признак вариабельности, свойственный установке обезьян в других случаях, и здесь продолжает характеризовать ее; нередки случаи, когда обезьяна теряет способность действовать в направлении, по-видимому, прочно фиксированной установки, в то время как в другой раз, наоборот, она поражает нас живучестью этой же своей способности.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНОВКИ У ЖИВОТНЫХ

Если пересмотреть в общем полученные нами результаты об установке животных, то мы должны обратить внимание особенно на следующее.

1. Не подлежит никакому сомнению, что установка не представляет собой специфически человеческой особенности. Опыты показывают, что, наоборот, она оказывается свойством, характерным для всех нами обследованных представителей животного мира. Более того, мы могли бы сказать, что способность реагировать на окружающее в форме той

или иной установки представляет собой наиболее характерную особенность всякого живого организма, на какой бы ступени развития он ни стоял. Она представляет собой самую примитивную, но и самую существенную форму реакции живого организма на воздействие окружающей среды.

2. Анализ установки обследованных нами животных показывает с достаточной ясностью, что установка ранних ступеней развития носит более или менее диффузный характер и, прежде чем фиксироваться, она должна пройти ряд фаз своей дифференциации. В частности, у обследованных нами животных — у кур и крыс, так же как и у обезьян, — она выступает в этой малодифференцированной форме чаще, чем у человека.

3. Эта сравнительно малая дифференцированность установки находит свое отражение и в том, что установка обследованных нами животных малопостоянна, малоконстантна в формах своего проявления; если, например, в какой-нибудь данный момент она представляет вполне определенную форму активности, то в другой момент она может предстать перед нами в совершенно ином виде — вовсе замереть либо, наоборот, обнаружить резко выраженную активность.

III. УСТАНОВКА У ЧЕЛОВЕКА

ПРОБЛЕМА ОБЪЕКТИВАЦИИ

1. Две сферы воздействия на человека. Если спросить, что же является специфически характерной особенностью человека по сравнению с другими живыми существами, то в первую очередь в голову приходит, конечно, мысль о языке, и мы говорим, что человек одарен способностью речи, в то время как другие живые существа абсолютно лишены ее. Другой вопрос, является ли эта способность вторичным, производным феноменом, в основе которого лежит какое-нибудь другое явление, имеющее более основное значение, чем она. Не касаясь подробно этого вопроса, мы можем утверждать, что, несомненно, не существует ничего другого, за исключением окружающей нас действительности, что в такой же



степени могло бы влиять и определять наше поведение, как это делает речь.

Мы могли бы и иначе выразить ту же мысль, утверждая, что нет ничего характернее для человека, чем тот факт, что окружающая его действительность влияет на него двояко — либо прямо, посылая ему ряд раздражений, непосредственно действующих на него, либо косвенно, через словесные символы, которые, сами не обладая собственным независимым содержанием, лишь презентируют нам то или иное раздражение. Человек воспринимает либо прямое воздействие со стороны процессов самой действительности, либо воздействие словесных символов, представляющих эти процессы в специфической форме. Если поведение животного определяется лишь воздействием актуальной действительности, то человек не всегда подчиняется непосредственно этой действительности; большей частью он реагирует на ее явления лишь после того, как он преломил их в своем сознании, лишь после того, как он осмыслил их. Само собой разумеется, это очень существенная особенность человека, на которой, быть может, базируется все его преимущество перед другими живыми существами.

Но возникает вопрос, в чем заключается эта его способность, на чем по существу основывается она.

Согласно всему тому, что мы уже знаем относительно человека, естественно приходит в голову мысль о той роли, которую может играть в этом случае его установка. Перед нами стоит задача выяснить роль и место этого понятия в жизни человека.

Если верно, что в основе нашего поведения, развивающегося в условиях непосредственного воздействия окружающей нас среды, лежит установка, то может возникнуть вопрос, что же происходит с ней в другом плане — плане вербальной, репрезентированной в словах действительности? Играет ли и здесь какую-либо роль наша установка или эта сфера нашей деятельности построена на совершенно иных основаниях?

2. Проблема внимания. Для того чтобы получить возможность разрешить этот вопрос, необходимо в качестве исход-

ного пункта использовать проблему *внимания*, точнее, проблему возможности акта внимания, более того — проблему осмыслимости этого акта. Дело в том, что обычно принято считать, что внимание, по существу, имеет избирательный характер, что оно дает нам возможность из ряда действующих на нас впечатлений выбрать какое-нибудь из них и сосредоточиться на нем, с тем чтобы представить его с максимальной ясностью и отчетливостью.

Но достаточно хоть несколько приглядеться к этому определению, чтобы тотчас же увидеть, что в сущности оно совершенно лишено должной ясности. Больше того, оно само возбуждает ряд вопросов, без предварительного разрешения которых нельзя остановиться на каком-нибудь из возможных определений внимания.

В самом деле! Как возможно, чтобы мы обратили внимание на что-нибудь, прежде чем оно стало предметом нашего сознания? Ведь для того, чтобы остановиться на чем-нибудь, чтобы обратить на него внимание, совершенно необходимо, чтобы оно уже было нам дано в какой-то степени. Но чтобы это было возможно, т. е. для того, чтобы что-нибудь было нам дано, необходимо, чтобы мы уже обратили на него свое внимание. Принципиально, конечно, не имеет никакого значения вопрос о степени сосредоточения внимания; наша проблема касается вопроса о возможности первичного сосредоточения внимания независимо от степени, в какой оно происходит.

Таким образом становится очевидным, что обычное определение внимания, по существу, не дает ясного представления о нем; оно нисколько не помогает нам понять, что же такое, собственно, то, что называют вниманием.

Конечно, все это касается, как мне кажется, наиболее широко распространенного определения интересующего здесь нас понятия. Но ведь существуют же и другие определения! Можно ли и относительно них утверждать то же самое?

Я считаю, что основная мысль, которая здесь нас интересует, является общей для всех более или менее известных попыток определения внимания. Везде, во всех определениях, основной функцией внимания считается одно и то же,

а именно *повышение степени ясности и отчетливости* возникающего представления, и если эти определения отличаются в чем-нибудь друг от друга, то, во всяком случае, не в этом. Поэтому, поскольку речь касается основной мысли существующих определений нашего понятия, мы считаем достаточным ограничиться сказанным.

Если приглядеться к этому определению, возникает мысль, что оно касается не какого-нибудь единичного процесса. Скорее всего, можно подумать, что речь идет здесь о двоякой данности одного и того же явления; действующие на нас впечатления как будто переживаются нами двояко: с одной стороны, как явления, не сопровождаемые актами нашего внимания, с другой — как те же явления, но на этот раз опосредствованные как раз этими актами. Следовательно, считается, что мы можем переживать ряд явлений, но без всякой ясности и отчетливости их представления; в случае же активности внимания мы переживаем их ясно и отчетливо. Это, конечно, не означает, что в первом случае мы имеем дело со слабой степенью, а во втором — с сильной степенью деятельности внимания. Скорее всего, в первом случае вовсе отрицается наличие внимания.

Следовательно, считается, что есть случаи, в которых наша мысль работает, в частности воспринимает ряд явлений, без всякого участия нашего внимания, т. е. воспринимает явления, которые на этот раз лишены ясности и отчетливости. Конечно, в обычном определении внимания предполагается, что это возможно, что в сознании могут иметь место и такие явления, которые вовсе лишены предиката ясности и отчетливости. Но вряд ли имеет смысл допустить наличие у нас таких содержаний, которые ничего не получают от того, что они становятся именно психическими содержаниями, что они остаются для субъекта тем же, чем они были до того, т. е. чуждым, «неизвестным», не существующим для него содержанием.

По-видимому, мы должны допустить, что если существуют какие-нибудь психические содержания, то они всегда сопровождаются той или иной степенью «сознания», независимо от того, можем мы в этих случаях говорить об участии

внимания или нет. В противном случае не было бы никакого основания считать, что мы имеем дело действительно с психическими содержаниями.

Можно предположить, что, быть может, в основе традиционного понимания внимания лежала неосознанная мысль, что работу человеческой психики, собственно, следует полагать в двух различных планах, из которых в одном она протекает без участия внимания, а в другом — с его прямым участием. Причем наличие ясности и отчетливости можно бы было в обоих случаях считать бесспорным. Наша задача заключается сейчас в том, чтобы показать, что эти планы работы сознания действительно имеют место и что для понимания психической жизни на различных ступенях ее развития необходимо учитывать это обстоятельство.

3. Два плана работы нашей психики. О каких же планах работы нашей психики идет здесь речь?

Правда, в нашей науке до настоящего времени не усматривалась с достаточной ясностью необходимость применения этих двух планов работы нашей психики. Однако при научном осознании ряда явлений психической жизни приходилось принимать положения, которые, не будучи правильными по существу, все же скрывали в себе указания на ряд моментов, изучение которых в дальнейшем могло бы вскрыть истинную природу этих явлений.

Для того чтобы составить себе ясное представление, о каких планах работы сознания идет здесь речь, мы попытаемся проанализировать какой-нибудь из самых обыкновенных случаев нашего поведения. Допустим, человек пробуждается и обращается к обычному в этом случае акту поведения: он начинает одеваться, берет обувь и начинает ее натягивать, и вдруг оказывается, что дело не подвигается вперед, что что-то мешает этому. В этом случае мыслимо двоякое отношение к данному явлению: или субъект не обращает внимания на это сравнительно незначительное явление и все-таки продолжает обуваться, или же он сейчас же прекращает акт обувания, задерживается на некоторое время и начинает фиксировать свою обувь, с тем чтобы уяснить себе причину неожиданно возникшего неудобства. Это он должен сделать для

того, чтобы устранить эту причину и совершить необходимый для него акт поведения.

Этот элементарный пример является самым обычным случаем, который можно констатировать на каждом шагу нашей жизни; можно сказать, что вся человеческая жизнь в значительной степени построена на серии процессов этого рода. Необходимо поближе приглядеться к ним, чтобы увидеть, что в данном случае мы имеем дело с бесспорно существенным явлением, бросающим свет на истинную природу психической жизни человека.

Дело в том, что в этом сравнительно элементарном, обычном акте нашего поведения мы можем вскрыть наличие двух отдельных, существенно различных планов деятельности нашей психики — плана «импульсивной» и плана «опосредствованной» деятельности. Мы должны остановиться на анализе обоих этих планов, чтобы составить себе ясное представление об интересующем нас здесь вопросе.

1. *План импульсивного поведения.* Если обратиться к первому из них, т. е. к плану «импульсивного» поведения, то мы найдем, что спецификой его психологически являются в первую очередь непосредственность, включенность субъекта, как и его актов, в процесс поведения, безостановочная абсорбированность и того и другого им. Для того чтобы яснее представить себе эту специфику импульсивного поведения, нужно вспомнить о так называемой инстинктивной деятельности животного или же о привычной, механизированной активности человека.

Нет сомнения, что в этих случаях акт отражения соответствующих отрезков действительности имеется налицо и субъект отражает эту последнюю не во всей ее целостной совокупности, не во всех деталях, а лишь в определенной части ее агентов, имеющих непосредственное отношение к целям поведения. Кроме того, он отражает их достаточно ясно для того чтобы они могли сделаться действительными факторами в процессе его поведения. Курица, например, должна заметить наличие зерен, чтобы начать клевать. Конечно, для того, чтобы стимулировать этот акт поведения, нет никакой необходимости детально обследовать эти зерна, достаточно

заметить их. И этого бывает ей совершенно достаточно, чтобы сохранить себе жизнь.

Или же, если вернуться к нашему примеру: вставая утром с постели, человек должен выделить платье или обувь из числа окружающих его вещей, должен достаточно ясно воспринять их, чтобы одеться и обуться. Это совершенно необходимо для него, но и вполне достаточно в определенных, обычно протекающих условиях его жизни. Ибо бесспорно, что всякая целесообразная деятельность предполагает факт отбора действующих на субъекта агентов, концентрацию соответствующей психической энергии на них и достаточно ясного отражения их в психике. Иначе всякая деятельность в этих условиях ее возникновения представляла бы собой один лишь хаос отдельных актов, не имеющих никакого отношения ни к целям субъекта, ни к особенностям внешней ситуации, в условиях которой она протекает.

Несмотря на то что здесь мы имеем дело и с фактами отбора агентов, действующих на субъект, и с концентрацией психической энергии на них, как и с фактом ясного отражения их в психике, говорить об участии внимания в этих актах у нас все-таки нет настоящего основания. Дело в том, что и содержание сознания, вроде образов восприятия, и отдельные акты деятельности, включенные в процесс импульсивного поведения, характеризуются особенностью, исключающей всякую мысль об обусловленности их актами внимания: они возникают и действуют лишь для того, чтобы немедленно, без всякой задержки уступить место стимулированным ими последующим актам, которые, в свою очередь, также безостановочно делают то же самое. Они играют роль отдельных звеньев в цельной цепи поведения — роль сигналов, стимулирующих дальнейшие шаги в процессе поведения. Они не имеют своей независимой ценности, не существуют самостоятельно и отдельно от процесса поведения, в который они безостановочно включены. Импульсивное поведение протекает под знаком полной зависимости от импульсов, вытекающих из сочетания условий внутренней и внешней среды, — под знаком непосредственной и безусловной зависимости от актуальной ситуации, которая окружает субъекта в каждый

данный момент. Словом, в актах импульсивного поведения субъект остается рабом условий воздействующей на него актуальной среды.

Возникает вопрос: чем же в таком случае, если не той специфической способностью, которую принято называть вниманием, определяются эти процессы — процессы избирательного выделения из массы действующих на нас агентов именно тех, которые имеют отношение к задачам нашего поведения, концентрации «психической энергии» на них и, в результате всего этого, достаточно заметной степени ясности их сознавания?

Этот вопрос оказывается совершенно неразрешимым для обычной психологии, огульно игнорирующей наличие в нас процессов, все еще не известных старой, традиционной науке. В свете нашей теории установки вопрос этот разрешается без особенных затруднений. Мы знаем, что, согласно этой теории, когда возникает какая-нибудь определенная потребность, то живой организм, или, правильнее, субъект, силится установить определенное отношение к окружающей действительности — к ситуации удовлетворения этой потребности — для того, чтобы на самом деле удовлетворить возникшую потребность. Действительность, со своей стороны, как ситуация удовлетворения наличной потребности воздействует непосредственно не на отдельные процессы, психические или физиологические, имеющие место в организме — носителе этой потребности, а на живой организм в целом, на субъекта деятельности, порождая в нем соответствующий целостный эффект. Эффект этот может представлять собой лишь некоторое целостное, субъектное (не субъективное) отражение действительности, как ситуация удовлетворения данной потребности, — отражение, которое должно быть трактуемо как предпосылка и руководство ко всей развертывающейся в дальнейшем деятельности субъекта, как установка, направляющая данное поведение в русло отражения окружающей действительности.

Если принять как основу это положение, то станет понятным, что все поведение, как бы и где бы оно ни возникало, определяется воздействием окружающей действительности

не непосредственно, а прежде всего опосредованно — через целостное отражение этой последней в субъекте деятельности, т. е. через его установку. Отдельные акты поведения, в частности вся психическая деятельность, представляют собой явления вторичного происхождения.

Следовательно, в каждый данный момент в психику действующего в определенных условиях субъекта проникает из окружающей среды и переживается им с достаточной ясностью лишь то, что имеет место в русле его актуальной установки. Это значит, что то, чего не может сделать внимание, мыслимое как формальная сила, становится функцией установки, являющейся, таким образом, не только формальным, но и чисто содержательным понятием.

Таким образом, становится понятным, что в условиях импульсивного поведения у действующего субъекта могут возникать достаточно ясные психические содержания, несмотря на то что о наличии у него внимания в данном случае говорить не приходится. Мы видим, что это может происходить на основе установки, определяющей деятельность субъекта вообще и в частности работу его психики. На основе актуальной в каждом данном случае установки в сознании субъекта вырастает ряд психических содержаний, переживаемых им с достаточной степенью ясности и отчетливости для того, чтобы ему — субъекту — быть в состоянии ориентироваться в условиях ситуации его поведения. Правда, ясно и отчетливо переживаемыми становятся в этих условиях лишь те стороны или моменты, которые имеют непосредственное отношение к ситуации данного поведения. Поэтому луч ясности и отчетливости направляется в ту или иную сторону, на тот или иной момент ситуации, не по произволу субъекта. Он находится в зависимости от условий, в которых рождается и, быть может, фиксируется действующая в данный момент установка. Само собой понятно, что в этом случае речь может идти лишь о сравнительно простых ситуациях, на базе которых рождается и с успехом развивается соответствующая этим условиям установка.

2. *План объективации.* Другое дело в случае усложнения ситуации, необходимой для разрешения задачи, поставленной

перед субъектом, — в случаях возникновения какого-нибудь препятствия на пути. Поведение здесь уже не может протекать так же гладко и беспрепятственно, как это бывает при импульсивной деятельности. При появлении препятствия наличный, очередной акт поведения, наличное отдельное звено в цепи его актов уже не может у человека, как обычно, возникнув, немедленно уступить место следующему за ним и стимулированному им акту поведения, так как препятствие касается как раз процесса этой стимуляции. В результате этого поведение задерживается и звено, так сказать, вырывается из цепи актов поведения. Не вызывая более последующих актов, оно перестает быть на некоторое время одним из звеньев цепи и становится психологически предметом, объектом, имеющим свое самостоятельное, не зависимое от условий актуально протекающего поведения существование и свои особенности, которые предварительно нужно осознать для того, чтобы снова использовать это звено целесообразно, снова включить его в процесс поведения.

Итак, при возникновении препятствий поведение задерживается на каком-нибудь из актуальных звеньев. Например, обуваясь, я чувствую, что «нога не лезет в обувь», но я не окончательно прекращаю поведение, направленное на обувание, а лишь задерживаю его на некоторое время: я останавливаюсь, прекращаю осуществлять в своих действиях акты обувания. Зато возникает новая форма поведения: обувь, образ которой я получил в результате ее восприятия, включенного в акты процесса обувания, не будучи в состоянии стимулировать и направлять удачный, в данном случае достаточно целесообразный, акт обувания, становится сейчас для меня самостоятельным объектом, особенности которого я должен осознать для того, чтобы быть в состоянии обуться, и я начинаю снова воспринимать обувь; она становится предметом, на который направляются мои познавательные акты, — я начинаю ее воспринимать с разных сторон, сопоставлять замеченные мной особенности, размышлять о возможной обусловленности замеченного мной неудобства, быть может, именно обстоятельством, которое бросается в глаза. Словом, на почве *идентифицирования* обуви начи-

нается процесс специально познавательного отношения к предмету, отношения, отвлекающегося от интересов непосредственного практического применения каждой из отмеченных мной особенностей, начинается процесс элементарного теоретического, а не непосредственного, практического поведения.

От результатов этого последнего и зависит, как развернется в дальнейшем моя деятельность, что я сделаю с обувью, чтобы целесообразно закончить процесс обувания. Очевидно, я внесу в нее необходимые в данном случае изменения, устраню препятствия, задерживающие целенаправленность моего поведения, — словом, в результате теоретического отношения к предмету я сперва осуществлю практические акты, необходимые для приведения обуви в годность, и только после этого возьмусь за осуществление задержанного мною акта обувания.

Таким образом, вследствие усложнения ситуации процесс импульсивного поведения может задержаться, и тогда наличное звено его, отраженное первично в психике в процессе осуществляющихся актов поведения, может обратиться в самостоятельный для меня объект, может выключиться из непрерывной цепи актов практического поведения и сделаться предметом моего повторного наблюдения, стать объектом, на который я направляю деятельность своих познавательных функций, с тем чтобы получить более детальное и более ясное его отражение, необходимое для целесообразного завершения задержанного процесса моего поведения.

В результате этого акта поведение поднимается на более высокий уровень — на уровень опосредствованного познавательными актами, освобожденного от действия непосредственных импульсов поведения. Словом, поведение в этих условиях поднимается на уровень специфически человеческих актов, качественно отличающихся от всего того, что может дать в обычных условиях своего существования то или иное животное.

Этот специфический акт, обращающий включенный в цепь деятельности человека предмет или явление в специаль-

ный, самостоятельный объект его наблюдения, можно было бы назвать коротко актом объективации*.

Само собой разумеется, этот акт объективации вовсе не создает впервые предметов или объектов окружающего нас объективного мира; эти предметы, конечно, существуют независимо от субъекта и являются необходимыми условиями возникновения всякого поведения, кому бы оно ни принадлежало. Но сейчас они воспринимаются субъектом, идентифицируются. Акт объективации имеет в виду наличие в действительности объектов, на которые можно было бы человеку направить свои акты, с тем чтобы повторно заметить и в этом смысле объективировать их, а затем, при помощи специальных познавательных функций, уяснить себе, что они представляют собой.

Таким образом, объективация не создает объектов, они существуют в объективной действительности, независимо от наших актов, — а обращает наличные объекты в предметы, на которых мы концентрируем наше внимание, или, говоря точнее, которые мы объективируем.

Если приглядеться к этому процессу, то можно будет сказать, что наше поведение, которое было включено в цепь последовательных актов отношения к действительности, как бы «освобождается» из этой цепи, «выключается» из нее и становится самостоятельным и независимым процессом. Решающую роль в этом процессе «освобождения» поведения, поднятия его на более высокий, истинно человеческий уровень играет, несомненно, акт объективации — акт обращения звена в цепи в самостоятельный, независимый предмет, на который направляются усилия наших познавательных функций. Но нет сомнения, что это и есть акт той самой задержки, остановки, фиксации, который мы наблюдаем в условиях работы специфического состояния, известного под названием «внимания».

Следовательно, внимание по существу нужно характеризовать как процесс объективации — процесс, в котором из

---

* Об опыте экспериментального исследования объективации см.: *А. Мосиава*. Материалы к вопросу о процессе объективации // Психология. 1946. Т. III; 1947. Т. IV.

круга наших первичных восприятий, т. е. восприятий, возникших на основе наших установок, стимулированных условиями актуальных ситуаций поведения, выделяется какое-нибудь из них; идентифицируясь, оно становится предметом наших познавательных усилий и в результате этого — наиболее ясным из актуальных содержаний нашего сознания.

Таким образом, акт объективации является специфическим состоянием, свойственным человеку, состоянием, которого лишено животное и на котором, по существу, строится все преимущество человека над этим последним, строится возможность нашего логического мышления.

Нам необходимо специально отметить наличие обоих этих уровней психической жизни — уровня установки и уровня объективации. В то время как первый из них является специфическим для всякого живого существа (в частности, в определенных условиях и для человека), второй представляет собой специальное достояние лишь этого последнего как существа мыслящего, строящего основы культурной жизни, как творца культурных ценностей.

Если приглядеться к первому уровню — уровню установки, то нетрудно увидеть, что жизнь на этом уровне представляет собой безостановочный поток ряда изменений, неустанное становление нового: она не знает ничего *повторяющегося*, ничего *тождественного*. Здесь, в плане установки, основным принципом действительности является принцип становления, исключающий всякую мысль о неизменяемой тождественности явлений. Мы видели выше, что действительность отражается в психике лишь в тех своих отрезках, которые необходимы для развития потока деятельности, направленной на удовлетворение актуальных потребностей живого организма. Сама же эта действительность или какая-нибудь из ее сторон остается целиком за пределами внимания субъекта, она не является его объектом, не является тем же предметом, специально обращающим на себя его взоры.

Словом, становится бесспорным, что действительность в плане установки представляет собой поле неисчерпаемых изменений, безостановочного движения, исключающего

даже мысль о тождественности в бесконечном ряду явлений. Коротко говоря, действительность в плане установки представляет собой поле не имеющих конца, не знающих перерыва изменений.

Другое дело второй план этой действительности, обусловленный принципом объективации, свойственным лишь этому плану. Как только действительность сама же начинает казаться той же действительностью, сама же начинает становиться объектом для человека, она выступает из ряда факторов, непосредственно обусловливающих поведение человека, и становится самостоятельным предметом, на который направляется внимание субъекта; иначе говоря, она *объективируется.*

На этой основе вырастают мыслительные акты, направленные на возможно всестороннее отражение объективированной таким образом действительности.

В отличие от отражения в плане установки, здесь, в плане объективации, мы имеем дело с отражением, построенным на основе логического принципа тождества, необходимого для регулирования актов нашей мысли. А именно: после того как мы выдвигаем идею одной из сторон объективированного нами отрезка действительности, нам приходится немедленно перейти к другой, затем к третьей и т. д., пока не исчерпаем всего предмета, представляющего в данном случае интерес для нас. Но, переходя от одной стороны к другой, мы вовсе не приближаемся к удовлетворительному разрешению задачи, если не допустить, что каждая из рассмотренных нами сторон сохраняется перед нами в своей неизменной тождественности, необходимой для того, чтобы мы могли воссоздать из них образ предмета как целого; мы анализируем и идентифицируем каждую из его сторон в течение времени, необходимого для того, чтобы завершить построение его как целого.

Словом, течение нашей психической жизни из живого и активного потока обращается в объективированную данность — из отрезка жизни становится предметом нашей мысли.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ИДЕИ

1. Слово как объективный фактор установки. Мы видим, что человек выходит из затруднения, в которое попадает в усложненных условиях своей жизни, обращаясь к акту объективации, к акту крутого изменения направления и внутренней природы своего поведения. Вместо того чтобы действовать в том или ином направлении, он останавливается на некоторое время, чтобы сначала «обсудить» создавшееся положение, и лишь после этого, в зависимости от результатов этого обсуждения, обратиться к актам поведения.

Как протекает весь этот процесс? Принимает ли и здесь наша установка то или иное участие? Вот вопросы, которые должны быть разрешены, прежде чем составить окончательное мнение о характере и внутренней структуре человеческой активности.

Для того чтобы разрешить этот вопрос, мы обратимся и здесь к нашим обычным опытам. Только их придется несколько изменить, поскольку в данном случае нас интересует не вопрос о влиянии актуально действующей ситуации, а вопрос о влиянии ситуации, вербально опосредованной, ситуации, действующей лишь в плане представления. Новое, что должно быть осуществлено в этих опытах, — это замена актуально воспринимаемой ситуации лишь воображаемой, лишь вербально репрезентированной ситуацией. Во всем же остальном опыты могут сохранить свою обычную структуру.

Опыты эти протекают следующим образом: вместо того чтобы давать испытуемому обычные установочные тела, например шары, мы предлагаем ему представить, что в одной руке у него больший по объему шар, а в другой — меньший. Как и в обычных опытах, установочные экспозиции (представления) повторяются многократно, в этом случае до 15 раз. Нужно полагать, что, если представление может быть фактором, стимулирующим установку, в результате этих 15 представлений у субъекта должна фиксироваться соответствующая установка. И это должно обнаружиться, как обычно, в критических опытах, в которых испытуемому предлагаются обычные критические объекты — равные шары.

Опыты этого рода были проведены также и в оптической сфере*. В последнем случае экспериментатор поступал следующим образом: показав предварительно, какого рода раздражители следует представлять, он предлагал испытуемому вообразить себе на том же экране, рядом, два круга, из которых один должен быть заметно больше другого. После 15-кратного повторения этих представлений испытуемый получал там же на экране два равных круга с заданием сравнить их между собой в отношении величины.

Результаты опытов оказались следующие: наша обычная иллюзия установки обнаружилась как в гаптической, так и в оптической областях. Значит, не подлежит сомнению, что у испытуемых установка фиксируется и путем лишь словесного воздействия: достаточно им *представить* 15 раз, что на них действуют шары разных объемов или что они видят два неравных круга, чтобы у них фиксировалась соответствующая установка — установка, которая затем не дает им, как обычно, возможности адекватно воспринимать на некоторое время фактически предлагаемые им равные объекты.

Правда, такого рода иллюзии, т. е. иллюзии, стимулированные на основе одного только представления установочных объектов, возникают значительно реже, чем иллюзии, появляющиеся в условиях непосредственного, актуального воздействия этих объектов, но факт наличия этих иллюзий не подлежит никакому сомнению. Так, с обычными иллюзиями установки в гаптической сфере мы имеем дело чуть ли не во всех 100 % случаев, тогда как здесь, т. е. при стимуляции этих иллюзий путем вербального воздействия, процент их не превышает 71,6. Еще ниже процент этих иллюзий в оптической сфере, где он едва достигает 42,2 общего числа испытуемых.

Таким образом, на основе данных этих опытов становится бесспорным, что установка может быть фиксирована и на основе представления, стимулированного словесным воздействием на субъекта. Но становится бесспорным и то, что это

* *Р. Г. Натадзе.* К вопросу о стимулированной представлением фиксированной установке // Психология. 1942. Т. I.

бывает далеко не так часто, как в наших обычных опытах. Нужно думать, что в общей массе испытуемых встречается какой-то более или менее значительный процент лиц, которым не удается фиксировать установку, стимулированную путем словесного воздействия. Есть основания полагать, что это лица, которые характеризуются наличием какой-то степени аномалии — временной и случайной или, быть может, даже сравнительно постоянной и стойкой.

Но если рассмотреть ближе нормально одаренных испытуемых, т. е. испытуемых со способностью фиксировать установку на базе вербального воздействия, то нам придется признать, что и они значительно отличаются друг от друга по степени живости фиксированной установки и легкости ее образования. На основании имеющихся у нас результатов опытов можно утверждать, что, в то время как большинство нормальных испытуемых обнаруживают способность фиксировать установку на основе вербального воздействия лишь в слабой степени, сравнительно немного испытуемых, состоящих главным образом из артистов, а также студентов театрального института, оказываются необычайно одаренными в этом отношении: они фиксируют установку на базе представления почти во всех 100% случаев, и притом фиксируют ее в достаточно сильной степени*.

Если рассмотреть случаи фиксированных таким образом установок со стороны их *стойкости* или *прочности*, то нам придется отметить, что установка, стимулированная вербальным воздействием, отличается сравнительно низкой степенью стойкости: из 16 испытуемых, у которых имеется фиксированная в этих условиях установка, у 15, т. е. у 93,8%, отмечается сравнительно слабая фиксация установки, и только один субъект обнаруживает установку, которую можно было бы считать зафиксированной в сильной степени.

Словом, не подлежит сомнению, что фиксация установки этим способом отличается значительно более низкой степенью стойкости, чем это имеет место в случаях фиксации установки в условиях воздействия актуальной ситуации.

---

* *Р. Г. Натадзе.* Указ. соч.

Сравнительно невысокая степень стойкости, или прочности, установки, фиксированной на основе представления, отражается и на состоянии ее других сторон, в первую очередь на степени ее стабильности, а затем также и на ее возбудимости. Из тех же опытов стало ясно, что при испытании стабильности интересующей здесь нас фиксированной установки (испытанию подвергались 13 испытуемых, давших явно выраженную картину фиксации вербально стимулированной установки), по истечении 5–15-минутных пауз после опытов ее фиксирования, сохранили ее пять испытуемых, т. е. 38,4 % из общего числа их; притом, за исключением одного случая, в котором мы имели дело с феноменом статической установки, все эти лица обнаружили очень слабую степень фиксации, а именно: двое из них дали по две иллюзии, а двое — по одной.

Словом, в этих опытах степень стабильности фиксированной установки оказалась очень невысокой.

Эти данные указывают, что вербально стимулированная установка, вообще говоря, значительно менее стабильна, чем установка, возникающая в условиях непосредственного воздействия актуальной ситуации.

То же самое приходится сказать и относительно возбудимости этого рода установки. При 5 установочных экспозициях в гаптической сфере удалось фиксировать установку только у 3 лиц — из общего числа 13 испытуемых, у которых вообще удается вербально стимулировать установку. Если сравнить это число с числом лиц с возбудимой установкой при актуальной стимуляции, то, несомненно, оно очень низко: во-первых, низший порог возбудимости там значительно выше (в то время как там достаточно бывает и одной экспозиции, чтобы получить ощутимый эффект фиксации, здесь для этой цели оказываются необходимыми уже 5 установочных экспозиций); во-вторых, в то время как в обычных опытах число лиц с таким порогом сравнительно высоко, здесь оно не выше 23 %; наконец, в-третьих, эта иллюзия здесь оказывается очень слабой, поскольку у одного испытуемого она продолжается до 3 экспозиций, у другого — до 2 и у третьего ее хватает лишь на одну-единственную экспозицию.

Мы видим, что вербально стимулированная установка возбудима гораздо труднее, чем обычная фиксированная установка.

Есть ли какие-либо особенности в процессе угасания этой установки?

Согласно данным той же работы, обращает на себя внимание следующее:

а) из 36 испытуемых, дающих эффект фиксации установки, 9, т. е. 25%, оказываются лицами с статическим типом установки: они дают контрастную иллюзию без изменения в течение более 30 экспозиций. В обычных опытах с нормальными лицами этого нет, там таких испытуемых не более 3–5%. Дальнейшие опыты должны показать, на чем базируется эта особенность вербально фиксированной установки;

б) особенно часто (52%) встречаются лица, у которых констатируется грубая динамическая установка. Это — лица, которые обнаруживают с самого же начала контрастную иллюзию и удерживают ее без заметных изменений до того момента, пока окончательно не замечают равенства критических объектов;

в) наконец, в 25% всех случаев мы имеем испытуемых с пластической установкой — число также невысокое в сравнении со случаями установки не в воображаемой, а в актуально воздействующей ситуации.

Все эти особенности процесса угасания вербально фиксированной установки были получены в наиболее ранних экспериментах Р. Г. Натадзе, поставленных для разрешения вопроса о возможности такого рода установки. Дальнейшие опыты должны показать, что́ из этих результатов придется сохранить и что изменить в том или ином направлении.

2. Проблема представления. Если мы окинем взором все, что получили в результате этих опытов, нам придется признать, что фиксация установки на базе вербального воздействия является бесспорным фактом. Нет сомнения, что слово представляет собой специфическую для нас сферу действительности, на основе которой строится новый слой установочных состояний человека, обусловливающих и определяющих его поведение.

И вот вопрос, который сейчас стоит перед нами, можно формулировать следующим образом: чем же достигает слово того, что начинает играть в данном случае ту же роль, что и объективная действительность, на базе которой обычно развертывается наша деятельность? Ведь, в самом же деле, в этом случае не окружающая нас действительность, не фактически действующая на нас ситуация является фактором, непосредственно определяющим возникновение установки, а только вербально опосредованная форма действительности. Мы могли бы сказать, что объективным фактором, определяющим возникновение установки, в данном случае является не актуальная, а лишь вербально стимулированная ситуация. Это значит, что вопрос, какая же установка возникает здесь в субъекте, зависит не от того, в каких условиях ему приходится действовать, а от того, какого рода действительность имеет он в виду в выражениях, что он хочет выразить своим словом.

Итак, если в обычных случаях наших опытов с установкой мы всегда имеем дело с каким-нибудь индивидуальным отрезком актуальной действительности, со вполне определенной для данного лица ситуацией, то в этом случае объективным условием возникновения установки является уже только мнимая или просто *идейная ситуация*; субъекту приходится считаться не с реально данной, а только с идейно представленной, мыслимой ситуацией.

Конечно, объективные условия возникновения установки в обоих этих случаях существенно отличаются друг от друга. Если в обычных случаях действия установки речь идет относительно реально наличной объективной ситуации, то здесь мы имеем в виду не действительно существующую, актуально действующую на нас ситуацию, а лишь *представленную* или *мыслимую*.

Следовательно, мы должны признать, что в этих условиях речь идет относительно совершенно нового слоя установки, слоя, который может быть лишь у субъектов, оперирующих идеей, представлением или мыслью.

Что же представляет собой эта идея? Можно было бы подумать, что здесь вопрос касается обычного представления,

т. е. воспроизведенного образа предмета, основывающегося на нашем прошлом опыте. Но в указанных выше экспериментах мы имеем данные, которые не дают оснований принять эту возможность. Дело в том, что представления одного и того же предмета или явления, как известно, могут отличаться друг от друга прежде всего по степени интенсивности или яркости. Но в этих опытах оказывается, что момент интенсивности или яркости не играет существенной роли: представления могут быть максимально яркими, но они оказываются бессильными стимулировать активность субъекта. Следовательно, мы должны признать, что решающую роль в этих случаях играет не представление, не простой образ предмета, а нечто совершенно другое.

3. «Представление» в сновидении. Для того чтобы яснее представить себе природу специфических процессов, лежащих в этих случаях в основе поведения субъекта, мы должны обратиться к анализу ряда случаев, в которых не только люди, но и животные кажутся носителями переживаний, аналогичных тем, которые здесь нас интересуют.

Мы имеем в виду образы сновидений, которых, по-видимому, не чужды люди самых примитивных ступеней развития, дети на значительно ранних стадиях их жизни и, наконец, даже животные.

Мы должны, конечно, признать, что образы сновидений вовсе не являются по существу переживаниями активно действующих содержаний. Тем не менее они являются, бесспорно, засвидетельствованными фактами даже на примитивных ступенях развития, где о наличии настоящих актов мышления, по-видимому, и речи не может быть.

Вот одно наблюдение! Охотничья собака лежит передо мной и спит; по всем признакам она не спокойна, она скулит, временами лает, правда, глухо, но достаточно отчетливо для того, чтобы заметить, что в данном случае имеем дело с обычным для нее при преследовании дичи специфическим лаем. Словом, все указывает на то, что собака «видит во сне» сцену охоты, в которой она как бы принимает участие.

О детских сновидениях и говорить не приходится: они до такой степени часты, что не вызывают никаких сомнений.

Конечно, то же самое нужно сказать и относительно сновидения примитивного человека.

Словом, факты этого рода нужно считать бесспорными, и мы можем полагаться на них без колебаний.

Но если это так, если факт сновидения на этих, сравнительно примитивных ступенях развития не вызывает сомнений, то это значит, что мы должны признать, что и способность представления на этих ступенях развития бесспорна; животное, в данном случае собака, имеет определенные образы, и они вызывают в ней соответствующие реакции — она начинает лаять. То же самое можно сказать и относительно человеческого сновидения: факт наличия в нем представлений как будто не подлежит сомнению. Можно сказать, что все содержание сновидения вообще складывается из образов представлений.

Но здесь нужно отметить одну из особенностей сновидения. Если мы приглядимся внимательно к случаям наших представлений во сне, то увидим, что они постоянно, сейчас же по появлении трансформируются, немедленно обращаются в восприятия. Это бывает так часто, что возникает подозрение, можем ли мы в состоянии сновидения вообще, в настоящем смысле этого слова, иметь какие-нибудь представления. Конечно, раз процесс модифицирования наших представлений в образы восприятия не вызывает сомнения, то ясно, что сомневаться в фактической данности представления не приходится. Но данность эта имеет часто своеобразный, до такой степени специфический характер, что становится трудным считать ее обычной, настоящей данностью. Дело в том, что образы наших представлений во сне, как мы только что отметили, сейчас же, по обращении на них внимания, начинают становиться образами восприятия. То, что вначале начинает появляться в сознании лишь в виде отдельных представлений, немедленно начинает трансформироваться в актуальные переживания, в настоящие восприятия, в феномены, которые фактически начинают развертываться перед нашими глазами. Мысли, которые приходят в голову во сне, сейчас же облекаются в плоть и начинают переживаться в виде настоящих, актуальных восприятий. Эта трансфор-

мация переживается до такой степени ясно, что не остается в ней никакого сомнения; не остается сомнения, что вот мы вспоминаем во сне что-то и уже видим, как образы этого воспоминания немедленно начинают разворачиваться перед нами в виде настоящих, ясных содержаний восприятия.

Это наблюдение, как нам кажется, особенно близко характеризует содержание нашего сознания в состоянии сновидений; во сне все, что мы представляем, немедленно трансформируется в образы восприятий.

Этот бесспорный факт обращения содержания представлений в содержание восприятий представляет большой интерес с точки зрения вопроса о психологических особенностях сновидения. Раз такого рода трансформация образов представления в содержание восприятия действительно возможна, то это дает основание утверждать, что в сновидениях они и не отличаются друг от друга по содержанию: если восприятие является отражением конкретной действительности, отражением индивидуально данного определенного содержания, то то же самое нужно сказать и относительно представления во сне; в противном случае трансформация его в восприятие была бы совершенно невозможна. Раз данное содержание может быть содержанием представления или восприятия, безразлично, то это значит, что эти последние нисколько не отличаются друг от друга и одно и то же индивидуально конкретное содержание может служить как в одном, так и в другом случае. Это значит, что восприятие и представление в состоянии сновидения не дифференцированы друг от друга, они представляют собой диффузные переживания и представление так же конкретно и индивидуально по своему содержанию, как и восприятие. Следовательно, утверждение о том, что содержание представления вообще носит в какой-то степени обобщенный характер, вряд ли в данном случае имеет достаточно основания.

Правда, в случаях неопределенности, диффузности какого-либо содержания становится трудно отнести его к одному, точно определенному переживанию представления или восприятия. Но сами факты нашего сознания от этого вовсе не становятся обобщенными: они характеризуются в данном

случае лишь диффузностью и неопределенностью, не переставая быть переживанием, правда, малоопределенного, но все же вполне индивидуального содержания.

В аналогичных случаях мы имеем дело не с принципиально обобщенным содержанием, не с совокупностью общих признаков какой-то группы явлений или предметов, а лишь с малоопределенным, диффузным переживанием, которое именно по причине этой диффузности трудно или невозможно бывает отнести к какому-нибудь определенному индивидуальному содержанию.

Таким образом, мы можем утверждать, что представление, которое мы имеем в состоянии сновидений, по основным свойствам своего содержания нисколько не отличается от восприятия — одно переходит в другое, ничего не меняя в своем содержании; в состоянии сновидения дифференцированных друг от друга представлений и восприятий чаще всего не бывает.

4. **Идеи на базе вербального воздействия.** Если под представлением понимать переживания, которые обычно составляют содержание сновидений, то мы должны признать, что они не отличаются принципиально от восприятий и могут иметь место не только у человека разных ступеней развития, но и у животных.

Таким образом, мы видим, что идеи, лежащие в основе обсуждаемых нами экспериментов с установкой на базе вербальной стимуляции, нельзя отождествить с «представлениями» в тесном смысле этого слова. Эти последние могут иметь место и на сравнительно ранних ступенях развития — не только в сновидениях, в то время как идеи, стимулированные на базе словесного воздействия, могут быть констатированы лишь у обладающего речью живого существа — у человека.

Что дело здесь, действительно, не в индивидуальных представлениях, это видно уже из той роли, которую играет в данном случае речь. Ведь слово никогда прямо не выражает какого-нибудь конкретного, индивидуального образа. Оно всегда обобщает, имеет в виду всегда более или менее общее содержание. Поэтому мы скорее должны принять, что здесь

речь идет о каком-то более общем, чем в случае представления, процессе. Мы имеем основание утверждать, что мы здесь отступаем от конкретной сферы единично воспринимаемого или представляемого и поднимаемся в более высокую сферу мыслимого.

Это значит, что в этих случаях вступает в свои права специфически человеческая особенность, сформировавшаяся на наиболее высоких ступенях его развития, — начинает действовать *мышление*.

Таким образом, выясняется, что у человека появляется вторая, более высокая форма установки, которая характеризуется прежде всего тем, что, помимо потребности, стимулирующей его деятельность, она предполагает наличие ситуации, определяемой в категориях мышления, а не восприятия, как это бывает в случаях действующей в актуальном плане установки.

Получается такое положение: у человека вырабатывается способность действовать в каком-то новом плане, в плане вторично отраженной действительности и, таким образом, открыть в себе возможность не только непосредственного, прямого ответа на действующие на него раздражения, что в той или иной степени доступно и животному, но и опосредованных видов реакции на развертывающуюся перед его глазами широкую картину действительности.

5. Опыты на базе представлений и идей. В одной из работ Р. Г. Натадзе вскрывается довольно любопытное явление, которое он формулирует в следующих выражениях: «психологическая сущность сценического перевоплощения заключается в выработке установки, соответствующей представляемой (а не воспринимаемой в данный момент) ситуации; вызванная представлением установка фиксируется в процессе репетиций»*. Наш автор приходит к заключению, что фиксировать установку на основе «представления» удается гораздо легче способным деятелям сцены, талантливым артистам, чем лицам, не имеющим отношения к сцене или от-

---

* *Р. Г. Натадзе* О связи способности сценического перевоплощения со способностью выработать фиксированную установку на основе воображения // Психология. 1945. Т. III.

личающимся малой способностью к сценическому перевоплощению. Особенно характерно, что способность к фиксированию установки на основе представления оказывается значительно более развитой у сценически более одаренных студентов, чем у менее одаренных. В ряде самых разнообразных опытов автор показывает, что положение это, безусловно, обосновано: оно оправдывается в самых различных комбинациях экспериментальных условий.

Для того чтобы показать, как сильно отличаются в этом отношении друг от друга сценически более одаренные лица от менее одаренных, мы обратимся к данным, суммированным в табл. 16. Здесь мы видим, что сценически одаренные субъекты значительно выделяются по своим показателям в сравнении с лицами, не имеющими отношения к сцене. Разница в данном случае большая: несмотря на то что не исключена возможность, что среди случайно отобранных испытуемых, не имеющих отношения к сцене, могли быть и лица, не лишенные способности к сценическому искусству, их данные (31,1 %) оказались все же почти втрое ниже показателей артистов (87,7 %), как и способных студентов театрального института (80 %). По-видимому, нельзя сомневаться, что сценическая одаренность в высокой степени положительно коррелирует с количеством установочных иллюзий, стимулированных представлением испытуемого (в этих опытах испытуемому предлагают словесно представить себе, что у него в правой руке больший по объему шар, а в левой — меньший). Особенно интересно, что эти данные существенно не меня-

Таблица 16

	Число испыт.	Адекв. ответ, %	Иллюзия, %
Заслуженные артисты	10	10	90
Молодые артисты	7	14,3	85,27
Способные студенты	10	20	80
Не имеющие отношения к театру	25	69,8	30,1

ются и в более осложненных условиях опытов, а именно в условиях опытов, в которых испытуемые актуально воспринимают раздражители, вполне противоположные представляемым установочным объектам.

Испытуемые получают в руки одинаковые по весу, но разные по объему объекты Шарпантье. Следовательно, ничто не мешает им получить соответствующую иллюзию. Но они имеют задание представить, что тяжести распределены в направлении, обратном их действительному порядку, и, следовательно, считать, что с той стороны, с которой воспринимается более тяжелый объект, у них имеется более легкий и там, где они должны чувствовать наличие более легкого, — более тяжелый объект.

Результаты, полученные в этих опытах, показывают, что испытуемые оказываются способными преодолеть, путем представления, силу действия иллюзии Шарпантье. Выясняется, что в то время как в этих условиях у лиц, не имеющих отношения к театральному искусству (у служащих средней квалификации), вовсе не получаются иллюзии, у театрально одаренных испытуемых число их достигает 65,2 %. Нет сомнения, что цифра эта указывает на наличие большой разницы между этими категориями испытуемых.

Бесспорно, мы можем заключить, что данные об иллюзиях установки в этих условиях в высокой степени положительно коррелируют со способностью к театральному искусству.

Более того, в другом варианте этих опытов подтверждается, что установка фиксируется на основе представления и в тех случаях, в которых этому представлению явно противоречит восприятие той же модальности: если испытуемый имеет в руках, например, одинаковые по объему объекты, то при соответствующих условиях у него может фиксироваться установка, что, например, в правой руке у него имеется объект с бóльшим объемом, чем в левой. Причем у лиц театрально одаренных это бывает значительно чаще, чем у обыкновенных испытуемых, не отобранных по этому признаку.

Не останавливаясь на других вариантах этих опытов, на их основе мы можем вообще утверждать, что способность

фиксировать установку на базе представления объекта, противоположного актуально воспринимаемому, распространена среди театрально одаренных лиц несравненно в большей степени, чем среди лиц, не имеющих отношения к театру, и тех из студентов театрального института, которые, как видно из данных наблюдений над их работой, лишены артистических способностей.

Резюмируя все сказанное, мы можем повторить, что на основе данных ряда соответствующих экспериментов можно безоговорочно утверждать, что фиксированная установка на базе представления несравненно чаще вырабатывается у лиц, одаренных артистическими способностями, чем это имеет место у лиц, лишенных этих способностей.

На что указывают эти результаты? Выше мы отметили, что в этих, как и в аналогичных им опытах, исследуется не способность к живому представлению — представлению вроде сновиденческих диффузных переживаний, а, скорее, способность к какой-либо идее или мысли вообще. Но результаты, полученные и опытах с театрально одаренными лицами, по-видимому, в корне расходятся с этим предположением. Мы ведь не имеем никаких оснований утверждать, что эти лица превосходят наших обычных испытуемых именно способностью мыслить. Существуют другие пути, которые дают нам надежные основания судить об интеллектуальных способностях наших испытуемых, и их данные не всегда совпадают с результатами этих опытов. Это обстоятельство снова ставит перед нами тот же вопрос: что же исследуют наши эксперименты — мысль, идею или просто способность индивидуальных представлений?

Для разрешения этого вопроса мы обратимся к некоторым из данных, обнаружившихся в процессе самих опытов. Прежде всего обращает на себя внимание значительная разница между обеими категориями испытуемых: в то время как одаренные артистическими способностями лица легко разрешают предложенную им задачу представить разрешение, скажем, в смысле, противоположном данному, лица, не имеющие отношения к театральному искусству, в большинстве случаев достигают этого или с большим затруднением, или

вовсе отказываются от этой задачи. Большинство испытуемых этой второй группы чувствуют необычайно сильное напряжение при ее разрешении: «Собираю все силы»... «Необычайное напряжение»... «Знаете, устал необычайно!»... «Сердце утомилось!» — говорят испытуемые этой категории. И если в конце концов им все же удается разрешить задачу, то это лишь после достаточно длинного ряда попыток — лишь после 15–26 экспозиций, в то время как для лиц другой категории достаточно бывает 3–5 экспозиций.

Словом, мы можем повторить, что, в то время как сценически одаренные лица легко разрешают такого рода задачи, обыкновенные испытуемые оказываются сравнительно бессильными сделать это.

Очень существенно отметить, как проходит этот процесс у лиц, которым он удается сравнительно легко. В тех случаях, в которых предложенная задача осложняется специальными условиями опытов, испытуемый отмечает трудность ее разрешения. Для характеристики способа ее разрешения, к которому прибегают испытуемые этой категории — сценически одаренные лица, — эти случаи представляют для нас специальный интерес.

Испытуемый фиксирует требуемое в задаче представление, но вдруг неожиданно оно выпадает, и испытуемый остается на некоторое время ни с чем, пока не сумеет снова вызвать к жизни нужное представление: «Опять выключилась!... Снова включилась!» — говорит одна артистка. «Поймал было, но опять ускользнуло!... есть! опять чувствую тяжесть!» — говорит другой испытуемый.

Таким образом, мы видим, что действительно, несмотря на значительные усложнения в условиях опытов, они протекают для испытуемых данной категории, вообще говоря, легко, несравненно легче, чем для лиц, не имеющих отношения к сцене.

Это дает нам возможность судить, в чем заключается разница в поведении обеих групп наших испытуемых. Мы видим, что одна группа их — способные к сцене лица — сравнительно легко настраиваются к разрешению задачи, легко активируют в себе что нужно (для них достаточно бывает

3–5 экспозиций, чтобы вызвать в себе требуемое представление), легко вырабатывают представление, которое от них требуется. С другой стороны, и способ выработки этого представления у них специфический: они «включаются» или «выключаются» вовсе, они «имеют» или совершенно не имеют его. Одним словом, впечатление таково, что представление это или имеется у них в готовом виде, или его вовсе нет до тех пор, пока оно опять сразу не появится.

Это обстоятельство достаточно хорошо характеризует природу этих представлений. Нужно полагать, что это – психические акты, достаточно определенно отличающиеся от того, чем руководствуются в своем поведении в этих опытах испытуемые – не работники сцены. Если они, скорее всего, пользуются в своем поведении актами мысли, или идеями, как мы предпочитаем называть их, то одаренные сценическими способностями лица обращаются при разрешении стоящих перед ними задач, как правило, не к актам мысли, а к живым, индивидуальным образам, ко вполне определенным представлениям, возникающим и действующим у них как целостные образы, которые или присутствуют в сознании в своей завершенной целостности, или же их вовсе нет там, – т. е. к переживаниям, аналогичным недифференцированным представлениям наших сновидений. Этим они в корне отличаются от того, что имеется в этих случаях у наших обыкновенных испытуемых, не обладающих специфической одаренностью к артистической деятельности. Мы могли бы коротко в следующих словах сформулировать различие между ними: в то время как у лиц, одаренных к сценической деятельности, в ситуации наших опытов возникают индивидуально определенные образы или «живые» недифференцированные представления, у других в тех же случаях появляются идеи или мысли, которые начинают определять их деятельность через соответствующие формы установки.

Конечно, нельзя сомневаться, что и первая группа наших испытуемых не лишена способности «мыслить», что в соответствующих условиях и она может демонстрировать эту свою способность, но в данном случае условия опыта таковы, что они стимулируют у них скорее активность образуемого

представления, чем более или менее обобщенных процессов мысли. Если же с другой группой испытуемых этого не случается, если у них активируется не способность к конкретному представлению, а скорее в какой-то мере отвлеченная мысль, то нужно полагать, что это происходит просто потому, что образное представление у этих лиц актуально не в такой степени, как это имеет место у первой категории испытуемых.

Итак, мы видим, что результаты экспериментов на стимулирование установки на основе представления показывают, что в то время как у сценически одаренных лиц в этом случае действительно выступают индивидуальные, конкретные образы представлений, у обыкновенных испытуемых в дело вступают сравнительно более обобщенные психические переживания.

МЫШЛЕНИЕ И ВОЛЯ

1. Мышление протекает на базе объективации. Мы знаем, что представление, которое можно констатировать у животных, еще чаще бывает, конечно, у человека. Характерной особенностью этого психического акта является прежде всего то обстоятельство, что он непосредственно, т. е. в самом переживании субъекта, никогда не противопоставляется акту восприятия: и представление и восприятие — оба они переживаются как данность объекта. Что же касается вопроса о том, актуальна ли эта данность, то это остается здесь в полной мере вне внимания, вроде того, как это бывает, например, в состоянии сновидения, когда переживание восприятия и представления возникает на базе актуальной установки.

Но мы видели выше, что на человеческой ступени развития случается нередко, что субъект становится перед каким-нибудь часто непреодолимым препятствием. В результате этого поведение его теряет способность развиваться дальше и субъект оказывается вынужденным остановиться, отказаться от продолжения импульсивных актов поведения. Но если в аналогичных случаях животное действительно прекращает данное поведение, с тем чтобы перейти на новую его разновидность, то относительно человека этого нельзя ска-

зать — он не потому прекращает акт текущего поведения, что думает окончательно отказаться от него. Нет! Приостановить, прекратить эти акты он решается лишь потому, что этим он надеется получить возможность их дальнейшего успешного продолжения. Приостановить, прекратить акты своего поведения вовсе не означает в данном случае полной отмены деятельности субъекта. Напротив! Здесь, как мы видели выше, зарождается новый своеобразный слой активности, дающий возможность успешного продолжения дальнейшей деятельности. А именно: на данной ступени поведения происходит *повторное* переживание или, правильнее, *объективация* возникшего препятствия. Приостановить процесс текущего поведения, прекратить его активность необходимо именно для того, чтобы получить возможность такого рода *повторного* переживания.

Мы видим, таким образом, что акт объективации как бы умерщвляет живой поток поведения и на его место выдвигает условия, дающие возможность повторного переживания и, следовательно, испытания и изучения условий поведения на этой базе.

Как реализуется этот акт? Как удается человеку изучить объективированное поведение и какие для этого у него имеются возможности?

Когда в процессе нашего поведения выступают условия, принуждающие нас обратиться к актам объективации, в первую очередь возникает вопрос: «Что это такое и почему это так?», «Что случилось бы, если бы это было иначе?» Одним словом, появляется вопрос, требующий немедленного разрешения.

Иначе и быть не может! В процессе развития поведения передо мной возникает затруднение, которое не поддается немедленному и непосредственному устранению и по этой причине возбуждает во мне потребность выяснить в первую очередь характер этого затруднения, как и возможность его устранения.

В этом случае, точно так же как и в случае развития обычного импульсивного поведения, у субъекта появляется потребность, стремящаяся к своему удовлетворению, — поло-

жение точно такое же, как и во всех случаях обычного поведения: потребность и ситуация ее удовлетворения — вот оба условия, необходимые для возникновения того или иного акта поведения.

Но в то же время между обоими этими случаями замечается и несомненное различие. Дело в том, что возникающая на базе объективации потребность имеет вполне определенный характер — она представляет собой вопрос, который как таковой должен быть разрешен в плане познавательной или, можно сказать, *теоретической*, но не практической деятельности, как это бывает в случаях импульсивной активности. Она стоит вне пределов актуальной практической задачи, выше этих пределов и потому не служит ее интересам непосредственно. Она стремится скорее к *освещению* обстоятельств, представляет собой скорее теоретический вопрос, чем практический, который обычно разрешается в первичном плане отражения действительности.

Итак, при том или ином поведении человека перед нами открывается следующая картина: скажем, субъект совершает более или менее сложный акт поведения, и вот какое-нибудь значительное препятствие закрывает ему путь к дальнейшей деятельности. В таком случае он чувствует себя принужденным отказаться от активной деятельности, приостановиться и вместо очередного акта поведения обратиться к объективации. Это дает ему возможность перенести активность своего поведения в область теории — он обращается к мышлению, с тем чтобы разрешить возникшую перед ним проблему и таким образом удовлетворить специфическую потребность, выросшую на основе объективации.

Так возникает человеческое мышление. Оно представляет собой психическую активность, приходящую в движение лишь на базе объективации и направленную на удовлетворение стимулированной таким образом теоретической, познавательной потребности. Следовательно, мы убеждаемся, что мышление, в истинном смысле слова, возможно лишь при наличии способности объективации, что в сфере активности, лишенной объективации, настоящего мышления быть не может. Значит, мышление, в собственном смысле слова, появ-

ляется лишь на человеческой ступени развития психики, и поэтому все попытки буржуазных психологов констатировать наличие действительных процессов мышления и на ступенях психического развития животных представляются нам бесплодными и ненаучными. Итак, мы утверждаем, что объективация, как и вырастающее на ее базе мышление, представляет собой способность, совершенно чуждую для первого плана поведения, но абсолютно необходимую для второго плана.

Однако было бы неправильно думать, что для активности мышления достаточно одной лишь способности объективации. Совершенно бесспорно, что участие установки здесь так же необходимо, как и на первом плане активности. Спрашивается: как мыслить участие установки при наличии процессов мышления? Какие особенности сказываются в этих условиях?

Скажем, я обращаюсь к какому-нибудь обычному акту поведения, например беру ручку и начинаю писать. Однако скоро замечаю, что временами это плохо удается, скажем, местами пропись делается невнятной. Поэтому мне не раз приходится возвращаться к написанному, чтобы его подправить, Скоро я совсем прекращаю писать и стараюсь найти причину моей задержки, хочу узнать, что мешает мне писать как следует, не перо ли необходимо переменить или, быть может, причину нужно искать в чем-нибудь другом?

Мы видим, что на основе определенной установки я развертываю соответствующую деятельность — начинаю писать. Однако скоро обнаруживается, что появляется какая-то задержка — активность понемногу начинает задерживаться. Это заставляет меня прекратить свою деятельность и обратиться к акту объективации. И вот на почве этого акта, вместо того чтобы продолжать деятельность, я начинаю судить, что мешает мне писать. Одним словом, на базе объективации я начинаю совершать акты мышления, чтобы выяснить, как мне изменить поведение, чтобы сделать его более продуктивным. Нет сомнения, что процесс мышления и в этом случае не может протекать совершенно независимо от той или иной установки субъекта. Каждый акт суждения, несомненно, вы-

текает из соответствующей установки, и задача заключается в том, чтобы выяснить, какова эта установка в каждом отдельном случае и откуда идет она.

Прежде всего нужно заметить, что в данном случае мы имеем дело с установкой, возникшей не на основе актуальной потребности и соответствующей ситуации, а на базе вторичной, так сказать, воображаемой потребности и ее ситуации: в каждом отдельном случае у субъекта возникает вопрос (потребность познания), как и представление ситуации его разрешения, в результате чего у него появляется совершенно определенная установка. В дальнейшем каждый отдельный независимый акт мышления выступает на базе этой установки и, следовательно, представляет отдельный случай ее реализации.

Так реализуется в нашем случае установка, построенная на основе объективированного содержания, — так возникает и осуществляется логическое мышление человека.

Мы уже остановились выше на попытке анализа некоторых из основных условий этого мышления.

Как известно, наше мышление предполагает наличие некоторого числа бесспорных положений, без которых оно никак не может обойтись. Я имею в виду прежде всего, конечно так называемые основные аксиоматические законы мышления. Для наших целей, однако, будет достаточно, если мы остановимся на рассмотрении лишь одного из них — на рассмотрении закона *тождества* как основного и наиболее типичного закона мышления.

Основным аксиоматическим положением логического мышления является положение, что все равняется себе, что А=А.

О чем говорит нам это положение? Очевидно, о том, что если отвлечься от факта безостановочного мирового движения и повторно пережить что-нибудь, то мы увидим, что все равняется себе, что А=А. Или же, если А противопоставить А, т. е. какое-нибудь явление сравнить с ним самим, совершенно необходимо повторно остановиться на нем и пережить его вторично как одно и то же — один раз в роли субъекта и другой раз в роли предиката.

Одним словом, то обстоятельство, что необходимым условием логического мышления является аксиоматическое положение о тождестве, указывает на то, что логическое мышление касается действительности как таковой, т. е. повторно переживаемой действительности, действительности как объекта, но не как непрерывно меняющегося течения.

Отсюда становится понятно, что необходимой предпосылкой нашего логического мышления является факт объективации, на базе которой вырастает возможность переживания тождества, что логическое мышление возможно лишь на той ступени развития, на которой фактическое наличие объективации не вызывает сомнения, что это мышление, следовательно, встречается лишь на человеческой ступени развития.

2. Воля как другая специфически человеческая функция. Мышление служит разрешению теоретической задачи, выступающей перед нами в условиях объективированной действительности. Но эта задача в конечном счете служит все же интересам практической жизни; как бы далеко ни шла теоретическая проблема, в конце концов она прямо или косвенно касается все же вопросов человеческой практики. Дело в том, что необходимость объективации возникает всегда лишь в случаях осложнения обстоятельств — в случаях затруднения разрешения задачи, и акты мышления становятся необходимы лишь в этих случаях.

Но как только разрешается ряд вопросов или отдельный вопрос, стоящий перед нами, возникает новая задача — задача практического осуществления интеллектуально разрешенного вопроса. Или иначе: субъект становится перед практической задачей обратиться к такому акту поведения, который мог бы ему гарантировать полное практическое осуществление теоретически найденных результатов. Вопрос отныне касается умения переключиться из плана объективации в план актуального поведения. Перед субъектом возникает задача осуществить практически то, что он признал теоретически целесообразным; коротко: перед ним становится задача совершить соответствующие волевые акты.

Как удается это?

Задача в данном случае сводится к умению актуализировать установку, соответствующую долженствующему совершиться акту поведения. Достаточно появиться такой установке, чтобы осуществление этого акта считать гарантированным. Задачей волевого акта, следовательно, является именно это обстоятельство, т. е. задача обратить установку, выработанную в плане объективации, в актуальную установку — в силу, направляющую человеческую активность в определенную сторону.

ВЫВОДЫ

Когда животное повторяет одну и ту же активность, то это по существу не настоящее повторение: животное осуществляет в каждом отдельном случае новый акт поведения, оно не переживает его как тот же акт. Это значит, что для животного повторения как такового не существует.

Иное дело человек! Когда перед ним определяется трудность осуществления какого-нибудь акта, то он прекращает его и сосредоточивается на одном из его моментов как на центре затруднения; он проводит объективацию этого момента, он останавливается на нем сознательно на некоторое время. Следовательно, он выделяет его из тянущегося во времени процесса поведения, изолирует его и обращает в предмет нового — интеллектуального — поведения.

Коротко: и животное останавливается на каком-нибудь из моментов своего поведения, но это не остановка в настоящем смысле слова, поскольку для животного, которому сознание тождества чуждо, это не тот же самый момент. Другое дело человек! Он может совершать акты объективации, и на этой основе у него и развивается сознание тождества.

Но на что опирается это расхождение между психикой животного и человека? Нет сомнения, оно опирается на ту кардинальную разницу, которая существует между животным и человеком, — на факт социальности человека. Дело в том, что человек живет и действует, т. е. существует, не только для себя, но и для другого. Он — социальное существо, бытие которого переходит за границы собственного существования и становится фактической действительностью и

для другого: особенно следует остерегаться того, чтобы опять противопоставить «общество», как «абстракцию», индивиду. Индивид — социальное существо. Поэтому проявление его жизни есть проявление и олицетворение социальной жизни. Нет сомнения, что в жизни социального существа — человека — по мере оформления социальности должно было формироваться и сознание объективного бытия. Способность объективации могла быть выработана лишь на базе социальности, потому понятно, что именно эта способность и составляет специфику психики человека.

Каковы же те перемены, которые должны были быть обусловлены этим обстоятельством?

В первую очередь это, конечно, то, что психика человека должна была развить свою активность на базе объективации. Мы видим, что это действительно так и случилось и человек стал владеющим речью, мыслящим существом. У него появились интеллектуальные функции, которые стали его руководящей силой.

Затем, вместе с этим и на базе той же объективации, в области человеческой активности обнаружилась новая перемена, имеющая, бесспорно, существенное значение. У человека выработалась воля, или способность свободно, следуя указаниям своего интеллекта, управлять своим поведением.

Таким образом, и интеллект и воля формируются на базе объективации. Однако не исключена возможность, чтобы дополнительно и восприятия и память установили с ней связь и в результате этого стали бы определенно активными процессами. Но для этого необходимо, чтобы с деятельностью этих функций было бы сопряжено и участие мышления, могущее дать определенно активный характер этим самим по себе пассивно протекающим процессам. В этом случае место такого рода пассивного восприятия занимает наблюдение и место не менее пассивной репродукции — активное воспоминание.

Таковы перемены, обнаруживающиеся в психике человека как социального существа.

Согласно этому легко видеть, что традиционная классификация душевных процессов на познавательные, эмоцио-

нальные и волевые совершенно не соответствует объективному положению вещей. Скорее всего, на психику следует смотреть с точки зрения развития, и тогда ошибочность позиции традиционной буржуазной психологии при анализе психических процессов станет бесспорной.

Но если это верно, то в таком случае мы должны различать два уровня психической активности — уровень установки, где мы, кроме аффективных, находим и ряд малодифференцированных перцептивных и репродуктивных элементов, и уровень объективации, где мы имеем дело с определенно активными формами психической деятельности — с мышлением и волей.

Уровень установки констатируется нами в обычных явлениях актов каждодневного поведения. Другое дело уровень объективации! Нам приходится подниматься на ее ступень лишь в тех случаях, когда перед нами вырастает какая-нибудь новая, более или менее сложная задача, требующая соответственно нового разрешения. В этом случае нам приходится сначала обратиться к акту объективации, а затем на ее основе и к мыслительным процессам, долженствующим помочь нам найти установку, реализация которой возлагается на нашу волю.

Таковы интересующие нас здесь особенности психологии человека, в корне отличающие ее от психологии животного.

К ВОПРОСУ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТИПАХ УСТАНОВКИ

Бесспорно, что указанные выше стороны активности установки требуют дальнейших, более детальных исследований, которые, нужно полагать, не только уточнят установленные выше дифференциально-психологические понятия, но откроют и ряд новых, которые, быть может, будут не менее продуктивны в учении об установке, чем уже указанные выше. Дальнейшие исследования в этом направлении представляются, безусловно, неотложными.

Но дифференциально-психологический аспект в учении об установке вовсе не исчерпывается изложением лишь тех пунктов, которых мы здесь сумели коснуться. Перед нами

стоит и ряд других вопросов, на которые мы имеем возможность дать более или менее удовлетворительные ответы. Сейчас я имею в виду поставить не какие-нибудь частные дифференциально-психологические вопросы, как мы это делали до сих пор, а вопросы более общего порядка — о типологической ценности нашего понятия установки, о типах установки отдельных индивидуумов.

Проследим прежде всего, являются ли выявленные нами выше отдельные стороны установки лишь случайными вариациями ее проявления или они представляют собой моменты единой структуры, находящей свое выражение в специфическом сочетании отдельных аспектов установки личности.

В результате изучения явлений этой категории в течение ряда лет у нас накопился большой материал, который не оставляет сомнения относительно ответа на этот вопрос. Мы можем считать совершенно бесспорным, что существуют специфические сочетания отдельных аспектов, которые, наряду со способностью объективации, характеризуют установку того или иного субъекта как представителя определенного типа.

Нет сомнения, вопрос этот является одним из безусловно существенных. Дело в том, что установка является самым важным моментом в деятельности человека, самым основным, на котором она — эта деятельность — вырастает; и если окажется, что существуют какие-то определенные типы активности установки, которые выступают в зависимости от индивидуальных особенностей субъекта этой деятельности, тогда придется признать, что установка имеет нечто вроде типологически отличающихся форм своего проявления и что, следовательно, перед нами возникает задача специального изучения этих форм.

1. Установка отдельных типов людей. Но как разрешить эту задачу?

По-видимому, вопрос разрешается довольно просто. Для этого нам необходимо подобрать достаточное число лиц, значительно отличающихся друг от друга типологически, составить из них, в результате наблюдений над ними, отдельные группы и приступить к исследованию фиксированной уста-

новки этих групп. Причем следует иметь в виду, что установка субъектов этих групп изучается во всех ее дифференциально-психологических проявлениях. В результате этого мы получим материал, достаточно полно характеризующий установку каждой из этих групп, и это даст нам возможность характеризовать людей с точки зрения особенностей их фиксированных установок.

В нашем распоряжении имеется достаточно обширный материал в этом роде, и на его основе мы могли бы разрешить стоящую сейчас перед нами задачу*. Мы нашли, что с точки зрения особенностей фиксированной установки людей можно разделить на три основные группы. Не учитывая особенностей ряда подгрупп, мы можем характеризовать первую группу как группу людей динамической установки или просто как группу динамических людей, вторую — как группу статичных и, наконец, третью — как группу вариабельных людей. Познакомимся с каждой из них.

1. *Динамичные люди.* Опыты по исследованию установки проводились и здесь обычным способом. Причем следует отметить, что опыты эти во всех случаях касались трех чувственных модальностей — зрительной, гаптической и мускульной. Изучалась фиксируемость установки в каждой из этих чувственных сфер отдельно, сначала у одной, самой многочисленной из отобранных групп, а затем и у остальных, сравнительно незначительных групп. Следует заметить, что в случае первой группы испытуемых, т. е. группы динамичных людей, мы получили вполне аналогичные картины состояния фиксированной установки во всех трех испытанных нами чувственных модальностях. Это обстоятельство можно считать одной из специфических особенностей, присущих лицам этой категории.

В частности, что касается прежде всего состояния возбудимости фиксации установки: оказалось, что лица этой группы начинают давать оптимум иллюзии во всех трех чувственных модальностях в общем при 15 установочных экспозициях. При увеличении либо уменьшении этого числа количество

---

* *В. Норакидзе.* Характер и фиксированная установка. 1948.

иллюзий начинает падать. Конечно, не все испытанные нами чувственные модальности дают точно одинаковое число иллюзий, но колебания в этих случаях столь незначительны, что они могут остаться вне внимания, и мы можем считать, что возбудимость фиксированной установки интересующей нас категории испытуемых вполне одинакова.

Итак, мы можем сказать, что возбудимость фиксированной установки у испытуемых, которые относятся к одной и той же группе, дает в основном одинаковую картину. Возбудимость эта не очень высокая, но и не очень низкая.

Однако существуют лица, которые хотя и очень близко стоят к этой основной группе, но типологически все же несколько отступают от нее, и возбудимость у них либо значительно выше возбудимости установки у основной категории наших испытуемых, или же, наоборот, значительно ниже ее. Наша основная категория испытуемых занимает в этом отношении среднее место (в то время как оптимум возбудимости установки у этих испытуемых равен 15, у других это число равно в одном случае 2, а в другом — 25–30).

Во вторую очередь нужно поставить вопрос о типах течения фиксированной установки у этой группы испытуемых. При анализе соответствующих данных, как, впрочем, и следовало ожидать, оказалось, что в группе наших испытуемых сильно преобладает тип пластичной и динамичной фиксированной установки (в среднем 83% во всех трех изученных чувственных модальностях). Остальные типы представлены у лиц этой группы в столь незначительных показателях, что их можно оставить без внимания. Нужно, однако, заметить, что к этой же группе испытуемых следует отнести и лиц с грубой динамической установкой, и тогда окажется, что громадное большинство наших испытуемых характеризуются динамичностью своей установки, и потому было бы уместно группу лиц этой категории обозначить как группу динамичных людей.

Перейдем к вопросу о прочности и стойкости этого типа установки у наших испытуемых. Результаты опытов показывают, что цифры в среднем для всех испытуемых колеблют-

ся в следующих границах: средний коэффициент в оптической сфере равен 13,5, в гаптической — 15,7 и в мускульной — 11,4. Это значит, что, несмотря на некоторую разницу числа данных, в общем все же есть основание утверждать, что фиксированная установка у наших испытуемых заметно стойкая.

Что касается вопроса о степени константности фиксированной установки, то она представляется в следующих цифрах: в оптической сфере — 87,8 %, в гаптической — 78,8 % и в мускульной — 37,8 %. Эти показатели достаточно высоки для того, чтобы мы имели право заключить, что фиксированная установка изучаемой нами категории лиц, как правило, достаточно константна.

Но она и стабильна в высокой степени: в оптической модальности 84,8 % наших испытуемых (их было 33) обнаруживают стабильную форму установки в течение ряда дней (5 серий опытов), в гаптической — почти все 100 % и, наконец, в мускульной — 87,8 %.

Данные о степени иррадиации установки оказались следующими:

а) в опытах с иррадиацией из зрительной области в гаптическую иррадиация констатируется у 75 % наших испытуемых, однако нужно отметить, что иррадиированная установка в этих случаях значительно слабая, что она выражается в сравнительно высоком коэффициенте случаев выступления ассимилятивных иллюзий, которые, как мы знаем, имеют место по преимуществу при слабой фиксации;

б) несколько ниже процент иррадиации в обратном направлении: фиксированная в гаптической области установка иррадиирует в зрительную область лишь в 67 % наших случаев; при этом она и здесь оказывается слабой, хотя не в такой степени, как в случаях иррадиации в обратном направлении, т. е. при иррадиации из зрительной в гаптическую область;

в) приблизительно так же часто встречаются случаи иррадиации из зрительной области в мускульную (66,3 %). Однако у некоторых из подтипов этой группы испытуемых эти случаи достигают высоких показателей (до 100 %).

7 Зак № 137

Наконец, иррадиация в обратном направлении, т. е. из мускульной модальности в зрительную, характеризует лишь 62% наших испытуемых. Как и следовало ожидать, особенно легко протекает она у тех лиц, которые обнаруживают их в максимальной степени в опытах в обратном порядке.

Таким образом, мы видим, что для испытуемых изучаемого сейчас нами типа людей характерна иррадиация установки из одной чувственной модальности в другую — иррадиация, достаточно экстенсивная, но в большинстве случаев продолжающая пребывать на сравнительно низких ступенях интенсивности.

Задавшись вопросом, какова же в целом фиксированная установка лиц, которых мы называем динамичными, можно уже сейчас подытожить данные по этому вопросу следующим образом: оптимум возбудимости фиксированной установки этих лиц колеблется в границах 10–15 установочных экспозиций; тип установки у них — динамичный, при этом она константна, стойка в средних границах, иррадиирована и интермодально стабильна.

Существуют дополнительные варианты этого типа испытуемых, но на них нет нужды специально останавливаться здесь, так как число их сравнительно невысокое и к тому же они отличаются от представителей нашего основного типа лишь в незначительной степени: показатели оптимальной возбудимости установки, ее стабильности и иррадиации у них несколько ниже, чем у представителей нашего основного типа, во всем же остальном они остаются в полной гармонии с ними.

Таким образом, мы видим, что в общем все представители обрисованного нами типа людей по данным отдельных сторон и форм фиксированной установки сходятся между собой достаточно близко для того, чтобы считать их представителями одного определенного типа установки.

Как видно из данных специальных наблюдений, мы можем без колебаний признать, что лица этой типологической группы обладают значительно развитой способностью объективации. Достаточно появиться необходимости актуализации этой способности, чтобы она пришла в активное состоя-

ние. Здесь следует обратить внимание как на специфику объективации динамичных субъектов на легкость ее актуализации и гладкость ее протекания. В этих случаях нет вовсе впечатления, что акты объективации наталкиваются здесь на значительные затруднения, которые нужно преодолеть для того, чтобы реализовать их в той или иной степени. Как мы увидим ниже, наши статичные испытуемые часто болезненно переживают внутреннюю борьбу за осуществление объективированных ими целей.

Итак, развитая способность объективации и готовность легко переключаться в направлении объективированных целей — вот что следует особенно подчеркнуть при характеристике людей динамической установки.

Но, наряду с лицами динамической структуры установки, представляющими преобладающее большинство людей — здоровых членов общества, встречаются и лица с установками, несколько отступающими от этой обычной нормы. Это прежде всего люди статической установки. В большинстве случаев это — энергичные члены общества, успешно справляющиеся со своими задачами. Они нередко обращают на себя внимание своей неутомимой активностью в работе, но тем не менее это все же люди, значительно отличающиеся от обычных здоровых представителей общества и специфически переживающие свою жизнь и деятельность. Интересно проследить, в каких формах протекает фиксированная установка этих людей.

2. *Статичные люди.* Что касается вопроса о скорости фиксации установки или ее возбудимости, то оказывается, что у преобладающего большинства интересующей нас категории лиц она оказывается значительно высокой: 88 % испытуемых фиксируют установку уже после двукратного предложения экспериментальных объектов. Однако в этом случае возникает, правда, грубая, но пока еще динамическая форма установки. Если же число установочных экспозиций довести до 5–10, то динамическая установка уступает место ее статической форме, и теперь данные большинства испытуемых показывают, что именно здесь мы имеем дело с оптимальным числом установочных экспозиций. Итак, мы можем считать,

что оптимальная возбудимость фиксированной установки исследуемой категории лиц равна 5–10 экспозициям.

Какие же формы установки являются преобладающими для исследуемой категории испытуемых? Данные опытов в разных чувственных модальностях показывают, что характерной формой установки для данной категории лиц является грубая статическая фиксированная установка. Именно она – эта форма установки – констатируется у исследованных субъектов чаще всего (89–100 %). Поэтому эту группу испытуемых, в отличие от динамичных, мы обозначаем как группу статичных людей.

Что же касается вопроса о константности установки, то она представлена почти во всех 100% случаев (от 90 до 100%). То же самое нужно сказать и о стабильности ее (100%). При этом нужно заметить, что почти во всех этих случаях (90%) установка сохраняет свой грубо-статический характер.

Наряду с этим оказывается, что фиксированная установка интересующей нас группы испытуемых иррадиирует в значительно широких масштабах: она распространяется с зрительной области на гаптическую и мускульную и с этой последней, наоборот, на зрительную и гаптическую области.

То же самое нужно сказать и относительно гаптической установки, которая без задержки переходит на остальные две сенсорные области. При этом нужно заметить, что иррадиирующая установка почти во всех случаях сохраняет форму грубо-статической. Характерно, что в громадном большинстве случаев выступает контрастная форма иллюзии, которая остается доминантной почти во всех случаях иррадиации установки.

Итак, мы можем заключить, что фиксированная установка статичных личностей сильновозбудима, грубо-статична, интермодальна, константна и достаточно широко иррадиирована.

Такова картина фиксированной установки статичных людей.

Но если оценить поведение этих людей, их деятельность в осуществление заданий, принимаемых ими на себя, то мы

должны признать, что в данном случае им приходится преодолевать внутреннюю противоречивость, пронизывающую их сущность. Если бы вся деятельность статичных людей протекала непосредственно по линии характеризующих их установок, то, нет сомнения, она представляла бы совершенно иную картину — мы имели бы перед собой подлинную картину поведения шизофреника. Но фактически этого нет, и в кругу статичных людей нередко можно найти деятелей с выдающимися способностями.

Спрашивается, чем объяснить это обстоятельство, что корригирует особенности статичных людей, делая их полезными деятелями общества?

Нет сомнения, что это делает объективация — способность, действующая у них с заметной силой. Эти люди оставляют впечатление, что деятельность их протекает по преимуществу под бдительным контролем их сознания. Им приходится постоянно задерживать импульсы своих установок и выбирать линии своей активности лишь после того, как на базе возникшей объективации мысленно признается ими целесообразность какого-нибудь из конкретных видов деятельности, а затем усилиями воли принимаются меры к проведению его в жизнь.

Статичные люди — люди объективации, которые прежде всего на этой базе становятся способными корригировать свою не совсем нормально структурированную сущность. Поэтому понятно, что акты объективации переживаются ими значительно более остро, чем людьми динамической структуры. Они сами жалуются на болезненность этих переживаний, на большое напряжение, к которому приходится им прибегать, чтобы выбрать и актуализировать установку, соответствующую той, которая на базе объективации была признана ими целесообразной.

3. *Вариабельные люди*. Обратимся наконец к исследованию установки третьей группы испытуемых — группы вариабельных людей. Нужно, однако, иметь в виду, что группа эта включает в себя по крайней мере две достаточно отличающиеся друг от друга подгруппы. Это — вариант *стабильных* и вариант *лабильных* людей.

Попытаемся выяснить наиболее существенные особенности установок этих групп.

А. *Вариабельно-стабильные лица.* Первая группа вариабельных людей — группа вариабельно-стабильных — отличается от других по преимуществу одной существенной особенностью. Они обращают на себя внимание значительно развитой силой своих потребностей, и поэтому поведение этих людей идет по линии активации установок удовлетворения этих потребностей. При фиксировании установки ведущую роль играет у них прежде всего субъективный фактор — сила потребностей, ищущих удовлетворения. Это соотношение факторов установки — преобладание субъективного фактора над объективным — накладывает свой специфический отпечаток на всю типологию установки вариабельно-стабильного человека. Попытаемся охарактеризовать вкратце эту установку.

Прежде всего следует выдвинуть далеко идущую ее вариабельность. Это значит, что люди этой типологической группы редко или почти никогда не обнаруживают признаков константности своих установок. Совершенно наоборот. Установка их варьирует от момента к моменту, выступая в самых разнообразных формах: то она является грубо-динамической, то пластико-динамической, то она выдвигается в форме пластико-статической, то в форме грубо-статической, часто имеет форму строго локализованной, иногда же достаточно широко иррадиированной установки. Словом, установка людей этой группы крайне вариабельна.

Но вариабельность установки характеризует и другую группу наших испытуемых. Спецификой же этой группы нужно признать стабильность ее варьирующих установок. Это значит, что вариабельная установка в этих случаях довольно прочно сохраняет свое содержание — она остается вариабельной в строго очерченных границах. Поэтому-то мы и говорим, что вариабельная установка этой группы людей отличается стабильностью. Если выразить в цифрах степень распространенности этих признаков среди наших испытуемых, то мы должны подчеркнуть, что в обоих случаях процент ее доходит до 100. Правда, каждый из этих признаков

установки представлен в разных чувственных модальностях не всегда одинаковыми численными показателями (например, стабильность установки в гаптике выше, чем в оптике), но разница здесь не столь велика, чтобы необходимо было специально считаться с ней.

Следовательно, особенностью лиц этой группы является то обстоятельство, что они могут на ряд существенно друг от друга отличающихся явлений реагировать одинаковыми установками, и наоборот, на ряд одинаковых ситуаций в разное время — разными установками. Допустим, например, что после пяти установочных экспозиций у субъекта вырабатывается грубо-статическая установка. Через некоторое время оказывается, что этот же субъект в тех же условиях дает грубо-статическую или пластико-статическую установку; может случиться и так, что в данном случае установка у него не фиксируется вовсе.

Не касаясь других сторон установки, которые отличаются теми же свойствами вариабельности и стабильности, я хочу остановиться на способности объективации наших вариабельно-стабильных субъектов. Опыты проводились с ними (5 испытуемых) по методу фиксации установки посредством чтения и письма. Возникающая в опытах задержка вызывала у испытуемого объективацию критического слова, в результате чего он фиксировал его достаточно определенно как русское слово. Однако испытуемый не оказался в состоянии написать это слово сразу как русское; он писал его в латинской транскрипции, как все еще латинское слово. Для того чтобы преодолеть импульс фиксированной установки и реализовать совершившийся факт объективации, испытуемому необходимо прибегнуть к довольно сильному напряжению. Только после такого напряжения он оказывается в состоянии сделать это.

Таким образом, мы можем заключить, что вариабельно-стабильный субъект достаточно легко совершает акты объективации. Но он оказывается не в силах столь же легко развить и волевые акты, необходимые для того, чтобы реализовать результаты этой объективации.

Б. *Вариабельно-лабильные люди.* Другую группу вариабельных субъектов представляют люди вариабельно-лабильных установок. В характеристику этой группы нужно выдвинуть в первую очередь обращающую на себя внимание слабость их потребностей. В противоположность первой группе вариабельных они характеризуются тем, что фиксируют свои установки под приоритетом ситуации, на базе которой возникают и закрепляются эти последние. Можно утверждать, что в установках этих людей внешний фактор играет более значительную роль, чем это имеет место в других случаях. Это обстоятельство накладывает на лиц вариабельно-лабильной установки специфическую печать, которая и выдвигает их в особую группу, отличающуюся от всех остальных групп наших испытуемых.

Какова же установка вариабельно-лабильных людей?

Прежде всего нужно подчеркнуть, что в данном случае мы имеем дело лишь с подгруппой вариабельных людей. Следовательно, нет нужды специально подчеркивать, что установку и этих людей нужно характеризовать как вариабельную. Специфическую особенность их установки нужно видеть прежде всего в ее лабильности, доходящей чуть ли не до 100 % всех случаев (фактически до 96 %). Они обнаруживают различные формы протекания своих фиксированных установок: чаще слабую, но иногда и сильную пластико-динамическую или грубо-динамическую установку, иногда, в некоторых случаях, и грубо-локальную или грубо-иррадиированную. Бывает и так, и притом нередко, что установка этой группы испытуемых не фиксируется вовсе.

Не лишено интереса, что и возбудимость установки этих людей вариабельна: она меняется от субъекта к субъекту, давая достаточно далеко расходящиеся данные. При этом установка ограничивается областью ее первоначального возникновения: она не распространяется на другие чувственные модальности, иррадиирует слабо, хотя и не всегда локально ограничена (показатели иррадиации — от 36 до 21 %).

Особенно следует иметь в виду сильную лабильность наших испытуемых: фиксированная установка у них сохраня-

ет силу часто не более одного часа, нередко даже меньше этого времени.

Не исключается возможность фиксации установки и на базе представления. Но она крайне слаба и обусловливает не более одной-двух иллюзий. Согласно с этим проявляется у них и способность объективации, которая лишь сравнительно редко приводится в деятельное состояние для целей задержки импульсивных актов поведения.

Нельзя не видеть, в какой степени ярко отражаются эти особенности установки во всем поведении лиц вариабельной установки. Но на этом мы не можем здесь остановиться. Мы выдвигаем этот вопрос лишь для дальнейшего детального исследования.

2. Объективация как независимая от установки сила. Все эти три группы наших испытуемых отличаются друг от друга значительно своеобразными особенностями фиксированных установок. Если наиболее крупная из этих групп — группа динамической установки — представляет собой преобладающее большинство наших испытуемых, то относительно двух остальных групп — группы статической и группы вариабельной установок — этого сказать нельзя. Они объединяют в своих рядах лишь незначительное число испытуемых.

Тем не менее все же нужно признать, что люди — обычные работники, строители жизни — значительно отличаются друг от друга по типу своих установок. Однако эта разница большой роли не играет. Если, несомненно, наиболее приспособленными следует считать людей динамической установки, то и две остальные группы играют не менее значительную роль. Правда, если судить по типу установок, этого нельзя было бы ожидать от них. Но фактически лица этих групп, особенно люди статической установки, обычно хорошо справляются со своими задачами и в ряде случаев занимают выдающееся положение в обществе.

Мы видели, что это объясняется активностью объективации, представленной в той или иной степени у всех наших испытуемых. Это можно сказать особенно относительно двух последних групп. Конечно, способность объективации пред-

ставлена и у динамичных субъектов. Но у них она активируется легко и действует без напряжения, так что обращает на себя не много внимания. Что же касается лиц двух остальных групп, то акты объективации, как мы видели выше, осуществляются у них с заметным затруднением. И это потому, что развивающимся на их базе актам мышления и воли приходится преодолевать силу природных импульсов — силу импульсов статических или вариабельных установок — и вызывать к жизни стремление к целесообразной активности, часто противоречащей импульсам этих установок.

Таким образом, если судить по результатам этого рода деятельности, нельзя видеть разницу между лицами, представляющими значительно расходящиеся типы установки. Они все могут стоять на одинаково высоких ступенях производительности. Такова роль активности на базе объективации, свойственной представителям всех этих установочных типов.

Это дает нам возможность утверждать, что способность объективации освобождает человека от прямой зависимости от природных установок и открывает ему путь к независимой объективной деятельности. Она дает ему силу самостоятельного, объективно обоснованного воздействия на обстоятельства и управления ими; она освобождает человека от прямой, безусловной зависимости от природы и помогает ему стать независимой от нее силой, способной управлять ею.

Однако природные особенности человека, в данном случае особенности его установки, продолжают в нем существовать, но они продолжают существовать в нем в снятом виде и, следовательно, ведущего значения в деятельности человека более не имеют. На уровне объективации человек становится как бы независимой от своей природы силой и начинает управлять обстоятельствами в согласии с объективно с ними связанными особенностями.

Но природная установка человека все же дает себя чувствовать. Она находит свое выражение в личных переживаниях субъекта и воздействует на него в определенном, специально ей соответствующем направлении. Лица статической, как и лабильной установок имеют свои личные переживания,

которые в общем можно бы было характеризовать как достаточно тяжелые.

Возникает вопрос: насколько постоянна, неизменяема установка субъекта? Насколько подвержена она влиянию обстоятельств и не остаются ли по этой причине лица с этой установкой жертвой этой последней на всю свою жизнь?

3. Проблема константности установки у человека. Если допустить, что люди рождаются с определенными установками или же приобретают их в жизни раз навсегда и окончательно, то тогда, конечно, не остается сомнения в константной, неизменной природе наших установок. Если же, наоборот, считать, что установка находится в существенной зависимости от условий, в которых она возникает, определяется и фиксируется в них, то в таком случае придется признать, что она ни в какой степени не относится к разряду раз навсегда данных, неизменных категорий.

Достаточно поставить этот вопрос, чтобы ответ на него стал для нас совершенно бесспорен. Именно, если судить об установке по характеру условий, необходимых для ее возникновения, то не подлежит сомнению, что она не может относиться к категории врожденных, раз и навсегда данных сущностей, потому что как понятия потребности, так и среды относятся к группе явлений, зависимых от постоянно меняющихся условий существования организма.

Следовательно, уже одного анализа условий возникновения установки достаточно для того, чтобы видеть, что раз навсегда разграниченных, фаталистически предопределенных установок не существует.

Тем не менее мы попытаемся обратиться к фактам наблюдения, чтобы выяснить, нет ли там данных, подтверждающих правильность этого положения.

Мы должны проследить случаи, в которых, ввиду резко изменившихся условий жизни, сам субъект преобразился бы радикально, с тем чтобы выяснить, что произошло с типическими особенностями фиксированной установки — остались ли они нетронутыми или и они подверглись специфическим изменениям, соответствующим наличным типологическим сдвигам у данного индивида.

Мы имеем ряд наблюдений, которые показывают, что такие случаи действительно встречаются*. В жизни некоторых из изученных нами лиц имели место события крупного общественного значения, которые одновременно тесно были связаны и с личной судьбой этих лиц. События эти, как оказалось, сыграли в жизни этих людей роль факторов, произведших глубокий переворот в структуре их личности: лица с вариабельным характером оказались динамически или статически установленными, как и наоборот, динамичные или статичные люди вдруг стали типичными носителями особенностей вариабельного человека. Сделать эти наблюдения не оказалось трудным, поскольку вопрос касается лиц, исследованных сначала в довоенные годы, а затем вторично в годы после войны, в которой некоторые из этих людей принимали прямое участие.

Из этого материала мы приведем здесь случай, который, вообще говоря, можно было бы считать типичным. Одна из испытуемых — она подробно была изучена в годы до начала Отечественной войны — производит впечатление сильного, убежденного, социально и заодно альтруистически настроенного человека. Она берется за дело энергично и решительно и обычно с успехом завершает его. По всем признакам перед нами человек с решительной волей и твердым характером. Она не поддается своим увлечениям, как бы они ни были сильны, и всегда готова помочь нуждающемуся. Словом, перед внешним наблюдателем стоит человек с сильными социальными и альтруистическими тенденциями, готовый решительно и стойко бороться за их осуществление. Но стоит пристальнее вглядеться в нашу испытуемую, чтобы сейчас же убедиться, что в данном случае мы имеем дело лишь с внешней видимостью, что на самом деле она представляет собой полную противоположность тому, чем она кажется. Можно утверждать, что здесь мы имеем чуть ли не завершившийся факт полного разрыва между делом и внутренним миром человека.

---

* *В. Норакидзе*. Указ. соч.

Исследование фиксированной установки этого субъекта показывает, что она грубо-статична, иррадиирована, константна и интермодально-стабильна.

Но вот через семь-восемь лет после этого мы еще раз встречаемся с тем же субъектом. За эти годы в жизни ее произошла значительная перемена: муж ее пошел на фронт, и она осталась одна. Застигнутая неожиданными событиями, она быстро втянулась в заботы о своих детях, об их воспитании и здоровье. Ее индивидуалистические и эгоистичные тенденции начали отступать, и в ней вырос сильный, альтруистически и социально настроенный индивид, окончательно освободившийся от былой своей раздвоенности. Внутренний разлад прошел, по-видимому, бесследно, и перед нами встала вполне гармоничная личность, не чувствующая в себе ровно ничего из былых своих внутренних терзаний. Если судить по всему этому, то в испытуемой произошел перелом, и конфликтный субъект стал вполне гармоничным человеком.

Интересно посмотреть, что же произошло с ее установкой. Осталась ли она все той же или в ней произошли какие-нибудь перемены?

Опыты показывают, что и установка нашей испытуемой подверглась резким изменениям. Вместо грубо-статического испытуемая оказывается пластико-динамически установленным субъектом. В этом отношении она стала совсем другим человеком. Что же касается других моментов установки, то здесь она осталась менее изменившейся: фиксированная установка у нее стабильна, иррадиирована и интермодально-константна, хотя и в ограниченных пределах — следы вариабельности в какой-то, правда незначительной, степени, но пока еще все же прослеживаются у нее.

Таким образом, мы видим на этом примере, что типологическая структура установки человека не представляет собой ничего рокового и неизменного. Наоборот, она может подвергаться существенным изменениям: например, статически установленный субъект может стать динамически установленным. Но для этого необходимы более или менее резкие переломы в окружающих человека условиях, изменения, выходящие за рамки обычного течения его жизни.

Таких примеров немало. Однако необходимы дальнейшие исследования, которые должны показать ближе, в каких условиях возникают эти изменения и в каких направлениях они протекают.

4. Область установок у человека. Допустим, что акт объективации завершился и возникший на ее базе процесс мышления разрешил задачу во вполне определенном смысле. За этим обычно следует стимуляция установки, соответствующей разрешенной задаче, а затем и усилие для целей ее осуществления, ее проведения в жизнь. Таков чисто человеческий путь психической деятельности.

Возникает вопрос: не считать ли в процессе активности психической жизни человека этот путь единственно необходимым путем, который не оставляет более места для непосредственной активности установки?

Выше, при анализе проблемы объективации, мы пришли к выводу, что субъект обращается к ее актам только в том случае, когда в этом возникает необходимость — когда он стоит перед задачей, не поддающейся разрешению под непосредственным руководством установки. Но если этого нет, если задача может быть разрешена и непосредственно, на базе установки, то в таких случаях в активности объективации нет нужды и субъект обходится лишь мобилизацией соответствующих установок.

Допустим, что задача впервые была разрешена на базе объективации. В таких случаях, при повторном выступлении той же или аналогичной задачи, в объективации нет более нужды и она разрешается на базе соответствующей установки. Раз найденная установка может пробуждаться к жизни и непосредственно, помимо впервые опосредовавшей ее объективации. Так растет и развивается объем установочных состояний человека: в него включаются не только непосредственно возникающие установки, но и те, которые когда-то раньше были опосредованы актами объективации.

Круг установок человека не замыкается такого рода установками — установками, опосредованными случаями объективации и возникшими на ее основе собственными актами мышления и воли. Сюда нужно отнести и те установки, ко-

торые впервые когда-то были построены на базе объективации других, например творчески установленных субъектов, но затем они перешли в достояние людей в виде готовых формул, не требующих более непосредственного участия процессов объективации. Опыт и образование, например, являются дальнейшими источниками такого же рода формул. Им посвящается специальный период в жизни человека — школьный период, захватывающий все более и более значительный отрезок времени нашей жизни. Но обогащение такого же рода сложными установками продолжается и в дальнейшем — опыт и знание человека беспрерывно растут и расширяются.

Таким образом, расширение области человеческих установок в принципе не имеет предела. В нее включаются не только установки, развивающиеся непосредственно на базе актуальных потребностей и ситуаций их удовлетворения, но и те, которые возникали когда-нибудь на базе лично актуализованных объективаций или были опосредованы при содействии образования — изучения данных науки и техники.

Если иметь все это в виду, то станет ясно, до какой степени далеко стоят друг от друга области установок человека и животных. Ведь эти последние не знают объективации, и у них не может быть опосредованных ею установок. Животное ограничивается лишь областью фиксированных в его жизни установок, и притом установок, в значительной степени диффузных, не в пример человеку, установки которого дифференцируются чем дальше, тем тоньше.

Поэтому не может быть сомнения, что установка констатируется и у животных и активность их строится на ее базе, но это не значит, что животное отождествляется с человеком. Возникающая у общественного человека объективация резко меняет состав и характер его установок. Поднимая человека на высокие ступени развития, она содействует дальнейшему осложнению, уточнению и дифференциации и его непосредственно актуальных установок.

Таким образом, разница между человеком и животным в области установки является, несомненно, существенной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подведем итоги сказанному. На человеческой ступени развития мы встречаемся с новой особенностью психической активности, с особенностью, которую мы характеризуем как способность *объективации.* Она заключается в следующем: когда человек сталкивается в процессе своей активности с каким-нибудь затруднением, то он, вместо того чтобы продолжать эту активность в том же направлении, останавливается на некоторое время, прекращает ее, с тем чтобы получить возможность сосредоточиться на анализе этого затруднения. Он выделяет обстоятельства этого последнего из цепи непрерывно меняющихся условий своей активности, задерживает каждое из этих обстоятельств перед умственным взором, чтобы иметь возможность их повторного переживания, объективирует их, чтобы, наблюдая за ними, решить наконец вопрос о характере дальнейшего продолжения активности.

Непосредственным результатом этих актов, задерживающих, останавливающих нашу деятельность, является возможность воспризнания их как таковых — возможность идентификации их: когда мы объективируем что-нибудь, то этим мы получаем возможность сознавать, что оно остается равным себе за все время объективации, что оно остается самим собой. Говоря короче, в таких случаях вступает в силу прежде всего *принцип тождества.*

Но этого мало! Раз у нас появляется идея о тождественности объективированного отрезка действительности с самим собой, то ничто не мешает считать, что мы повторно можем переживать эту действительность любое число раз, что она за все это время остается равной себе. Это создает психологически в условиях общественной жизни предпосылку для того, чтобы объективированную и, значит, тождественную себе действительность обозначить определенным наименованием; короче говоря, это создает возможность зарождения и развития речи.

На базе объективированной действительности и развивающейся речи развертывается далее и наше *мышление.* Это

оно представляет собой могучее орудие для разрешения возникающих перед человеком затруднений, оно решает вопрос, что нужно сделать для того, чтобы успешно продолжать далее временно приостановленную деятельность. Это оно дает указания на установку, которую необходимо актуализировать субъекту для удачного завершения его деятельности.

Но для того чтобы реализовать указания мышления, нужна специфически человеческая способность — способность совершать волевые акты — необходима воля, которая создает человеку возможность возобновления прерванной активности и направления ее в сторону, соответствующую его целям.

Таким образом, мы видим, что в сложных условиях жизни человека, при возникновении затруднений и задержке в его деятельности, у него активируется прежде всего способность *объективации* — эта специфически человеческая способность, на базе которой возникают далее идентификация, наименование (или речь) и обычные формы мышления, а затем, по завершении мыслительных процессов, и акты воли, снова включающие субъекта в целесообразном направлении в процесс временно приостановленной деятельности и гарантирующие ему возможность удовлетворения поставленных им себе целей.

Объективация — специфически человеческая способность, и на ее базе существенно усложняется и запас фиксированных у человека установок. Нужно иметь в виду, что установка, опосредованная на базе объективации, может активироваться повторно, в соответствующих условиях, и непосредственно, без нового участия акта объективации. Она включается в круг имеющихся у субъекта установок и выступает активно, наряду с прочими установками, без вмешательства акта объективации. Таким образом, становится понятным, до какой степени сложным и богатым может сделаться запас человеческих установок, включающих в себя и те, которые были когда-нибудь опосредованы на базе объективации.

IV. УСТАНОВКА В ПСИХОПАТОЛОГИИ

О ЦЕЛОСТНОСТИ ОСНОВЫ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ

1. Постановка проблемы. В настоящее время можно считать окончательно установленным, что в основе психотических и психоневротических состояний лежит не какая-нибудь определенная аномалия частного характера, не заболевание в сфере каких-нибудь отдельных психических функций, а некоторый целостный процесс, касающийся патологической личности как целого. Поиски болезненных симптомов в области отдельных психических функций, можно сказать, не приводят к положительному результату.

Сенсорные функции остаются все теми же функциями, так же как и другие психические функции, представленные у человека. Словом, с уверенностью можно сказать, что нередко бывает, что в случаях психических заболеваний сами психические функции как таковые остаются нетронутыми и в основном могли бы функционировать так же, как и в нормальном состоянии.

Патологическим, по-видимому, является не какая-нибудь отдельная функция, а нечто, имеющее более основное, более целостное, личностное значение. Можно полагать, что болезнь поражает в этом случае не какие-нибудь отдельные функции, а саму личность, оперирующую ими. Поэтому нет ничего удивительного, что в случаях заболеваний или просто снижений отдельных психических функций — сенсорных, моторных или даже, быть может, и интеллектуальных — личность в общем продолжает оставаться в границах нормы.

Поэтому наиболее яркие формы проявления психоза следует искать не в отдельных психических или каких-нибудь других функциях больного человека, а скорее в его целостной личностной структуре.

Из всего того, что мы узнали выше об установке человека, мы имеем основание полагать, что психическое заболевание должно найти свое выражение в изменениях этой целостной структурной сущности.

Это предположение ставит перед нами задачу изучить установку у человека при разных психотических состояниях.

2. О методе изучения установки у больных. Имеющийся в нашем распоряжении метод исследования установки касается в основном лишь ее фиксированных форм. Поэтому мы принуждены и в этом случае ограничиться изучением фиксированной установки наших больных. Но метод наш, как, впрочем, и всякий другой экспериментальный метод, принципиально допускает у испытуемого наличие готовности подвергнуться испытанию и, значит, следовать указаниям экспериментатора. Нормальные испытуемые не представляют в этом отношении никаких затруднений: они легко понимают задачу и готовы исполнить все требования руководителя. Другое дело опыты с психически больными. Они не всегда способны считаться с желанием экспериментатора, и поэтому обычная структура опытов, предполагающая готовность испытуемого подвергаться исследованию, мало подходит для этих случаев. Естественно, возникает вопрос, как выйти из этого затруднения?

В опытах с животными мы пользуемся тем, что предлагаем им корм, который достаточно энергично активирует их деятельность. Быть может, в том же направлении следовало бы построить и опыты с психически заболевшими людьми! Но в случаях обострения приступа и при этих условиях не всегда можно ждать успеха.

Поэтому мы решили ограничиться, пока у нас других возможностей не имеется, лишь теми данными, которые можно получить у больных в сравнительно спокойном состоянии. В этом случае у нас нет необходимости внести какие-либо более или менее существенные изменения в структуру наших обычных опытов; в основном они протекают и здесь в своей обычной форме.

ШИЗОФРЕНИЯ

Займемся прежде всего больными шизофренией. Их мы изучали и раньше*. Но предметом систематических

* *К. Д. Мдивани.* Фиксированная установка при шизофрении. 1936.

исследований шизофрения стала у нас лишь в последнее время. Сейчас ею занимается весь состав патопсихологического отделения нашего института, и мы используем здесь некоторые из результатов его исследований, чтобы попытаться разрешить стоящую перед нами проблему о состоянии фиксированной у шизофреника установки и о той роли, которую она у него играет.

1. Результаты опытов по установке шизофреника. В работе сотрудника И. Т. Бжалава* мы имеем достаточно большой материал, который дает нам возможность поставить интересующий здесь нас вопрос. Всего было исследовано 195 больных. Из них 32, т. е. 14,5 % общего числа больных, оказались в состоянии, исключающем возможность использования их в качестве испытуемых. По той или иной причине, хорошо известной в клинике шизофрении (состояние остропсихотического переживания, деградация и т. д.), не оказалось возможным актуализировать у них желание следовать указаниям руководителя опытов, т. е. вызвать у них «потребность» увидеть задачу в условиях опыта и попытаться дать соответствующую реакцию. Поэтому эти 32 больных должны были выпасть из общего числа испытуемых.

Другую группу составляли больные, которые лишь временами соглашались следовать указаниям экспериментатора и обыкновенно давали данные, в достоверности которых никогда нельзя было быть уверенным. И эти лица (их 30 человек, т. е. 13,1 %) выпадают из общего числа наших испытуемых.

Если из общего числа испытуемых (195 человек) исключить представителей этих двух групп, т. е. 62 человека, мы получим все же достаточно высокую цифру больных (133 испытуемых), на данных которых можно было бы базироваться при исследовании типических форм установки шизофреника.

Прежде всего следует отметить, что из результатов опытов обращает на себя внимание в первую очередь факт расщепленности фиксированной установки шизофреника в

---

* *И. Т. Бжалава.* Фиксированная установка больных шизофренией. 1947.

зависимости от реципирующих органов, используемых в каждом отдельном случае. Мы знаем, что в норме фиксированная установка действует совершенно одинаково, независимо от того, какие органы принимают участие в рецепции воздействующих на субъекта раздражителей. В неотобранной массе испытуемых не имеет значения, в какой чувственной сфере стимулируется фиксированная установка — в гаптической или оптической; в обоих случаях мы получаем практически одинаковое число иллюзий. Правда, в оптической сфере число случаев иллюзий несколько ниже, чем в гаптической, но в норме разница эта не настолько значительна, чтобы нужно было бы специально считаться с ней.

Зато в случаях опытов с одной из групп наших больных эта разница столь чувствительна, что она невольно обращает на себя внимание. Так, группа больных в 37 человек, т. е. 16,4 % всех случаев, дает до того явную диссоциацию установки в зависимости от разницы реципирующих органов, что пройти мимо этого факта без должного внимания не представляется возможным. А именно: в то время как все 100 % этих испытуемых (все 37 человек) фиксируют установку в гаптической области, в зрительной это удается сделать лишь 16 лицам (43,2 %).

Таким образом, факт диссоциации в области этих двух реципирующих органов не вызывает сомнения; причем зрительная сфера оказывается менее подверженной фиксации установки, чем сфера гаптическая. Мы здесь особо подчеркиваем этот факт, с тем чтобы потом, при изучении установки в случаях эпилепсии, иметь его в виду.

Если из общей массы испытуемых выделить этих 37 лиц, характеризующихся столь явной диссоциацией установки в зрительной и гаптической областях, и отдельно проследить все доступные нам стороны действия их фиксированной установки, то мы получим значительно расходящиеся данные и в некоторых других случаях (табл. 17), а именно: показатель возбудимости фиксации установки в гаптической сфере значительно выше (75,6 %), чем в оптической (37,5 %). Разница между этими сферами, впрочем, видна и со стороны динамичности: в то время как оптически фиксированная

установка представляет собой динамическую форму в пределах 75,6 %, гаптически фиксированная характеризуется гораздо менее значительной цифрой (13,5 %). Зато заметно чаще она выступает в форме статической фиксированной установки (86,5 %).

Наконец, резко различаются обе эти сенсорные сферы и константностью фиксации установки: в гаптической области она представлена 65 % испытуемых, в то время как в оптической мы имеем всего лишь 25 %.

В остальных отношениях, как это видно из табл. 18, существенной разницы между показателями фиксированных установок, по-видимому, нет. Так что если характеризовать фиксированную установку этой группы больных по преобладающим в обеих чувственных модальностях ее формам, то мы должны будем сказать, что эта фиксированная установка отличается грубостью, прочностью, лабильностью и локальностью. Что же касается остальных особенностей установки — ее возбудимости, статичности и константности, то в гаптической области они представлены в высоких показателях, в то время как в оптической они остаются лишь на низких ступенях своего развития.

Следовательно, мы могли бы характеризовать интересующую нас группу шизофреников в целом как людей по преимуществу грубой, лабильной, локальной и достаточно проч-

Таблица 17

	Гаптическая установка		Оптическая установка	
	абсолют. число	%	абсолют. число	%
Возбудимость	28	75,6	5	37,5
Статичность	32	86,5	4	25,0
Константность	24	65,0	4	25,0
Локальность	34	91,9	11	68,8
Прочность	32	86,5	8	50,0
Грубость	28	75,6	15	93,7
Стабильность	10	27,1	7	43,7

ной установки. Если же к этому прибавить и те особенности, которые являются доминирующими лишь в одной — гаптической — области, то в таком случае нам пришлось бы назвать дополнительно и легкость возбудимости, константность и особенно статичность фиксированной установки.

Остается последняя, самая многочисленная группа больных шизофреников (96 человек, т. е. 42,6 % всех случаев), которая существенно отличается от только что рассмотренной нами и потому должна быть выделена особо. Разница прежде всего заключается в том, что в этом случае, в противоположность предшествующему, нет никакой диссоциации между состоянием фиксированной установки в исследованных нами сенсорных областях: данные об установке в гаптической сфере в основном и существенном целиком совпадают с данными об установке в области зрения. Но это положение оказывается верным лишь в том случае, если достигнуть степени оптимальной фиксации установки в обеих чувственных модальностях, а для этого достаточно бывает обычно 15 установочных экспозиций. Если эффект фиксации в гаптике в этих условиях доходит до 100 %, то в оптике он не ниже 81,2 %. Цифры эти настолько близки друг к другу, что мы имеем основание утверждать, что в условиях оптимальной фиксации установка в обеих этих сенсорных областях дает приблизительно одинаковые показатели.

Разница между этими сенсорными областями выступает лишь в степени их возбудимости. Зрительная сфера значительно отстает в этом отношении от гаптической: при двух экспозициях в гаптике установка фиксируется в 96,4 % всех случаев, тогда как при том же числе установочных экспозиций в зрительной области число случаев фиксации не превышает 58,3 %. Однако это обстоятельство не является существенным, и оно может быть оставлено здесь без внимания.

Обратимся к детальному сличению данных установки в обеих сенсорных модальностях и в других отношениях. Табл. 18 включает в себя результаты всех опытов, проведенных с этой целью.

Обращает на себя внимание в первую очередь крайне низкий уровень показателей пластических и динамических форм установки. Мы можем утверждать, что установка

Таблица 18

Установка	Гаптическая установка		Оптическая установка	
	абсол. число	%	абсол. число	%
Статическая	94	98,0	72	75,0
Динамическая	2	2,0	6	6,2
Грубая	82	85,9	69	72,0
Пластическая	17	14,1	9	9,3
Константная	73	76,0	53	55,2
Вариабельная	23	24,0	25	26,0
Стабильная	70	72,9	50	52,0
Лабильная	26	27,1	28	30,0
Иррадиированная	96	100,0	96	100,0
Локальная	–	–	–	–
Прочная	94	98,0	69	72,0

шизофреника изучаемой нами группы статична и груба. Но наряду с этим она прочна и особенно сильно иррадиирована. Менее решительные показатели имеем мы по отношению к константности и стабильности установки шизофреника.

Таким образом, мы видим, что фиксированная установка изучаемой нами группы шизофреников должна быть характеризована как грубая, прочная, статичная и иррадиированная установка, которая в большинстве случаев бывает константной и стабильной.

Мы находим, таким образом, что наши больные распадаются на две значительно отличающиеся друг от друга самостоятельные группы. Для того чтобы яснее представить себе их различие, сопоставим данные обеих этих групп, причем для ясности картины ограничимся лишь показателями гаптической сферы установки (табл. 19).

Табл. 19 показывает (в процентах), что при наличии сходства между двумя группами наших испытуемых есть и зна-

Таблица 19

Установка	I группа	II группа	Установка	I группа	II группа
Динамическая	13,5	2,0	Иррадиированная	8,1	100,0
Статическая	86,5	98,0	Локальная	91,9	100,0
Пластическая	24,4	14,1	Прочная	86,5	98,0
Грубая	75,6	85,9	Стабильная	27,1	72,9
Константная	65,0	76,0	Лабильная	72,9	27,1
Вариабельная	35,0	24,0			

чительная разница между ними. Разница эта касается прежде всего показателей иррадиации установки: в то время как у представителей первой группы этих показателей почти нет вовсе (8,1 %), у представителей второй группы она — иррадиация — представлена во всех случаях без исключения (100 %). Это наиболее существенное различие, которое можно констатировать у представителей обеих этих групп наших испытуемых.

Но наряду с этим они отличаются и со стороны стабильности установок: в то время как испытуемые первой группы характеризуются чаще лабильной установкой (72,9 %), представители второй группы, наоборот, в такой же степени отличаются ее стабильностью.

Во всем остальном установка обеих этих групп дает приблизительно одинаковые показатели. Обращает на себя внимание разве только сравнительно значительная разница между показателями случаев наличия пластичных и динамичных форм установки: в то время как испытуемые второй группы мало или почти совсем их не имеют (14,1 % и 2 %), в первой группе они представлены сравнительно более высокими показателями (24,4 % и 13,5 %).

Что же можно сказать относительно обеих этих групп шизофреников? Нет сомнения, что прежде всего данные иррадиации установки проводят резкую разграничительную

линию между ними. Правда, во многом остальном они мало отличаются друг от друга, но разница по линии иррадиации столь значительна, что вряд ли было бы обоснованно оставить ее без должного внимания. Если, с одной стороны, все 100% лиц второй группы обращают на себя внимание иррадиированностью своей установки, то в первой группе, если не считать трех испытуемых, все без исключения являются носителями локальной установки. Конечно, это явление ни в какой степени нельзя считать нормальным, так же как ненормально и наличие 100 % глубокой иррадиации установки у лиц второй группы. Но оно резко противоположно этой же особенности лиц второй категории, т. е. громадного большинства испытанных здесь шизофреников.

Если принять во внимание существенную важность этой особенности установки в случае шизофрении, тогда придется допустить, что лица первой категории не относятся, во всяком случае, к типичным представителям этого заболевания, и все наше внимание нужно сосредоточить на представителях второй группы. Нам придется считать, что это они являются наиболее типичными шизофрениками и что и картину динамики их фиксированной установки следует считать специфически шизофренической. Из общего числа испытанных в данном случае больных (133 лица) к этой последней группе, т. е. к группе истинных шизофреников, относятся 96 человек (73 %), а к первой группе — лишь сравнительно небольшое число подвергшихся испытанию больных, именно 37 человек (27 %).

Таким образом, мы находим, что значительное большинство лиц (73 %), подвергшихся нашему экспериментальному исследованию, является константным носителем прочной, грубой, статической, стабильной иррадиированной установки. Это дает нам основание считать, что при интересующем нас здесь заболевании выступают, как правило, именно эти формы фиксированной установки.

В таком случае нужно допустить, что в основе шизофрении лежит, между прочим, и специфическое изменение в действии фиксированной установки больного — изменение ее в сторону грубости, статичности и иррадиированности.

Это было бы бесспорно, если бы мы не знали случая наличия тех же форм установки и у лиц, которых к настоящим шизофреникам отнести нет никаких оснований. Выше, при типологическом анализе нормальных испытуемых, мы видели, что, несомненно, существует группа лиц, установка которых отличается как раз грубостью, статичностью и иррадиированностью, т. е. именно теми особенностями, что и фиксированная установка основной массы наших шизофреников. Однако это не мешает им оставаться в ряду здоровых людей и вести вполне нормальный образ жизни. Это — группа так называемых *статичных* субъектов. Следовательно, не может подлежать сомнению, что вскрытые нами формы деятельности установки шизофреников не могут считаться достаточной основой их психического заболевания.

Это значит, что необходимо искать эту основу, быть может, в другом направлении. Дело в том, что анализ установки наших больных еще не вполне закончен и мы должны сейчас обратиться к изучению специфической, чисто человеческой формы установки, к тому, что мы называем объективацией.

Итак, что знаем мы относительно способности объективации при шизофрении?

2. Объективация у шизофреника. Нельзя считать, что эта способность в настоящее время уже изучена нами в достаточной степени. Сейчас имеются лишь начальные попытки ее исследования, и мы можем использовать полученные данные, чтобы попытаться разрешить стоящий перед нами вопрос.

В качестве метода экспериментального исследования объективации шизофреника было использовано следующее*.

Испытуемый получает ряд отдельных слов (числом 8) на знакомом ему языке. Это делается для того, чтобы фиксировать у него установку на чтение на данном языке. Девятое слово предлагается в критическом опыте. Оно написано тем же шрифтом, что и установочные слова, но взято из лексикона

---

* *В. Квиникадзе.* Акт объективации у шизофреников. 1947.

другого языка, не того, к которому относятся слова установочных рядов. Затем повторяются снова эти последние (по три слова в ряду), а за ними следуют по два критических слова в каждом опыте. Слова экспонируются при помощи обычного мнемометра.

Само собой разумеется, испытуемый должен быть в состоянии подчиниться указаниям экспериментатора и иметь готовность выполнить точно его задание. Оно формулируется следующим образом: «Смотрите сюда в окошечко! Здесь будут показываться слова. Читайте их громко!» Восьми установочных слов оказывается достаточно для того, чтобы фиксировать установку на чтение их на соответствующем языке, т. е. на языке этих установочных слов. Но следующее слово относится уже не к тому языку, на который только что фиксировалась установка. Следовательно, здесь может иметь место или беспрепятственное восприятие письменного изображения этого слова, но без всякого осознания его значения, или сейчас же за его чтением — факт некоторой задержки, остановки на нем, — оно должно выпасть из стройного ряда установочных слов и сделаться предметом специального наблюдения, должно быть *объективировано* испытуемым, с тем чтобы выяснить, что это за слово.

Коротко: условия опыта таковы, что они могут стимулировать у испытуемого акт объективации, который дает ему возможность рефлексии о природе данного слова. Но, как мы видели, испытуемый может поступить и иначе: он может пропустить критическое слово без специальной на нем задержки, может обойтись без его объективации. Само собой разумеется, для точного выполнения условий этих опытов акт объективации необходим, и нормальные субъекты, подвергшиеся испытанию в аналогичных условиях, всегда обращаются к нему — этому акту объективации. Что касается шизофреников, то эти опыты вполне доступны им и они, следовательно, могут быть использованы для испытания способности их обращаться в необходимых условиях к актам объективации, а затем на их основе и к актам мышления.

В качестве испытуемых были взяты больные — шизофреники, изъявившие готовность выполнить все поручения экс-

периментатора, вытекающие из условий опытов. Ниже мы приведем результаты испытаний 52 больных, среди которых были случаи кататонической и параноидальной шизофрении, как и гебефрении, парафрении и simplex'а.

Каковы же результаты, полученные на этих больных?

Они могут быть формулированы следующим образом: в то время как способность полной объективации оказывается налицо всего лишь у 9 больных (17 % из общего числа наших испытуемых), во всех остальных случаях встречаются уже другие разновидности реакции на предложенные испытуемым задачи. Чтобы понять смысл этих данных, остановимся на них несколько подробнее.

Прежде всего нужно отметить, что все 9 лиц, у которых удается обнаружить способность объективации, производят в этих опытах в общем впечатление нормальных людей. Когда они читают критическое слово (например, в ряду грузинских какое-нибудь русское слово), они несколько приостанавливаются и повторяют его два-три раза, причем в конце концов уже в русском произношении. Совершенно не остается сомнения, что им все же удается объективировать его. Поведение этих лиц в данном случае ни в чем существенном не отличается от поведения нормальных людей, если не считать разве только того, что процесс объективации происходит здесь не сразу, а обычно в результате некоторой более или менее заметно выраженной задержки.

К числу этих же лиц можно было бы отнести еще 2 испытуемых, если бы им удалось более или менее продолжительно задерживаться и сосредоточиваться на объективированном ими содержании. Но это оказывается для них невозможным: они сейчас же упускают из виду совершенный ими же акт объективации, так что исключается всякая возможность развернуть на ее основе соответствующие процессы мышления.

К этой же группе можно присоединить дополнительно еще 7 испытуемых, которым определенно удается совершить акт объективации, но лишь временами и урывками: то они оказываются в силах сделать это, то нет. Во всяком случае, нет никаких оснований вполне отказать им в этой

способности: она у них налицо, но активация ее не всегда в их власти.

Если обратиться сейчас к испытуемым другой категории, т. е. лицам, которые не могут вовсе объективировать воздействующие на них раздражения, то здесь придется отметить наличие определенного числа групп, отличающихся друг от друга в ряде существенных особенностей.

Прежде всего обращает на себя внимание группа испытуемых (9 лиц), которые разрешают предложенную им экспериментальную задачу всегда безошибочно и без задержки; они ясно переживают языковое различие установочных и критических слов, т. е. знают, что одни из них русские, а другие, например, грузинские. Нужно полагать, в данном случае мы имеем дело с испытуемыми, у которых установка в условиях наших опытов не фиксируется, и по этой причине им легко удается избегать ошибок, легкодопустимых в условиях факта фиксации установки.

Другая группа испытуемых (13 лиц) оказывается способной читать предложенные ей ряды слов без всякой задержки, но сейчас же обнаруживается, что лица этой группы совершенно не осознают значения прочитываемых ими слов. Если бывает, что они прочитывают какое-нибудь из слов неправильно, а иногда даже коверкают его, то они этого не замечают и, не делая никаких поправок, продолжают читать дальше. Таким образом, в этом случае мы имеем дело с лицами, сознание которых как бы выключено из процесса чтения, поскольку этот последний представляет собой активную работу мысли, гарантирующую понимание значений, связанных с графическим изображением слов.

Следующая далее группа испытуемых (12 лиц) в результате установочных опытов получает значительную фиксацию установки, которая принимает определенно статическую форму. Критические слова воспринимаются ими как слова, взятые из лексикона установочных рядов; например, критическое слово «гора» они воспринимают как грузинское слово «гора». Эти лица остаются во власти своих актуальных установок, не будучи в силах обратиться к актам объективации.

Таким образом, строго говоря, лишь 17 % наших испытуемых обнаруживают в условиях опытов способность объективации. Остальная же их масса оказывается, в той или иной степени, не в силах обратиться, когда это нужно, к актам объективации и развернуть на ее базе процессы мышления.

Но здесь может возникнуть вопрос: не является ли это заключение специфичным лишь для условий наших опытов? Ведь в них дело касается довольно сложного акта — чтения слов, и притом слов, взятых из лексикона не одного, а двух языков (установочные слова относятся к одному, а критические к другому из известных испытуемому языков). Поэтому было бы целесообразно повторить те же опыты в более доступных испытуемым условиях.

По этим соображениям в другой серии опытов больным предлагается составленная из 17 отдельных частей мозаичная постройка, и они должны определить, что она собой представляет. В случае, если испытуемый затрудняется в этом, ему оказывается нужная помощь. Когда испытуемый дает удовлетворительный ответ, ему говорят: «Это сооружение я сейчас разрушаю! Вы должны его восстановить!» По разрушении постройки к куче полученного в его результате материала мы прибавляем, незаметно для испытуемых, три-четыре отдельные единицы, которые мало чем отличаются от остальных экземпляров этой кучи. Испытуемый пытается в этих условиях восстановить разрушенную постройку.

Удовлетворяют ли условия этих опытов требованиям, предполагающим обязательное наличие способности объективации? Когда испытуемому предлагают восстановить ту же постройку, у него обычно появляется готовность сделать это. Но для того, чтобы разрешить задачу, не оказывается достаточным взять любую фигуру и положить ее на любое место. Для разрешения задачи требуется нечто большее — требуется специально разглядеть фигуру, испытать ее не только со стороны формы, но и объема, чтобы найти ей надлежащее место. Таким образом, чтобы правильно разрешить задачу, у испытуемого возникает потребность объективации отдельных единиц мозаики. Условия опытов, следовательно, имеют в виду способность объективации. К ней должен

обратиться испытуемый, чтобы удовлетворительно разрешить стоящую перед ним задачу.

Поскольку опыты эти не предъявляют никаких специальных требований к знаниям и умениям испытуемого, они отличаются от экспериментов с чтением и могут быть квалифицированы как более подходящие при работе с лицами с психическими заболеваниями. Недостаток опытов, однако, следует видеть в том, что они слишком явно стимулируют потребность объективации; опыты построены так, что с самого начала заставляют испытуемого внимательно рассмотреть каждый отдельный элемент, чтобы найти ему соответствующее место в целом мозаики.

Каковы же результаты этих опытов с нашими больными? Как и следовало ожидать, опыты сильно стимулируют больных к актам объективации. Больные с самого начала оказываются вынуждены осмыслить особенности каждой данной фигуры с точки зрения места, которое им принадлежит в целом. Оказывается, что большинство больных (42 человека) относятся именно к этой группе испытуемых. Значительно меньше число больных, вовсе не объективирующих находящиеся перед ними фигуры; они подбирают какую-нибудь фигуру и помещают ее куда попало; таких больных мы нашли не более трех. Наконец, 6 человек оказались в таком состоянии, что, ввиду проявленного ими негативизма, опыты с ними не дали результатов.

Однако внимательный анализ поведения первой группы испытуемых показывает, что способность объективации представлена у них не в одинаковой степени и что в общем большинство обнаруживает более или менее значительный дефект в активировании этой способности. Мы могли бы сказать, что способность объективации в достаточно полной мере представлена лишь у 15 испытанных нами больных. Характерно, однако, что в этой группе встречается сравнительно большое число лиц, относящихся с определенным недоверием к своим силам: им кажется, что они не в силах разрешить предлагаемые им задания, и этим они несколько отличаются от вполне нормальных людей.

Еще дальше отступают от нормы представители последующих групп наших испытуемых. Можно различать несколько таких групп, обнаруживающих некоторые своеобразные особенности при разрешении стоящих перед ними экспериментальных задач. Одни из них стоят ближе к возможности разрешения этих задач, другие — дальше. Но для них всех характерна одна особенность: они затрудняются разрешить стоящие перед ними задачи — им просто не удается это сделать, несмотря на то что в некоторой помощи экспериментатор им не отказывает. Они жалуются, что не привыкли или просто не могут исполнить заданий, которые касаются скорее инженера, но не их. «Это дело инженера», — заявляют наши испытуемые. Можно думать, что это заявление не лишено оснований, что в данном случае испытываются действительно специально конструктивные способности, а не просто способности к объективации. Но внимательный анализ показывает, что интерес экспериментатора здесь вовсе не направлен на установление степени правильности возводимых больными конструкций: они могут быть и не совсем правильными. Интерес его заключается лишь в том, чтобы увидеть, насколько обнаруживает испытуемый способность совершать акты объективации для того, чтобы на их основе делать попытку возведения объективируемых им конструкций.

Нужно иметь в виду, что среди испытуемых встречаются иногда и такие, которым ровно ничего не стоит разрешить поставленную перед ними задачу: они быстро и беспрепятственно возводят требуемые от них конструкции. Им удается это сделать без необходимых для этого актов объективации, они импульсивно выполняют задание. Это специально одаренные люди, которые могли бы быть мастерами дела, если бы они отдались ему. В нашем случае речь идет не о них. Мы говорим лишь о людях, которым удается разрешить предлагаемые им задачи лишь в том случае, если они найдут в себе способность обратиться к акту объективации тех сторон конструкций, которые им прямо или непосредственно не даются. Задача заключается не в выяснении степени конструктивных способностей наших испытуемых, а лишь в их

8 Зак № 137

умении сделать некоторые из сторон конструкций специальным объектом своего наблюдения, с тем чтобы получить возможность развернуть мышление на этой основе и таким путем найти наиболее надлежащий способ разрешения стоящей перед ними задачи.

Нет нужды специально останавливаться здесь на всех попытках разрешения задачи, к которым прибегают наши испытуемые. Отмечу только, что наиболее часто встречаются случаи, когда больные, приступив к решению задачи, сразу же останавливаются на каком-нибудь, часто недостаточно обоснованном способе ее разрешения, но «детерминирующая тенденция», которая появляется у них в данном случае, оказывается слишком слабой — она меркнет, прежде чем приводит к актам решения задачи, уступая, таким образом, место непосредственным, импульсивным актам поведения. В общем, получается определенное впечатление, что наши испытуемые не способны достаточно продолжительно удержаться на ступени объективации для того, чтобы суметь развернуть на ее основе свои мыслительные способности и прийти к удовлетворительному разрешению задачи. Они быстро соскальзывают с этого состояния. Так случается, что задача ими не разрешается и они, утомившись, в конце концов вовсе отказываются от дальнейших попыток в этом направлении.

Таким образом, мы видим, что наши больные и в этих опытах не оказываются способными дать нам что-нибудь существенно новое сравнительно с тем, что мы получили от них выше в опытах с текстом.

Что же говорят нам эти данные в целом? Как в первом, так и во втором случае мы встречаемся с некоторым, хотя и незначительным, числом лиц, которым как будто и удается правильно и сравнительно легко разрешить предлагаемые им задачи. Однако если внимательно приглядеться к этим случаям, то принуждены будем сказать, что здесь перед нами состояние, в котором наши больные хотя и оказываются более или менее адекватными ситуации, но сравнительная поверхностность их суждений все же не оставляет

сомнения в том, что мы имеем дело с не вполне нормальными субъектами.

Еще яснее это видно в опытах с остальными больными, которым, собственно, вовсе не удается разрешить предложенные им задачи, хотя все они и обнаруживают более или менее определенную готовность сделать это. Как мы видели, они принимают предложение экспериментатора, обнаруживая желание выполнить его, но не оказываются в силах сделать это: главным образом потому, что им не удается сосредоточиться на задаче. Словом, во всех этих случаях чувствуется явно выраженная недостаточность способности объективации.

Итак, мы можем заключить, что в случаях шизофрении мы имеем дело с более или менее явным дефектом способности объективации, и нужно полагать, что это служит одной из психологически понятных причин своеобразного снижения поведения больного.

Выше, при описании состояния объективации, мы убедились, что это — одна из наиболее существенных особенностей психологии человека. Анализ поведения шизофреника показывает, что патология в этом случае несомненно затрагивает и эту способность: объективация шизофреника становится определенно дефективной. Но если это так, то это значит, что в этом случае мы имеем дело с явлениями глубоких изменений в психической жизни больного — мы имеем дело со снижением уровня, на котором работает психика нормального человека. Выше мы говорили относительно планов психической жизни вообще и видели, что у человека, ввиду наличия способности объективации, следует различать несколько таких планов. Отсюда становится понятным, что вся система психической жизни человека должна стать иной — она должна совершенно перестроиться, если лишить ее способности объективации. В случае шизофрении мы имеем дело несомненно, хотя и не исключительно, с явно выраженным актом поражения этой способности.

Но значит ли это, что шизофреник, лишившись способности объективировать явления и развивать акты своей деятельности на высоком уровне, этим самым снижается просто

до уровня нормальной психической жизни животного? Достаточно поставить этот вопрос, чтобы сейчас же дать на него отрицательный ответ.

Шизофреник, конечно, продолжает быть человеком, но человеком, лишенным того, что является специфической особенностью его психики; он продолжает быть больным, ненормальным человеком.

Нужно помнить, что заболеванию предшествует достаточно длительный период нормального развития. Следовательно, заболевает более или менее сложившийся, нормальный человек. На базе установившейся способности объективации у него развивается интеллект — способность логического мышления — и затем, или наряду с ним, и воля — эта основа регулированного, истинно человеческого поведения. Когда начинает разрушаться способность объективации, естественно, прекращается нормальная работа и всех этих систем, базирующихся на ее основе: и интеллект и воля становятся формами психической активности, лишенными своего обычного нормального основания. Будучи лишены его, и мышление и воля начинают проявляться в патологических формах деятельности, и это продолжается до исходных состояний шизофрении, в которых они постепенно снимаются, и больной все ближе и ближе подходит к состоянию животного, с которым его, однако, никогда в полной мере нельзя идентифицировать.

Дальнейшие исследования должны показать, как широко и в каких направлениях и формах находит свое отражение этот основной сдвиг в психике шизофреника. Они же должны сосредоточить внимание и на разрешении проблемы о специфике этого сдвига.

3. Типологические основы шизофрении. При попытке типологической классификации людей, ведущих жизнь в нормальных условиях, мы остановились на мысли о необходимости разделить их в основном на три большие группы: на группу *динамичных*, группу *статичных* и группу *вариабельных* людей. Строго говоря, истинно нормальными следовало бы признать группу *динамичных* людей, тогда как *статичных* вместе с *вариабельными* нужно было бы отнести к категории

субъектов, в той или иной мере отступающих от обычной нормы.

Однако анализ поведения последних показывает, что течение их жизни обычно не выходит из нормального русла и они остаются в общем вполне приспособленными людьми. Более того, не исключена возможность, что в кругу этих лиц встречаются люди, которые по уровню своей одаренности и степени талантливости нередко превосходят обычных средних представителей группы динамичных людей. Поэтому, конечно, нет оснований исключить их из числа нормальных субъектов, строителей общечеловеческой жизни.

Это обстоятельство, однако, не исключает вопроса об отношении того или иного типа нормального человека к той или иной форме психического заболевания. Перед нами возникает именно этот вопрос в отношении шизофрении: не встречаются ли среди здоровых типов и такие люди, которые по структуре своего характера особенно близко стояли бы к шизофрении и в случае заболевания должны были бы в основном пополнять ряды шизофреников?

Выше, при изучении типов людей, достаточно ярко отличающихся друг от друга, мы имели случай говорить относительно той группы субъектов, которых коротко можно бы было назвать группой лиц статической установки. В результате изучения их фиксированной установки выяснилось, что все они характеризуются прочной, константной, грубой, статической, стабильной, иррадиированной установкой.

Это значит, что группа нормальных испытуемых со статической установкой является носительницей в общем такой же фиксированной установки, как и основная группа больных шизофреников: их установка, как мы видели выше, также прочна, константна, груба, статична, стабильна и иррадиированна.

Но, само собой разумеется, можно констатировать и существенную разницу, которая имеется между ними. При анализе субъектов со статической установкой мы обратили внимание, что они обычно отличаются достаточно резко выраженной объективацией — способностью, на базе которой вырастают специфически человеческие функции интеллек-

та и воли. Вмешательство этих могучих видов активности, покоящихся на базе объективации, открывает субъекту возможность нормального руководства своей жизнедеятельностью.

Но допустим, что способность объективации поражается. В таком случае мы должны допустить и факт снижения интеллекта и воли. Можно сказать, что в этих условиях функции эти снижаются и субъект остается в распоряжении лишь тех форм фиксированной установки, которые вообще характеризуют людей этой группы. Это значит, что поведение их в основном будет развиваться непосредственно на базе представленной у них фиксированной установки, т. е. точно такой, которая характерна для лиц, пораженных шизофренией.

Таким образом, становится понятным, что основной фонд, из которого пополняются ряды шизофреников, это прежде всего люди статической установки.

ЭПИЛЕПСИЯ

Результаты нашего анализа шизофрении и выводы, к которым мы пришли, ставят перед нами вопрос: не следует ли искать основ и других психических заболеваний в том же направлении, что и в случае шизофрении? В частности, этот вопрос мы ставим прежде всего в отношении эпилепсии. Гиляровский, заканчивая главу о сущности этого заболевания, спрашивает: «В каком отношении к существу болезни находятся особенности характера эпилептика? Что между этими сторонами клинической картины существует определенная связь, не подлежит никакому сомнению. Можно думать, что характер, как и вообще психические особенности, это — что-то основное, фон, на котором развивается наклонность к судорожным формам реакции»*.

Имея в виду понимание проблемы типологической структуры человека, мы, естественно, вполне поддерживаем предлагаемую здесь постановку вопроса и спрашиваем себя: не следует ли искать основы интересующего нас заболевания в

* *В. А. Гиляровский.* Психиатрия. 1938. С. 368.

том же направлении, в котором мы ее нашли в случае шизофрении? Иначе говоря, нет ли каких-нибудь специфических изменений в установке эпилептика, которые могли бы иметь отношение к сущности его заболевания?

1. Фиксированная установка эпилептика. Вопрос этот приводит нас к необходимости поставить наши опыты фиксированной установки над больными-эпилептиками. Это уже сделано несколько лет назад нашим сотрудником И. Т. Бжалава*, и мы коснемся здесь лишь основных результатов его опытов, поскольку они имеют непосредственное отношение к поставленному здесь вопросу.

Исследованию подверглись 100 больных генуинной или эссенциальной эпилепсией. Результаты этих опытов оказались не во всех случаях одинаковыми. Определенно выяснилось, что среди больных следует различать три группы, из которых каждая дает в основном особую картину протекания фиксированной установки. Причем выяснилось, что группы эти представлены в количественном отношении среди испытуемых больных далеко не одинаково: в то время как одна из них включает в себя 72 % всего состава испытуемых, другая ограничивается 20 %, а третья — 8 %.

Какова же картина фиксированной установки первой группы испытуемых? Иначе, какова картина установки громадного большинства больных эпилепсией?

Если проследить полученные данные по отдельным сторонам установки, мы получим следующую картину.

Возбудимость фиксированной установки. Она оказалась у наших больных довольно неодинаковой. Первая, основная, группа больных (72 человека, т. е. 72 % общего числа больных) на 2–3 установочные экспозиции дает статическую установку, но эта установка в 45 % всех случаев оказывается пластичной, т. е. она меняет свою форму, проявляясь то в виде контрастной, то в виде ассимилятивной иллюзии. Это число установочных опытов указывает нам на нижний порог возбудимости установки у нашей группы испытуемых. Если

---

* *И. Т Бжалава.* К психопатологии эпилепсии (клинико-психологич. исследование): Дис. д-ра психол. наук. 1944.

мы увеличим число установочных экспозиций до 5, то получим во всех случаях (100%) сплошь грубую статическую установку. При этом оказывается, что дальнейшее увеличение числа установочных экспозиций — вплоть до 15 — нисколько не меняет этой картины: установка остается грубой, статической. Это обстоятельство дает нам основание считать, что оптимальная возбудимость установки у этой основной группы эпилептиков достигается 5 установочными экспозициями.

Вторая группа больных (20% общего числа испытуемых) обращает на себя внимание тем, что у нее нижний порог возбудимости совпадает почти в полной мере с ее оптимальным порогом; у этой группы больных установка фиксируется в результате 2–3 экспозиций, и этого вполне достаточно для того, чтобы фиксация оказалась оптимальной. Таким образом, порог оптимальной возбудимости здесь несколько ниже, чем у лиц первой группы испытуемых.

Наконец, остальные 8 испытуемых показывают несколько своеобразную картину: 37% из них, т. е. 3 субъекта, дают типичную для себя фиксированную установку на 2–3 установочные экспозиции. Для остальных пяти лиц для первых признаков фиксации, т. е. ее нижнего порога, необходимо по крайней мере пять установочных экспозиций, а для установления оптимального порога число этих последних должно быть доведено до 10.

Это значит, что данная группа больных занимает особое место — она включает в себя лиц различной меры возбудимости фиксированной установки: у одних она не выше 2–3 экспозиций, а у других она доходит до 10.

Таким образом, мы находим, что основная масса наших больных (72%) достигает типичной формы своей фиксированной установки уже в результате 5 установочных экспозиций. Остальные две незначительные группы имеют другие показатели — 2–3 и 10 экспозиций.

Ликвидируемость фиксированной установки. Вопрос о ликвидации установки в результате повторного воздействия критических экспозиций представляет самостоятельный интерес. Как всегда, так и в этом случае ликвидируемость уста-

новки измеряется числом критических экспозиций, необходимых для того, чтобы испытуемый освободился от фиксированной установки и перешел к адекватному восприятию действующих на него раздражений. В наших опытах оказалось, что ликвидируемость установки не у всех эпилептиков одинакова. Из трех групп наших испытуемых первые две дают сплошь одинаковые показатели, а именно: если давать испытуемым этих групп оптимальное число установочных опытов (обычно 15 экспозиций), то все они окажутся носителями *статической* установки. Это значит, что ни один из наших больных не оказывается в силах пробиться к констатированию равенства критических объектов, т. е. ни один из них не оказывается в силах освободиться от действия фиксированной у него установки и получить возможность адекватного восприятия действующих на него раздражителей. Нужно при этом иметь в виду, что это положение остается в силе если не при всяком числе критических экспозиций, то во всяком случае при 50–100 экспозициях.

Другое дело — испытуемые третьей группы! Они с самого же начала оказываются в силах пробиться к правильной оценке действующих на них раздражений. Вместо статической у них оказывается установка динамическая, которая и дает им эту возможность.

Но число лиц этой группы слишком незначительно. Их всего восемь человек, т. е. 8 % всего числа испытуемых, в то время как остальные 92 % дают сплошь показания, указывающие на статический характер их фиксированной установки.

Если принять во внимание, что нормальные испытуемые дают обычно почти только показатели динамической установки, то станет бесспорно, что в данном случае мы имеем дело с явным дефектом.

Итак, мы можем сказать, что вопрос о ликвидируемости фиксированной установки у эпилептиков разрешается отрицательно: их характеризует явно статическая форма фиксированной установки.

Фазы фиксированной установки эпилептика. Как мы уже знаем, нормальный испытуемый в процессе критических экспозиций обнаруживает ступенчатую изменяемость своей

установки, которая, проходя несколько фаз, уступает место установке, адекватной данной ситуации.

Иначе обстоит дело в случаях эпилепсии. Опыты с больными показывают, что они и в этом отношении значительно отличаются от здоровых людей. Именно оказалось следующее: у эпилептиков, как правило, с самого же начала выступает безусловно контрастная форма иллюзии. Это значит, что установка их фиксируется в сильной степени, несмотря на то что число установочных опытов может и не превышать пяти. Характерно, что, несмотря на сравнительно незначительное число установочных экспозиций, фаза этих контрастных иллюзий оказывается необычайно продолжительной; она не подвергается каким-нибудь более или менее заметным изменениям и в таком виде продолжает доминировать у испытуемых, не уступая своего места какой-нибудь другой установке, отличающейся от нее по степени или качеству.

Так, фиксированная установка эпилептика отличается своей грубостью — она всегда контрастна — и, значит, и большой силой, поскольку не допускает выступления ассимилятивных форм.

Характерно, что это явление остается в силе не только в отношении какой-нибудь отдельной группы наших испытуемых, но и в отношении ко всем названным выше трем группам. Следовательно, грубость — это наиболее общая черта установки эпилептиков.

Объединив полученные до этого результаты, мы можем охарактеризовать эпилептика как человека с легковозбудимой, грубо-статической фиксированной установкой.

Иррадиация установки. Вопрос о степени иррадиации установки, как мы знаем, исследуется в основном следующим образом: установочные экспозиции производятся в одной чувственной модальности, например в гаптической, а критические — в другой, например зрительной, и, в зависимости от полученных результатов, мы судим о степени иррадиации установки из одной сенсорной сферы в другую. В результате такого рода опытов у наших эпилептиков получены следующие результаты.

Лица первой группы испытуемых почти не имеют случаев иррадиации из гаптической области в зрительную (всего таких случаев не более 4 %). Несколько больше случаев иррадиации в противоположном направлении: из зрительной области установка иррадиирует у 18 % наших испытуемых.

На основании этих данных мы можем характеризовать установку эпилептиков первой группы в основном как установку *локальную*, почти лишенную свойства иррадиации.

Лица второй группы представляют полную противоположность этому: мы видим, что иррадиация у них представлена во всех случаях максимально высокими показателями (100 %).

Если сравнить эти цифры с данными третьей группы испытуемых, то мы увидим, что нигде эти группы так близко не подходят друг к другу, как в этом случае: иррадиацию из гаптической области в зрительную дают 62,5 % испытуемых, а из зрительной в гаптическую — 50 %.

Таким образом, в опытах на иррадиацию мы впервые получаем результаты, в которых вторая и третья группы, дававшие до этого всегда далеко расходящиеся результаты, сравнительно близко подходят друг к другу. В общем обе эти группы обращают на себя внимание большой способностью иррадиации установки, тогда как первая группа, т. е. основная группа эпилептиков, наоборот, радикально отличается от них резко выраженной локальностью своей фиксированной установки. Мы можем сказать, что эта группа эпилептиков (72 % общего числа исследованных в этом случае больных) занимает совершенно самостоятельное место, поскольку иррадиация установки в той или иной степени представляет собой общее явление для двух остальных категорий наших испытуемых.

Естественно возникает вопрос: насколько далеко распространяется эта способность у эпилептиков? Мы ведь имеем возможность измерить локализацию установки в еще более узких границах — можем проверить, не иррадиирует ли установка, фиксированная в одном из имеющихся у нас парных органов (глаза, руки, ноги), и на другой член пары.

Эти опыты протекают следующим образом: испытуемый сравнивает между собой одинаковые по весу, но отличающиеся друг от друга по объему шары, но делает это так, что задача возлагается на одну из рук; в установочных опытах он поднимает левой рукой сначала малый, потом большой шар, чтобы сравнить их между собой (и эти опыты повторяются 15 раз). Затем, в критических опытах, он получает равные шары один за другим в правую руку с заданием сравнить их сукцессивно между собой. Приблизительно то же самое делается и в зрительной области: испытуемый получает тахистоскопически два круга различной величины один за другим, причем он воспринимает их одним глазом, в то время как другой глаз он держит в это время закрытым. За этим следуют критические опыты; в них принимает участие только другой глаз — тот, который в установочных опытах оставался закрытым, и испытуемый после 15 таких экспозиций сравнивает между собой пару следующих друг за другом равных кругов. Совершенно аналогичные опыты можно построить и для других чувственных модальностей.

Результаты этих экспериментов оказались вполне аналогичными данным, полученным в описанных выше опытах.

У лиц первой, наиболее многочисленной, группы установка не иррадиирует с одной руки на другую или с одного глаза на другой. Она остается ограниченной пределами своего первоначального возникновения — пределами того глаза или той руки, которые принимали непосредственное участие в установочных опытах.

Таким образом, мы можем сказать, что установка преобладающего большинства наших испытуемых не иррадиирует, она остается строго локально ограниченным состоянием.

Совершенно иную картину представляют данные второй группы испытуемых. Здесь, как мы видели выше, установка, фиксированная в одной какой-нибудь сенсорной области, беспрепятственно иррадиирует в другую область; например, установка, закрепленная в гаптической сфере, распространяется и на зрительную, и наоборот. Само собой разумеется, то же самое нужно сказать и относительно корреспондирующих органов. Словом, феномен иррадиации установки представ-

лен у лиц второй группы (20 % всего числа наших испытуемых) во всех случаях почти без всякого исключения.

Наконец, третья группа больных — самая незначительная из всех (8 %) — занимает совершенно своеобразную позицию. Оказывается, что, во-первых, они дают в этих опытах не всегда одинаковые результаты, т. е. нет ни одного испытуемого, который давал бы во всех вариациях опытов те же показания; если, например, опыт касается корреспондирующих органов (например, рук) и иррадиация здесь оказывается актуальной, то это не значит, что то же самое будет иметь место и при испытании другой пары корреспондирующих органов или же разных сенсорных областей (скажем, гаптической и оптической). Во-вторых, если, несмотря на эти особенности отдельных испытуемых, мы все же учтем все случаи иррадиации установки, имевшие место в опытах с этой группой лиц, то найдем, что число их доходит до 50 % как при испытании корреспондирующих, так и других независимых органов. Все это указывает, что данные этой незначительной группы испытуемых при характеристике общей массы больных могли бы быть оставлены без внимания.

О стабильности фиксированной установки эпилептика. Характерные особенности эпилептика — ярко выраженная его неподвижность и непластичность — дают себя чувствовать по всей линии действия его фиксированной установки. Прежде всего это следует отметить с точки зрения продолжительности ее во времени, с точки зрения ее стабильности. Соответствующие опыты показывают, в какой высокой степени она характеризуется этой особенностью. Нам интереснее всего в первую очередь познакомиться с основной группой эпилептиков. Результаты экспериментального исследования этой группы вскрывают нам характерные особенности, в одинаковой степени относящиеся ко всем ее членам без исключения. Оказывается, что фиксированная установка у них отличается высокой степенью стабильности и притом без малейших признаков вариабельности, а именно: если испытать у эпилептика фиксированную у него установку через день, два и т. д., то она оказывается сохранившейся без видимых

изменений. То же самое остается в силе и через недели и даже месяцы после дня фиксации данной установки.

Таким образом, фиксированная установка эпилептиков оказывается неизменно стабильным, сохраняющимся в течение месяцев феноменом.

Но в данном случае речь идет лишь относительно основной группы наших испытуемых. Спрашивается: можно ли сказать то же самое и относительно остальных двух групп?

Что касается испытуемых второй группы, то данные опытов с ними показывают, что они совершенно не отличаются от представителей основной группы: они, так же как и эти последние, дают все 100% одинаково высокостабильной установки.

Иначе обстоит дело с третьей группой. Представители ее и в этом случае отступают от остальных наших испытуемых. Стабильной оказывается здесь установка лишь у 62,5% всего состава группы. Остальные 37,5% представляют случаи более или менее лабильной установки.

Таким образом, мы видим, что из 100 наших испытуемых 92 являются носителями крутостабильной, в продолжение месяцев действующей фиксированной установки.

Константность фиксированной установки эпилептика. Данные относительно стабильности установки эпилептика достаточно определенно указывают на несомненный факт ее константности. Тем не менее специальное исследование этого вопроса у наших больных все же нельзя считать излишним. Мы знаем, что константность установки измеряется числом повторных опытов через определенные промежутки времени (обычно через каждые 24 часа), в которых установка обычно не меняется ни в каком отношении. В нашем случае опыты, включавшие по 15 установочных экспозиций, повторялись через каждые 24–48 часов 7 раз. Результаты их суммированы (в процентах) в табл. 20.

Мы видим, что испытуемые первой, т. е. нашей основной, группы все без исключения сохраняют фиксированную установку в течение 5 суток. То же делают и лица второй группы: они и в этом случае идут рука об руку с испытуемыми первой группы больных. Другое дело третья группа. Она и здесь

Таблица 20

Типы установки	1 сутки	2 суток	3 суток	4 суток	5 суток
I	100	100	100	100	100
II	100	100	100	100	100
III	100	62,5	75,0	62,5	62,5

стоит особняком: в то время как через сутки все 100 % испытуемых характеризуются той же установкой, что и раньше, через двое суток дело меняется, и число таких испытуемых спускается сразу до 62,5 %, т. е. до шести лиц, и это сохраняется вплоть до конца опытов, если не считать третьих суток, когда процент испытуемых опять поднимается до 75.

Прочность фиксированной установки при эпилепсии. Какова же прочность фиксированной установки у наших больных? На этот вопрос можно было бы дать более или менее точный ответ на основании данных, имеющихся у нас в результате исследования других особенностей установки эпилептика. Но он был разработан в специальных опытах, и для того, чтобы иметь точные данные, обратимся к результатам этих опытов*.

Во всех этих группах наших испытуемых число критических экспозиций было увеличено до 100. Первая, основная, дала бесконечный ряд обычных реакций — иллюзий контраста, и не оказалось в этом ряду ни одного случая, чтобы у кого-нибудь возникла реакция равенства или ассимилятивная иллюзия. Это значит, что прочность фиксированной установки при эпилепсии не подлежит сомнению — она дает исключительно высокие показатели.

Те же результаты были получены и в опытах со второй группой больных. Но третья группа дает и здесь совершенно другую картину: несмотря на значительное увеличение числа критических экспозиций (у 5 лиц из 8), природа реакций не меняется и установка продолжает оставаться все время

* *И. Т. Бжалава.* К психопатологии эпилепсии.

грубо-динамической. Но у 3 испытуемых мы получаем несколько иную картину: при увеличении числа установочных экспозиций до 30 сначала на некоторое время они дают сплошь ряд контрастных иллюзий, но в конце концов (через 30–50 таких опытов) и они возвращаются к своему обычному типу реакций.

Таким образом, эта группа испытуемых и здесь продолжает занимать особое положение, зато все остальные оказываются субъектами исключительно твердой фиксированной установки.

2. Специфика фиксированной установки эпилептика. Чтобы подвести итоги всему сказанному и попытаться дать характеристику фиксированной установки эпилептика, мы должны сначала разобраться в вопросе о значении для нашей цели данных этих трех групп испытуемых.

Поскольку данные третьей группы почти во всех отношениях отклоняются от данных двух остальных групп и притом группа эта включает в себя лишь незначительное число лиц (не более 8), то при характеристике эпилептика материал этот можно оставить без внимания.

Что касается второй группы испытуемых, то хотя она во многих отношениях и дает те же результаты, что и первая, но в одном, очень существенном, отношении радикально отличается от нее. А именно: фиксированная установка этой группы испытуемых оказывается иррадиированной, в то время как у лиц первой группы она совершенно лишена этой особенности и имеет чисто локальный характер. Это крайнее расхождение между обеими группами в столь существенном отношении принуждает нас при характеристике установки эпилептика оставить без внимания и данные второй группы испытуемых (20%).

Остается первая группа больных (72% общего числа испытуемых), представляющая собой удивительно однообразную согласованную картину фиксированной установки. Мы имеем основание считать, что это и есть типичная картина установки эпилептика. Эта установка в общем должна быть характеризована как сравнительно легковозбудимая, грубая, статическая, локальная, константная, стабильная, прочная,

фиксированная. Поскольку наиболее характерными ее особенностями являются грубая статичность и локальность, мы можем обозначить ее условно этими тремя терминами, говоря, что у эпилептика грубая, статическая, локальная фиксированная установка.

3. Типологические основы эпилепсии. Возникает вопрос: нет ли среди нормальных людей лиц, которые являлись бы носителями такой же грубой, статической, локальной установки, какую имеют эпилептики?

Если обратимся к соответствующим материалам, то мы найдем там данные относительно статической фиксированной установки группы статичных людей*, которые очень близко подходят к картине фиксированной установки эпилептика. Это — одна из групп конфликтных людей со статической установкой, т. е. эпилептоиды. Фиксированная установка их оказывается такой же, как и установка эпилептика: это — грубая, статическая, локальная установка, которая сравнительно легковозбудима, константна и стабильна. Строго говоря, не видно разницы между установкой лиц этой группы и группы эпилептиков.

Однако это все же далеко еще не эпилептики. Прежде всего у них никогда не бывает эпилептических припадков с их характерным моторным выражением. А затем — это нормальные члены общества, полезные работники, достигающие иногда значительно высоких ступеней общественного положения. Среди выдающихся представителей творческих работников или исторических деятелей можно назвать не одного представителя этой категории.

Следовательно, нужно полагать, что основу эпилептического заболевания не надо искать в наличии припадков. Такого же рода припадки констатируются, например, и в случаях истерии — заболевания, которое в значительной степени отличается от эпилепсии. В факте припадков, нужно полагать, мы имеем дело с патологическим явлением, которое нельзя рассматривать как специфически эпилептическое.

---

* *В. Норакидзе.* Указ. соч. С. 345 и след.

Не касаясь вопроса о настоящей сущности этой болезни, мы обратимся к некоторым из психологических особенностей, имеющих место при эпилептоидии и при эпилепсии. Здесь в первую очередь нас интересует вопрос о высших, чисто человеческих психических функциях — об интеллекте и воле.

Нет нужды в специальном экспериментальном анализе этих психических сил у эпилептоидов. Среди них известны лица с высоким уровнем интеллектуальных и волевых способностей; среди выдающихся исторических деятелей называют лиц, которые, по-видимому, принадлежали к эпилептоидам. Следовательно, мы должны допустить у них достаточно высокую ступень развития объективации, на базе которой действуют их выдающиеся интеллектуальные и волевые способности.

Другое дело настоящие эпилептики. Анализ их интеллектуальных и волевых данных, наоборот, показывает, что в этом отношении они стоят на значительно низших ступенях развития. В диссертационной работе И. Бжалава имеется ряд данных, подтверждающих это положение*. Из экспериментального анализа понятийного мышления эпилептиков видно, что эта существенно важная функция у них в значительной степени снижена. Но и анализ волевых актов, как и следовало ожидать, не приводит нас к лучшим результатам. Не касаясь вопроса о конкретной картине воли эпилептика, мы ограничиваемся здесь лишь указанием на факт ее слабого развития. Зато эпилептик известен как человек стенических агрессивных аффектов необыкновенного упрямства и твердости, как человек, который не отказывается от шагов, могущих оказаться опасными даже для его собственной жизни. Все это только подтверждает факт слабого развития его волевых качеств. По всему видно, что эпилептиком управляют именно непосредственные импульсы, но не разумная воля, сущность которой заключается, между прочим, в способности обуздывать и направлять эти импульсы, но не подчиняться их руководству.

---

* *И. Т. Бжалава.* К психопатологии эпилепсии. С. 401 и след., 529–578.

Коротко: интеллект и воля эпилептика носят на себе печать явной деградации. С другой стороны, бывают, однако, моменты в жизни эпилептика, когда он оказывается способным дать высокие образцы как мышления, так и волевой деятельности. Нужно полагать, что у него, как, впрочем, и у представителей других заболеваний, поражается в первую очередь не столько непосредственно сила мысли или воли, сколько способность объективации, являющаяся предпосылкой для деятельности их обеих.

В таком случае основную причину отсутствия или деградированной активности интеллекта и воли эпилептика следует искать в расстройстве способности объективации, представленной у него. В силу каких-то обстоятельств, которых мы здесь не касаемся, происходит снижение акта объективации и в результате этого развивается бездеятельность интеллектуальных и волевых сил индивида. Следовательно, поведение его, лишившись руководства со стороны этих высших сил, остается во власти установок, специфических для данной личности. Отныне поведение беспрепятственно развивается под руководством этих установок. В случае эпилепсии основой поведения становится грубо-статическая, локальная фиксированная установка и больной лишается возможности коррекции своего поведения под руководством интеллекта. В случае же шизофрении, как мы в этом убедились выше, ввиду выпадения нормальной активности объективации и базирующихся на ней интеллекта и воли, в дело вступает непосредственно активность фиксированной установки, которая характеризуется в этом случае своей грубостью, статичностью и иррадиированностью.

ПОГРАНИЧНЫЕ СОСТОЯНИЯ

Из так называемых пограничных состояний мы остановимся на анализе психастении (типа врожденных болезненных состояний) и истерии (типа реактивных изменений в связи с психическими переживаниями). Эти состояния, как известно, даже при очень большой интенсивности явлений не представляют болезни в собственном смысле. С другой стороны, еще менее можно отнести их к явлениям нормаль-

ных, здоровых состояний. Остановимся на анализе установки при этих состояниях*.

Психастения

1. Фиксированная установка психастеника. Какова фиксированная установка при психастении? Для того чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к экспериментальному анализу этого состояния. Получены, коротко, следующие данные.

Возбудимость фиксированной установки. Здесь мы находим, что среди психастеников встречается лишь очень незначительное число лиц (не более 12%), у которых можно фиксировать установку в результате 2–3 экспозиций наших обычных экспериментальных шаров. Громадное большинство больных (88%) целиком остаются в этом состоянии вне влияния данного числа воздействующих на них экспозиций. Это дает нам право утверждать, что установка психастеника фиксируется сравнительно трудно: двух экспозиций во всяком случае редко хватает для этого. Следовательно, мы можем утверждать, что возбудимость фиксированной установки психастеника очень невысока и, для того чтобы достигнуть ее оптимума, необходимо значительно поднять число установочных экспозиций.

Прочность фиксированной установки психастеника дает очень низкие показатели. Дело в том, что первой фазы, т. е. фазы контрастных иллюзий, в этом случае почти никогда не бывает, а если и бывает, то она очень малопродолжительна — быстро уступает место следующей за ней фазе, в которой преобладают ассимилятивные иллюзии.

Грубость установки. Уже из этого наблюдения видно, что установка психастеника малопластична. Не проходя ступенчатого процесса постепенного затухания, она с самого же начала останавливается на одной из его фаз. Таким образом, фиксированная установка психастеника должна быть признана грубой, непластичной формой установки.

Динамичность является дальнейшей особенностью установки психастеника. Фиксируясь с трудом, установка здесь

---

* *К. Д. Мдивани.* К психологической природе психастении. 1946.

сохраняет начальную свою форму, которую, однако, сбрасывает быстро и переходит в состояние адекватной, нефиксированной установки.

Иррадиация такого рода маловозбудимой, малопрочной, грубой фиксированной установки вряд ли может быть особенно высокой. Опыты показывают, что, действительно, фиксированная установка психастеника иррадиирует лишь в самой незначительной степени: иррадиация установки констатируется лишь у 8 % наших испытуемых. У остальных она не проявляется в доступной экспериментам форме. Мы могли бы сказать, что в условиях наших опытов фиксированная установка психастеника носит определенно локальный характер.

Константность. Фиксированная установка психастеника оказалась далее значительно константной: возбуждаясь снова, она сохраняет за собой в течение ряда дней одну и ту же форму маловозбудимой, слабой, грубой, динамической, локально фиксированной установки. Это свойство установки психастеника заслуживает особенного внимания, поскольку в нем прежде всего открывается специфическая особенность, которой психастеник отличается от представителей другого типа пограничных состояний — от истеричных субъектов. Но к этому вопросу мы вернемся ниже.

Лабильность установки. Наконец, установка психастеника оказывается и значительно лабильной. У 80 % подвергшихся испытанию больных установка оказалась нестабильной: она быстро замирает, и вместо нее на сцену выступает адекватная установка.

Таким образом, мы находим, что установка психастеника должна быть характеризована как трудновозбудимая, слабая, грубая, динамическая, локальная, константная и лабильная фиксированная установка. Мы могли бы коротко обозначить ее как трудновозбудимую, слабую грубо-динамическую, константную установку.

Если приглядеться к этой картине фиксированной установки психастеника, то в первую очередь мы должны спросить себя: можно ли все эти особенности квалифицировать как специфические особенности фиксированной установки

психастеника или, быть может, они отчасти должны быть отнесены за счет факта затрудненности процесса ее фиксации?

Выше мы указывали, что этому процессу обычно предшествует более или менее продолжительный период дифференциации установки: будучи с самого начала представлена в более или менее диффузном состоянии, установка в первую очередь должна дифференцироваться, должна определиться как индивидуально выраженное, конкретное состояние субъекта и лишь после этого зафиксироваться как таковое. И вот спрашивается: как обстоит дело с установкой психастеника, дифференцирована ли она с самого начала в достаточной степени и в наших установочных опытах имеем ли мы дело именно с ее фиксацией или же вопрос касается процесса ее дифференциации?

Наблюдение показывает, что, для того чтобы у психастеника зафиксировалась установка, необходимо воздействие сравнительно большого числа установочных экспозиций. Если принять во внимание, что первой фазы, фазы контрастных иллюзий, у наших больных обычно не бывает, то станет бесспорным, как мы уже отметили выше, что установка у них фиксируется в слабой степени. То же самое нужно сказать и на основании ряда других данных, о которых мы уже говорили выше. Словом, по-видимому, не может быть никакого сомнения, что установка психастеника представляет собой слабофиксируемое установочное состояние.

В таком случае мы должны допустить, что здесь, в процессе повторных установочных экспозиций, значительное число их идет в первую очередь на дифференциацию диффузно выступающей установки и что никогда дело не доходит до особенно прочной ее фиксации. Но если это так, тогда мы можем характеризовать психастеника как человека слабодифференцированной установки, которая именно по этой причине остается трудновозбудимой, слабой, локальной и лабильной.

2. Объективация в случаях психастении. Для того чтобы понять психастеника, нам необходимо коснуться вопроса об объективации. Как представлена эта особенность у психастеника? Нетрудно заметить при наблюдении психастеника, что

он обычно находится под властью какой-нибудь из своих идей — той, которая прежде всего и больше всего его беспокоит. Господство навязчивых представлений, быть может, одна из наиболее характерных особенностей психастеника. Он находится в состоянии постоянных сомнений в правильности своих действий и неудержимого стремления к неусыпной самопроверке. Получается определенное впечатление, что у психастеника нет точных, достаточно ярко выраженных установок, на основе которых он мог бы развить свою произвольную деятельность. Малая дифференцированность его установок является основным препятствием, не дающим ему возможности решительно развернуть свою волевую активность. Нужно полагать, что основная особенность его — слабое развитие волевых актов — покоится именно на недостаточной дифференцированности его установок. Несмотря на значительно высокую степень развития объективации, психастенику плохо удается построить схему своей деятельности на ее данных, потому что данные эти расплывчаты и диффузны и в качестве фундамента волевой активности они малоподходящи. У психастеника нет уверенности в правильности какого-нибудь из актов своей деятельности, уверенности, обычно вырастающей на основе определившихся установок и совершенно необходимой для того, чтобы акты эти претворялись в жизнь.

Нельзя сказать, что та же судьба постигает и интеллект психастеника. Наоборот, наличие способности объективации создает хорошую основу для его деятельности, которая нередко, может быть, чаще, чем это действительно необходимо, останавливается на решении вопроса о том, как поступить в данном случае. Несмотря на ряд случаев удовлетворительного разрешения этого вопроса, психастеник, ввиду отсутствия основ уверенности, вырастающей на базе определившихся соответствующих установок, оказывается не в силах остановиться на какой-нибудь, и он чувствует себя вынужденным искать других способов разрешения вопроса или же в самый решительный момент откладывает его на будущее.

Следовательно, недостаточность воли психастеника затрагивает и продуктивность нередко высоких степеней раз-

вития его интеллектуальных сил. Она лишает их устойчивости, необходимой для проведения их в жизнь. Нужно полагать, что в основе всего этого лежит слабость уверенности. обусловленная недостаточностью дифференциации установки психастеника.

Итак, основной феномен, определяющий слабость психики наших больных, следует искать в факте недостаточной дифференциации или значительной диффузности их установочных состояний, на базе которых возникают недоразвитие уверенности, слабость волевых актов и неустойчивость интеллектуальных решений.

Истерия

1. Фиксированная установка при истерии. Обратимся сейчас к проблеме истерии — заболевания, изучаемого с давних пор и с самых различных точек зрения. Нам нужно коснуться ее с позиций нашего понятия установки. Нужно выяснить, в каком состоянии находится установка истеричных, как она работает и какие особенности она обнаруживает.

На основании специального исследования этого вопроса* можно считать установленным, что истерия в значительной степени отличается от ряда других заболеваний, в первую очередь далеко идущей вариабельностью своей фиксированной установки. Трудно найти у истеричного форму активности фиксированной установки, которой можно было бы ждать от него во всех случаях. Наоборот, для него значительно более характерным является факт постепенного колебания между возможными формами установки.

Тем не менее существует определенная амплитуда, которая характеризует эти колебания, и мы займемся прежде всего установлением ее границ.

Фиксированная установка истеричных в период лечения характеризуется одной существенной особенностью: это, как мы отмечали и выше, факт постоянного ее варьирования в широких пределах. Для того чтобы получить ясное представление об этом, мы приведем данные об одной из пациенток.

---

* *К. Д. Мдивани.* Иллюзия установки у истеричных // Труды Ин-та функц. нервн. забол. 1936. Т. 1. С. 127.

Больная Д. Л. — 23 г. Образование среднее. Жалуется на ежедневные приступы. Испытание фиксированной установки (19.XII–35 г.) показало, что она имеет грубую статическую (30 контрастных гаптических иллюзий), сильно иррадиированную (15 таких же контрастных иллюзий в зрительной сфере) установку.

23.XII–35 г. чувствует себя лучше. Испытание показывает, что она имеет грубую статическую установку в гаптической области, которая, однако, не иррадиирует в зрительную; больная сейчас же констатирует зрительное равенство критических объектов.

25.XII–35 г. чувствует себя лучше. Приступы у нее повторяются, но не так часто, как раньше. Опыты с установкой показывают пластическую иллюзию, которая завершается тем, что больная констатирует равенство критических объектов.

27.XII–35 г. Больная чувствует себя лучше. Опыты дают те же результаты, что и два дня назад.

29.XII–35 г. Уже два дня, как у больной не было приступов. Чувствует себя хорошо. Опыты дают приблизительно ту же картину, что и два последних посещения.

1.I–36 г. Накануне чувствовала себя плохо. Но приступов не было. Опыты показали, что установка на этот раз не фиксируется, критические объекты воспринимаются как равные.

7.I–36 г. Накануне был приступ — длительный, около 2½ часа. Во время приступа она слышит громкую речь, с которой к ней обращаются, но плохо ее разбирает. Установка грубая статическая, с кратковременной иррадиацией в зрительную область.

Испытание этой больной продолжается и дальше, вплоть до 29.I–36 г.

14.I, 16.I, 20.I и 25.I больная утверждает, что приступов у нее нет вовсе и чувствует она себя хорошо.

Опыты в этих случаях показывают, что все дни больная имеет определенно пластическую динамическую установку, которая из гаптической хорошо иррадиирует в зрительную область. В остальные дни, в которые приступы повторялись почти ежедневно, испытуемая дает неодинаковую картину фиксированной установки.

В целом в течение всего периода наблюдений испытуемая обнаруживает следующую картину постоянного варьирования своей фиксированной установки.

После ряда приступов накануне больная показывает симптомы депрессивного состояния с головными болями. В этом

состоянии она дает длинный ряд контрастных иллюзий с бесконечной иррадиацией из гаптической в зрительную область, т. е. грубую статическую иррадиированную установку. В этом состоянии больная стоит близко к конфликтным людям со статической установкой. Но это бывает лишь в случаях после ряда повторных приступов на пути к улучшению состояния. Очень характерно, что при этом бывает нередко, что у больного не фиксируется установка вовсе.

При том же состоянии, но в более легкой форме и далее, при чувствительном улучшении самочувствия больной, установка ее меняется: она дает такую же грубую статическую форму, которая при этом вовсе не иррадиирует из гаптической в зрительную сферу. Она почти немедленно уступает место случаям адекватного восприятия; создается впечатление, что в этом случае на сцену выступает как бы фиксированная установка эпилептика.

После ряда свободных от приступов дней больная чувствует себя бодрой; она настроена сравнительно жизнерадостно и в таком состоянии дает фиксированную установку нормального гармонического человека. У нее пластичная, динамическая форма установки, которая легко иррадиирует из гаптической области в зрительную.

Таковы данные одной из пациенток, которая, впрочем, ни в чем существенном не отличается от других испытанных в этой серии истеричных.

Таким образом, мы можем повторить, что характерная особенность истеричных заключается в факте вариабельности фиксированной установки, и притом в достаточно широких пределах. Она может быть, в зависимости от состояния больного, то вполне нормальной установкой динамического человека, то болезненно направленной установкой эпилептика с локальной и в некоторых случаях с иррадиированной фиксированной установкой.

Такова картина установки истеричных. Мы видим, что истерия отличается от других нами анализированных патологических состояний далеко идущей вариабельностью фиксированной установки, отсутствием константности этой по-

следней, засвидетельствованной нами во всех вышеанализированных патологических случаях.

Нужно полагать, что эта вариабельность фиксированной установки, которая достаточно хорошо характеризует именно вариабельность поведения истеричного, является одной из наиболее характерных ее особенностей.

Однако у истеричных имеется и ряд других особенностей, которые следовало бы изучить дополнительно, чтобы получить более определенное представление об этом заболевании.

Нам нужно выяснить, может ли истеричный стимулировать свою установку на базе представления.

2. Стимуляция установки на базе представления. Специальные опыты по этому вопросу дают нам совершенно определенный ответ на него*. Оказывается, что истерия в интересующем нас сейчас отношении имеет специфические показатели, которые значительно отличаются как от того, что дают нам нормальные здоровые испытуемые, так и от того, что нам известно относительно представителей других патологических состояний.

Если сопоставить данные опытов на стимуляцию фиксированной установки на базе представлений у нормальных людей с тем, что дают нам истеричные, то оказывается, что эти последние далеко превосходят первых во многих отношениях. Так, например, у истеричных возникает установка на основе представления значительно легче, чем у обычных испытуемых, и, что особенно интересно, установка эта заметно прочнее или сильнее, чем у здоровых.

Как велика может быть разница в этом отношении между больными и здоровыми, видно хотя бы из следующего: в то время как у 60 % наших истеричных вырабатывается сильная иллюзия установки на представление в гаптической и у 46 % — в оптической областях, такого же рода иллюзия констатируется всего лишь у одного здорового испытуемого (17 %).

Несомненно, установка, стимулированная на базе представления, у истеричного обладает почти такой же силой, как

---

* *Э. Вачнадзе.* К вопросу о фиксированной на базе представления установке в случаях истерии. 1947.

и установка, стимулированная воздействием актуальной ситуации.

Таким образом, мы видим, что установка на базе представления у истеричного почти так же прочна, как и установка на базе актуального воздействия ситуации.

Если проследить и другие факты фиксированной установки, те же результаты найдем мы почти по всей линии ее развития. Это дает нам право считать, что установка, стимулированная у истеричного на основе его представлений, не отстает заметно от установки на основе актуального воздействия ситуации. Все это указывает на большую роль, которую играет у истеричных субъектов мир их представлений.

Поэтому совершенно естественно спросить себя: какова же природа этого представления?

Выше мы говорили, что следует различать два разных психологически существенных аспекта этого явления. Во-первых, существуют «представления», которые протекают в недифференцированном или малодифференцированном плане нашего сознания. Это — представления, не дифференцированные от других аспектов деятельности, и прежде всего от того, что мы называем «восприятием». Этого рода представления мы находим, например, в состоянии сновидений. Но представлением мы называем, во-вторых, и наши специфические переживания, явно отдифференцированные от восприятия и протекающие вне зависимости от актуального воздействия имеющихся налицо раздражений. Мы убедились выше, что эта дифференциация представления имеет место лишь на основе процесса объективации, т. е. процесса, свойственного лишь человеку.

Если иметь в виду эти два значения понятия представления и с этой точки зрения посмотреть на представления истеричного, то нам придется признать, что это — переживания, протекающие в первом, малодифференцированном плане сознания. Поэтому понятно, что установка истеричных, возникающая на основе представления, почти нисколько не отличается от установок, действующих на базе их актуальных восприятий, поскольку представления эти не являются пси-

хологически отдифференцированными от восприятий психическими состояниями.

Таким образом, мы можем сказать, что представления истеричных являются не отдифференцированными от актуальных восприятий переживаниями — переживаниями вроде тех, которые, как было сказано выше, мы имеем в представлениях наших сновидений. Поэтому мы должны признать, что факт наличия представлений у истеричных далеко не указывает на необходимость признания у них способности объективации. Представления истеричных — это вовсе не объективированные содержания сознания. В периоды обострения сознание истеричного погружается в состояние, которое в этом случае близко напоминает состояние нашего сознания в моменты сновидений.

Естественно, возникает вопрос: каково же отношение установки, стимулированной представлением, к актуально фиксированной установке истеричного? Мы видели, что эта последняя отличается достаточно далеко идущей вариабельностью форм своего проявления. Отражается ли эта особенность и в феноменах фиксированной на почве представления установки? Если проследить данные этой формы установки, то оказывается, что они и в этом случае почти без исключения повторяют все особенности фиксированной в актуальных условиях установки. Таким образом, мы должны признать, что черта вариабельности продолжает оставаться характерной особенностью истеричных.

Резюмируя все сказанное, мы должны характеризовать истеричных как людей с далеко идущей вариабельностью своих установок и легкой их фиксируемостью как на основе восприятий, так и на базе мало от них отдифференцированных представлений.

3. Преморбидное состояние истеричного. Возникает вопрос о преморбидном состоянии, на почве которого обычно развивается истерия. Выше, при исследовании основных типологических единиц, нам пришлось остановиться, между прочим, и на анализе типа так называемых вариабельно-лабильных людей. Мы видели тогда, что вариабельность и лабильность фиксированной установки, равно как и частое

выступление случаев ее нефиксируемости, являются наиболее характерной особенностью людей этого типа. Так же как и у истеричных, фиксированная установка этих лиц лишена константности, она варьирует от случая к случаю и при этом имеет весьма определенный уклон к быстрому затуханию, а иногда и к полному отказу возможности фиксации.

Таким образом, если сравнить особенности установки вариабельно-лабильных людей со свойствами установки истеричных, то близость их окажется вне всякого сомнения. Более того, получается впечатление, что между ними даже нет заметной разницы.

Однако, если иметь в виду острые случаи, истеричный все же существенно отличается от человека вариабельно-лабильного типа. В то время как этот последний является одним из обыкновенных здоровых людей, ведущих нормальную, а в некоторых случаях и достаточно продуктивную жизнь, истеричный — определенно больной человек, который в периоды обострения своего состояния вовсе выпадает из числа нормальных работников и делается предметом специальных наблюдений и забот окружающих.

Естественно возникает вопрос: в чем искать основу столь существенных изменений в состоянии вариабельно-лабильного человека? Не касаясь других, быть может очень значительных, моментов, я остановлюсь лишь на одном. Дело в том, что вариабельно-лабильные субъекты, как, впрочем, и все варианты типа конфликтных людей, остаются на уровне нормальных участников жизни, поскольку они в случае необходимости оказываются в состоянии регулировать свое поведение с позиций объективации, которая в какой-то степени все же имеется у них. В решительные моменты своей жизни они мобилизуют силы для этой объективации и на ее основе развивают сравнительно приспособленные акты своей деятельности. В состоянии же приступов они лишены этой способности и поведение их протекает на базе природных, не опосредованных установок. В этом случае перед нами картина истерии в точном смысле слова.

<1949>



ФОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Понятие *поведения* занимает в психологии совершенно особое место. Хотя утверждение бихевиористской психологии о том, что поведение является основным предметом нашей науки, ни в коем случае нельзя признать обоснованным, тем не менее не подлежит сомнению, что для изучения подлинного предмета психологии — психической жизни — это понятие имеет совершенно исключительное значение. Дело в том, что исторически психическая жизнь возникла на основе взаимодействия с окружающей действительностью, на основе практики или поведения, и все характеризующие ее основные особенности, вся обнаруживаемая в ней закономерность создавались и развивались в процессе практики. Очевидно, что вне учета этого наисущественнейшего обстоятельства, вне соответствующего внимания к понятию поведения психологическое исследование было бы бесплодным. Абстрактный и метафизический характер буржуазной психологии, ее схематизм и формализм, ее бесплодность в отношении задач понимания конкретной психической действительности проистекают в немалой мере также и от недооценки этого положения. Само собой разумеется, что в подлинно научной психологии понятие поведения должно занимать совершенно особое место.

Несмотря на это, однако, даже в отношении основного психологического содержания этого понятия нет еще окончательной договоренности. Как и во многих иных случаях, а возможно и еще в большей степени, правильному решению вопроса помимо всего препятствует та роковая предпосылка, на которой, в сущности, зиждется вся буржуазная психология, — предпосылка, согласно которой психические и моторные процессы находятся в непосредственной причинной связи между собой и окружающей действительностью. По этой *гипотезе непосредственности* получается, что поведение осуществляется помимо существенного соучастия субъекта, личности как конкретной целостности, что оно представляет собой взаимодействие с действительностью отдельных психических и моторных процессов, первично определенных непосредственным взаимодействием двух звеньев — моторных или психических процессов и их стимулов или раздражителей, и, следовательно, для его понимания, помимо учета этих двух моментов, не требуется ничего другого. Что же касается самого субъекта как конкретной целостности, устанавливающей для достижения своих целей это взаимоотношение со средой, — субъекта с его потребностями, — то при анализе поведения с точки зрения гипотезы непосредственности он полностью исключается из поля зрения как абсолютно лишний. Следовательно, все то, что в поведении говорит о субъекте, его смысл, его значение, по существу, не включено в это понятие; он является будто чуждым, привнесенным элементом, не имеющим значения для понимания самого поведения. Вот почему субъект вовсе изъят из понятия поведения, в котором оставлены только два названных выше находящихся во взаимосвязи момента — процессы или акты (психические и моторные) и их возбудители. Короче говоря, поведение — это стимул плюс реакция.

Обратимся к примеру. Поведением в обыденной жизни называют такие случаи: студент читает книгу, колхозник пашет, Юлий Цезарь переходит Рубикон, Наполеон идет походом на Россию... Как видим, во всех этих случаях мы имеем дело с последовательностью определенных движений, производимых непременно в какой-то конкретной ситуации и слу-

жащих удовлетворению совершенно конкретной потребности определенного субъекта — субъекта поведения. Не возникни у него этой потребности и не окажись он в этой определенной ситуации, он так и не совершил бы этого поведения. Бесспорно, что превращение последовательности движений в настоящее поведение зависит именно от этих двух моментов (от потребности и ситуации).

Забудем теперь на время про субъекта с его потребностями, для удовлетворения которых он осуществляет в определенной ситуации то или иное вышеуказанное поведение. К чему это приведет? Потеряв свои специфические особенности, каждый из отдельных случаев поведения превратится в одних случаях в одну определенную последовательность элементарных движений, а в других — в другую. В этом случае, следовательно, за настоящее поведение принимаются эти элементарные движения, а не те или иные их комплексы, которые не имеют сами по себе ничего специфичного и, значит, не содержат чего-либо заслуживающего особого изучения.

Что представляют собой эти элементарные движения? Во всех приведенных выше примерах поведения мы имеем дело с одним и тем же обстоятельством: действующий извне на чувствительную поверхность тела какой-либо определенный раздражитель сначала вызывает определенный физиологический процесс в нервном волокне, а отсюда распространяется затем на эфферентный нерв и заканчивается сокращением мышцы. Согласно бихевиористам, любой случай конкретного поведения состоит только лишь из таких элементарных процессов и поэтому любой конкретный акт поведения можно счесть изученным, если выявлены составляющие его элементарные процессы. Эти элементарные процессы названы американским психологом Толменом *молекулярным* поведением, сложные же конкретные формы, примеры которых нами были приведены выше, — *молярным* поведением.

Настоящим поведением, следовательно, бихевиористская психология считает молекулярное поведение. Согласно системе взглядов этой психологии, жизнь человека может быть признана научно изученной только в том случае, если она

9 Зак. № 137

полностью сведена к актам молекулярных поведений и если, таким образом, выявлены те подлинно физиологические процессы, которые реально и единственно имеют место в организме, как действительная сущность его поведения. Но тогда психология не могла бы считаться наукой о поведении конкретного человека, так как конкретное поведение, как известно, всегда служит какой-либо потребности, всегда имеет какой-то смысл, какое-то значение; психология в таком случае превратилась бы в науку о рефлексах, в физиологию. Отсюда с очевидностью следует, что если наука о конкретной психической жизни человека возможна, то бихевиористическое молекулярное понимание поведения для нее и бесполезно и неприемлемо, а его место должно занять понятие молярного поведения.

Согласно основным принципам гештальттеории, процессы, протекающие в физиологической области, нельзя ни в коем случае считать непременно молекулярными, отрицая наличие в них молярных феноменов. По основной гипотезе Вертгеймера, впоследствии особенно развитой В. Келером и известной под именем *изоморфизма*, движение атомов и молекул мозга отличается от мыслей и чувств не по существу, а в молярном аспекте; как процесс протяженный оно идентично с мыслями и чувствами, и, следовательно, физиологические процессы также гештальтны. Отсюда же, по словам Коффка, следует только одно: «Если физиологические процессы обладают протяженностью и если вместо того, чтобы быть молекулярными, они молярны, то нет никакой опасности пренебречь молярным поведением за счет молекулярного» и свести целостное осмысленное поведение человека на лишенные всякого смысла процессы*.

Таким образом, по гештальттеории, в действительности имеет место не молекулярное поведение, а молярное, и, следовательно, у психологии есть возможность изучать действительное поведение человека.

Можно ли, однако, на самом деле молярное поведение гештальттеории считать поведением, имеющим смысл?

---

* *K. Koffka*. Principles of Gestalt Psychology. P. 36.

Поведение человека, согласно Коффке, более молярно, чем молекулярно, потому что оно представляет собой протяженный процесс, обусловленный не обособленными, локальными, не зависимыми друг от друга связями, а широким полем, в котором эти процессы протекают, — обусловленный не отдельными нервными путями в организме, а протяженной средой, динамическому воздействию которой оно подвержено и которую Коффка называет *«средой поведения»*. Поведению постольку присущи *смысл, значение,* поскольку оно представляет обязательный момент целостной структуры, гештальта, поскольку оно занимает в них определенное место и играет определенную роль.

Однако по меньшей мере противоестественно говорить о смысле, значении поведения, не учитывая цели, которой оно служит, и гештальттеория оказывается вынужденной встать в этом случае на такой именно противоестественный путь. Ведь о цели поведения вправе говорить только тот, кто увязывает его с активным, имеющим определенную потребность субъектом, кто не мыслит поведения помимо такого субъекта! Гештальтистское же понимание поведения, в сущности, вовсе не учитывает активного субъекта, не видит никакой нужды в таком понятии для понимания того или иного поведения. Решающим для гештальттеории является не субъект, а сама среда, из динамики сил которой выводит она специфику поведения. Поведение как протяженный процесс, как сложное целое, как молярное, а не молекулярное содержание здесь непосредственно определяется средой.

Как видим, гештальттеория, как и бихевиоризм, продолжает стоять на позициях непосредственности, вследствие чего понятие субъекта остается вне пределов ее учения, а обоснование смысла и значения поведения приобретает у нее столь противоестественный характер. В гештальтистском понятии поведения для смысла и значения в действительности так же мало оставлено места, как и в бихевиористской концепции поведения: подобно бихевиоризму, поведение и здесь, в сущности, рассматривается как чисто механический процесс.

Более того, даже молярный характер поведения нельзя считать достаточно обоснованным в концепции поведения гештальттеории. Дело в том, что всякое поведение, если исключить из него понятие активного субъекта, — несмотря даже на то что оно может иметь протяженный характер, как это имеет место в гештальттеории, — будет в сущности понято молекулярно. Обратимся к примеру: представим себе, что субъект строгает доску; с каким поведением мы имеем дело в данном случае? Сказав, что мы имеем здесь дело со строганием, как в этом случае ответила бы гештальттеория, — этим мы, конечно, вовсе не выразим сущности поведения. Ведь мы не знаем, что делает в этом случае субъект: трудится, учится, играет или развлекается, т. е. не знаем, какими именно из этих совершенно различных целей он руководствуется, следовательно, не знаем и того, какое именно поведение он осуществляет. Несмотря на то что, как мы в этом убедимся впоследствии, труд, игра, учение, развлечение являются совершенно разными формами поведения, акт строгания может входить в каждый из них. Следовательно, для понимания того, с каким видом поведения мы имеем дело в том или ином случае, совершенно недостаточно учета только тех движений, которые называются строганием. Строгание является только отдельным актом, который может входить в состав и одного поведения, и другого. В этом отношении оно более *молекула* поведения, чем целостное конкретное поведение. Ясно, что и для гештальттеории поведение, в сущности, более *молекулярно*, чем *молярно*.

Мы видим, таким образом, что решить проблему поведения на основе теории непосредственности нельзя. Поведение — активность, и помимо существенного учета субъекта понять его невозможно.

Всякая активность означает отношение субъекта к окружающей действительности, к среде. При появлении какой-нибудь конкретной потребности субъект, с целью ее удовлетворения, направляет свои силы на окружающую его действительность. Так возникает поведение. Как видим, оно подразумевает, с одной стороны, потребность и силы субъекта, с другой — среду, предмет, который должен ее удовлетво-

рить. Поведение представляет собой приведение в действие этих именно сил, и понять его вне потребности и предмета, ее удовлетворяющего, совершенно невозможно: конкретное действие определенных сил обусловлено конкретной потребностью, которая удовлетворяется определенным предметом. Следовательно, то, какие силы приведет субъект в действие, каково будет это действие, зависит от нужного субъекту предмета, на который он направляет свои силы: особенности действия, активности, поведения определяются предметом. Активность имеет всегда предметный характер; беспредметное действие всегда было бы хаотично, бессмысленно, лишено всякой определенности, так что никто и не смог бы его назвать поведением.

Однако предмет не определяет того или иного поведения непосредственно, рефлекторно. Это было бы допустимо только в случае возможности независимого существования этих актов, если бы они не предполагали определенной целостности живого существа, субъекта, отдельными актами которого они являются. Но живое существо, субъект как организм, представляет собой такую целостность, где целое предшествует частям, а части или частные явления возникают на основе последующей дифференциации первичной целостности, где, следовательно, не целое зависимо от частей, а, напротив, части зависят от целого. А это означает, что для осуществления живым организмом какого-либо определенного движения, какого-либо поведения или вообще какого-либо отдельного акта он как целостность должен находиться в совершенно определенном состоянии; иначе говоря, каждый частный случай его действия, его поведения предполагает индивидуально определенное, совершенно конкретное состояние субъекта как целого, которое так определяет этот частный акт его активности, как целое определяет особенности своих частей. Для того чтобы живое существо сделало хотя бы один-единственный шаг, оно как целое должно к этому соответствующим образом предуготовиться; если оно хочет сделать этот именно шаг, оно должно *настроиться* как целое для осуществления как раз этого шага.

Но как удается субъекту такая именно настройка, которая требуется для соответствующего акта поведения, если этот акт еще не наступил и субъект ничего не знает о нем; короче говоря, чем определяется то состояние субъекта как целого, которое предшествует актам поведения? Что определяет его структуру? Ответ ясен: поскольку связь со средой, с предметом устанавливается самим субъектом, очевидно, что окружающая действительность или предмет непосредственно воздействуют именно на него как на целое и, изменяя его сообразно с собой, вызывают в нем как в целостности сил соответствующую себе *установку*.

Следовательно, процесс поведения представляется нам таким образом: с целью удовлетворения потребности, имеющейся у субъекта, он обращается к окружающей его действительности. Воздействуя на него непосредственно, эта действительность *настраивает* его к действию по отношению к предмету, необходимому для удовлетворения данной потребности. На этой основе субъект развертывает целесообразные акты поведения, приводя в действие силы, соответствующие нужному ему предмету, и активируя их таким образом, как это необходимо для овладения этим предметом.

Следовательно, понятие установки позволяет судить, почему поведение целесообразно и имеет смысл, т. е. учитывает в одно и то же время и субъект и предметную действительность, соответствует и тому и другому; оно позволяет понять, почему в участвующих в поведении силах учтен именно определенный предмет, и в случае его наличия стимулирует нас к действию, а при его отсутствии никогда не создает действительного поведения.

* * *

Нами уже было отмечено, что зарождение и развитие психики вплоть до ее нынешнего уровня происходит в процессе взаимодействия индивида с окружающей действительностью, в процессе практики или деятельности. Следовательно, пренебрегать этим обстоятельством — значит обрекать на неуспех всякую попытку ее изучения. Поэтому изучение про-

блем поведения приобретает для психологии совершенно исключительное значение.

Среди этих проблем на первый план должен быть выдвинут вопрос дифференциации различных видов поведения, или, иначе говоря, — вопрос классификации их форм. Незнание того, каковы основные формы поведения, повлекло бы за собой невозможность изучения человеческой психики в связи с конкретной ее активностью. Настоящее исследование содержит попытку такой классификации.

Из чего надо исходить, классифицируя формы поведения человека? Поскольку понятие установки имеет существенное значение для понимания поведения человека, не подлежит сомнению, что и при решении данной задачи оно должно играть такую же роль. Однако одного этого понятия еще недостаточно. Существенное значение имеет проблема двигателя или источника активности, и решающую роль здесь должно играть понятие *потребности*. Если исходить из этого понятия, можно увидеть, что все поведение человека можно отнести к двум категориям.

Каковы эти категории? Когда у человека возникает какая-либо *потребность*, для удовлетворения которой ему необходим определенный предмет (например, в случае потребности в пище — хлеб), он на основе регулирующего действия установки, созданной в условиях данной ситуации, должен активировать те именно силы, которые дадут ему этот предмет. Как видим, установку поведения, как и самое поведение, определяет здесь тот предмет, потребность в котором побуждает его к активности; поведение в этом случае получает импульс как бы извне (от предмета) и направляется установкой, определенной извне. Такое поведение мы можем назвать *экстерогенным*.

Однако может быть и иначе. Случается, что у субъекта нет потребности в каком-либо предмете, нет, так сказать, практической потребности, средства удовлетворения которой он должен получить извне. Следовательно, в данном случае у него нет необходимости обратиться к окружающей действительности. Это не означает, однако, что он находится в состоянии бездействия, абсолютной пассивности. Естественным

состоянием человека является активность, и находиться в бездействии — да и то в относительном бездействии, — он может только во время отдыха. Поэтому, чтобы его активировать, вовсе не всегда обязательно наличие у него какой-либо практической потребности, т. е. такой потребности, для удовлетворения которой необходимо какое-нибудь предметное содержание. У него может иметься потребность и в *активности* как таковой, т. е. потребность активации в определенном направлении тех сил, которые по той или иной причине оставались бездеятельными, потребность, которую мы можем назвать *функциональной тенденцией*. При отсутствии у человека необходимости действовать для удовлетворения практической потребности в роли импульса к действию оказывается эта функциональная тенденция, и он вновь принимается действовать. Активность действия в этом случае определяется уже не извне, а исходит из внутреннего импульса и направляется не установкой, первично формирующейся в процессе самого поведения, а установкой, фиксированной в прошлом субъекта. Здесь поведение свободно от побуждения извне и по своему происхождению является моментом внутреннего порядка. Подобное поведение мы можем назвать *интрогенным*.

Таким образом, необходимо различать два основных вида поведения — *экстерогенное* и *интрогенное*. Каждый из них содержит ряд независимых форм поведения. Каковы эти формы?

1. Как мы уже знаем, особенностью экстерогенного поведения является активация сил организма, стимулированная необходимостью удовлетворения какой-нибудь потребности: предмет здесь всегда определен потребностью. Активация сил организма при этом может быть двоякой: в одном случае наличествует предмет, но для удовлетворения потребности необходима его ассимиляция. При таком положении организму надо активировать те именно силы, которые предоставили бы ему эту возможность. Например, голодное животное активирует соответствующие роду пищи силы и в результате начинает есть. Испытывая жажду, оно производит

соответствующие движения и пьет. Это — особая форма поведения, которую обычно называют *потреблением.*

Однако разве только движения еды и питья составляют в данном случае потребление? Конечно нет. Допустим, животное пасется. Не подлежит сомнению, что потребление состоит не только в пощипывании и поедании травы, но и в перемене места, в постоянном передвижении животного в зависимости от того, где оно находит больше травы. Допустим, что человек пьет воду; питье воды состоит не только в проглатывании жидкости, но и в поднесении своими руками сосуда ко рту. Одним словом, поведение потребления содержит по меньшей мере две главные группы движений: с одной стороны, движение органов потребления (откусывание, разжевывание, проглатывание и т. д.), и с другой — движения, необходимые для передачи предмета (например, пищи или воды) потребляющему органу, например локомоция животного к траве или к ручью.

Эти две группы содержат два существенно различных по своей природе движения. Первые представляют собой врожденные, отчасти автоматизированные, отчасти инстинктивные движения, вторые — главным образом приобретенные, так называемые условные рефлексы. Само собой разумеется, последние значительно сложнее по составу, и, поскольку они содержат приобретенные животным в опыте акты, их сложность может быть большей или меньшей.



Возникает вопрос о границе, за которой все эти движения могут быть рассматриваемы как содержание новой формы поведения.

Действительно, когда жаждущее животное для удовлетворения этой своей потребности при виде воды устремляется к ней, можно считать, что его локомоция здесь по своей природе такая же, как и, например, при его постепенном перемещении на пастбище. Однако когда то же животное устремляется к далекому источнику, который ему в настоящий момент, может, даже не виден, дело здесь действительно значительно сложнее. Но совершенно очевидно, что мы имеем дело с несравнимо более сложными актами, когда, почуяв издалека добычу, животное бросается за ней в погоню и

после жестокой схватки наконец завладевает ею. Возникает вопрос, имеем ли мы и здесь дело с актами потребления или здесь налицо какая-то другая форма поведения? Еще сложнее обстоит дело, например, с птицей, вьющей гнездо, или с лисой, роющей себе нору. Не подлежит сомнению, что и в этом случае мы имеем дело с актами поведения, которые возникли на почве необходимости удовлетворения потребности. Однако еще вопрос, что это — акты потребления или же иная, более сложная форма поведения? Когда проголодавшийся человек, убив зверя, освежевывает его, разводит огонь, жарит и лишь после этого удовлетворяет свой голод, возникает вопрос — трудится он в этом случае или же лишь осуществляет более сложные акты потребления?

Безусловно, ответить на вопрос в данном случае нелегко. Если поставить вопрос альтернативно, имеем ли мы дело в аналогичных случаях с потреблением или трудом, будет правильнее сразу же решить его в пользу потребления. Во всяком случае, здесь перед нами всегда некоторый комплекс движений, включенный в контекст удовлетворения определенной актуальной потребности: все эти акты живого существа определены целью удовлетворения одной актуально действующей потребности. Но если мы зададимся целью ответить на вопрос более точно, то, конечно, правильнее было бы не говорить здесь ни об акте потребления, ни об акте труда.

Несомненно, существуют и другие формы поведения, которые хотя и ближе к актам потребления, чем к актам труда, тем не менее все же являются иными формами поведения. Их можно было бы рассматривать как акты, возникшие на основе дифференциации поведения потребления.

Поскольку дифференциация актов потребления особенно отчетливо выступает у человека, будет более целесообразно в последующем анализе иметь в виду в первую очередь его поведение. Основными биологическими потребностями человека являются такие как потребность в пище, питье и т. п. Непосредственные акты удовлетворения этих потребностей составляют содержание поведения потребления. Однако, наряду с этим, у человека есть и другие потребности, которые

опять-таки имеют в виду его физический организм: тело нуждается в чистоте, тепле, одежде и пр. Все акты, непосредственным следствием которых является удовлетворение этих потребностей, можно рассматривать как вполне аналогичные поведению потребления. Когда это надо, человек умывается, причесывается, одевается или раздевается. Все эти действия переживаются им как акты, проистекающие из импульсов определенных актуальных потребностей, — совершенно так же, как и движения во время еды и питья. Однако разница между ними все же очевидна: там человек имеет переживание потребности, исходящей из глубин организма, здесь же — как бы из периферии того же организма. Поэтому обыденная речь с самого же начала различает между собой эти две формы поведения: первую она называет *потреблением*, вторую — *уходом за собой*. И та и другая в процессе развития жизни человека постепенно усложняется: к актам потребления прибавляются новые акты, которые переживаются как акты, проистекающие из актуальных потребностей. Если даже человек очень голоден, он не схватит курицу и не будет ее есть, разрывая зубами. Он прежде всего возьмет нож, зарежет ее, очистит, разведет огонь, зажарит или сварит и лишь после всего этого приступит к непосредственным актам потребления. Так же обстоит дело и в случае ухода за собой; и здесь нередко человек прибегает к достаточно сложным актам: снимает с животного шкуру, на сравнительно более высокой ступени развития кроит ее, шьет и только потом надевает на себя. Основная установка и здесь та же: налицо определенная актуальная потребность, и для ее удовлетворения человеку приходится обращаться к достаточно сложному комплексу движений, за которыми хотя непосредственно и не следует удовлетворение потребности, но которые тем не менее представляют собой единое целое — комплекс, объединенный одной и той же основной потребностью и имеющий значение и смысл до тех пор, пока налицо эта определенная потребность и пока имеется переживание необходимости ее удовлетворения. Эта форма поведения человека в нашей речи обычно обозначается словом *самообслуживание*.

Ничто принципиально не меняется, когда человек не ограничивается узколичными потребностями, а переживает потребности своей расширенной, так сказать, личности. Жена или дети, отец и мать, одним словом, семья — это первичная форма расширения личности человека. Уход за собой и самообслуживание для расширенной личности принимают форму ухода за другими и обслуживания другого.

Следовательно, на почве импульса, идущего изнутри собственного тела, у человека возникает форма поведения — *потребление*. Актуальные переживания периферической потребности того же организма ложатся в основу другой формы его поведения — *ухода за собой*. Однако на основе переживания той же актуальной потребности возникают усложненные акты поведения, которые косвенно ограничены рамками удовлетворения той же потребности; возникает третья форма поведения — так называемое *самообслуживание*. При переживании субъектом актуальной потребности своего расширенного «я», и в первую очередь своей семьи и членов своей семьи, он обнаруживает акты поведения *ухода за другими и обслуживания других*.

Все эти формы поведения объединяются вокруг одной родственной группы поведения потребления. Специфичным для всей этой группы является то, что ценность и смысл каждого акта поведения, включенного в эту группу, определены рамками удовлетворения актуальной потребности: все, что дают эти акты, только постольку имеет ценность в переживании субъекта, только до тех пор имеет смысл, пока служит цели удовлетворения актуальной, переживаемой в этот определенный момент потребности. Как только эта цель достигнута, как только потребность удовлетворена, акты поведения, так же как и все, что они создают или дают, теряют свое значение и перестают существовать для субъекта. Длительность их действия ограничена рамками времени действия актуальной потребности; за пределами этих границ психологический срок их существования как чего-то имеющего смысл и значение — кончается. Одним словом, общим, характерным для всех указанных форм поведения моментом является то, что каждая из них только тогда имеет место и действует толь-

ко до тех пор, когда и пока актуальна та потребность, на основе импульса которой она возникает.

Исходя из этих соображений, мы должны будем остановиться также еще на одной форме поведения, которая должна быть включена в эту группу, ибо человек имеет не только физические, связанные с организмом и идущие из организма потребности. Не менее для него характерны и специфичны другие потребности — потребности, возникшие на основе его социального развития и связанные не столько с его физическим организмом, сколько с усложненными условиями его психической жизни. Наиболее значительной и общеизвестной среди них, наиболее характерной для человека является *интеллектуальная* потребность, *любознательность* со всеми теми формами, которые она принимает на высших ступенях развития и которые в конечном счете переживаются в виде *жажды знания*. Не подлежит сомнению, что для удовлетворения этой потребности человек иногда бывает вынужден развивать достаточно сложную активность. Во всяком случае, несомненно, что в инвентаре нашего поведения активность, возникающая на базе жажды знания, имеет достаточно большой удельный вес. Внимательный глаз может выделить здесь две отличные друг от друга формы поведения.

Допустим, что я хочу понять что-либо. Здесь всегда есть возможность выбрать один из двух возможных путей. Можно обратиться к кому-нибудь с просьбой объяснить или осветить интересующий меня вопрос; разумеется тот, к кому я обращаюсь, может удовлетворить мою любознательность, если он располагает нужными мне сведениями и может передать их мне. Активность моя в этом случае определяется, во-первых, тем, что я нахожу лицо, имеющее нужные мне сведения, и, во-вторых, тем, что я воспринимаю (слушаю или читаю) и приобретаю нужные мне сведения. Случаи активности подобного рода в нашей каждодневной практике очень часты: мы желаем знать, что происходит на свете, и ежедневно читаем газеты, мы стремимся к получению точных сведений из той или иной области действительности и с этой целью читаем научные книги и отдельные исследования

или, наконец, обращаемся к знакомым и близким, употребляя вопросы «что» и «почему».

Но есть и иной путь: вместо получения от другого уже готовых нужных мне сведений и удовлетворения таким образом моей любознательности я пытаюсь своими силами добыть эти знания. С этой целью я вынуждаю себя собственными силами начать поиски или исследование и получаю знания не в готовом виде, а приобретаю их усилием собственного разума. Этот вид активности — также нередкое явление в нашей жизни.

Возникает вопрос: с какой формой поведения мы имеем дело в этом случае? Исходя из нашего анализа поведения, очевидно, во-первых, что здесь налицо определенная потребность (жажда знания) и, во-вторых, — акты субъекта, служащие цели непосредственного удовлетворения этой актуальной потребности. А это все суть признаки, характеризующие и так называемое поведение *потребления*. Это обстоятельство позволяет сделать вывод, что в подобном случае мы имеем дело с особой разновидностью потребления. Мы не видим принципиальной разницы между актами обыкновенного потребления и актами любознательности. Специфичным для последних является лишь то, что ведущая роль возложена здесь не на физические, а на психические акты, в частности на интеллектуальные. Вот почему мы считаем неверным рассматривать стремление к удовлетворению любознательности в одной плоскости с обычными видами потребления (еда, питье и т. д.); более правильным будет отнести их к отдельной форме поведения, типологически аналогичной поведению потребления и приближающейся к эстетическому — наслаждению.

2. Второй основной формой актов экстерогенного поведения является *труд*. Акты потребления, ухода и обслуживания иногда настолько осложняются, а труд иногда бывает столь простым по природе и содержанию, что стороннему наблюдателю очень трудно, а иногда и просто невозможно отличить их друг от друга. Пример: кто-то срубает в лесу дерево и там же пытается перекинуть его через ручей. Что же — трудится он или занят самообслуживанием? На этот вопрос

нельзя ответить до тех пор, пока, отступив от роли стороннего наблюдателя, мы не заглянем в «душу» субъекта. Предположим, что перед нами охотник, которому в лесу повстречался ручей, через который он не смог никак перейти, найти же дичь он рассчитывает как раз по другую сторону ручья. Он срубает дерево и пытается перебросить его, чтобы перебраться на противоположный берег. У него сейчас определенная потребность, являющаяся в настоящий момент для него актуальной: ему надо перейти на другую сторону, и это заставляет его действовать указанным образом. Он вовсе не ставит себе цели возвратиться указанным путем или же использовать когда-либо в другой раз этот импровизированный мост. Перекинул мостик и перешел на другой берег — вот и все! После этого сделанный им мост как мост для него уже не существует, он потерял все свое значение. Никто не скажет в данном случае, что наш субъект трудился. Все, вероятно, будут согласны в том, что здесь скорее самообслуживание, чем акт труда.

Однако положение тотчас же изменится, как только мы допустим, что указанный субъект действует не только под импульсом своей актуальной потребности, но и в силу намерения соорудить нечто такое, что всегда, а не только в настоящий момент могло бы представлять определенную ценность. В этом случае перекинутое через ручей дерево освободилось бы от нитей актуальной потребности субъекта, от всей конкретности данной ситуации и превратилось бы для него в реализацию определенной идеи, определенного понятия — понятия моста. Переброшенное через ручей дерево с этого момента в данном случае приобрело бы, так сказать, сверхсубъектное и сверхвременное значение; активация сил субъекта вызывалась бы не голым импульсом актуальной потребности, а намерением создать *произведение, имеющее объективную ценность.*

Само собой разумеется, что в этом случае разговор о потреблении, уходе или обслуживании был бы лишен всякого основания. Несомненно, что здесь мы имели бы дело с бесспорным фактом труда.

Следовательно, трудовое поведение характеризуется тем, что оно принципиально происходит помимо импульса актуальной потребности субъекта, и во всяком случае ценность, которая создается в этом процессе, выходит за пределы обусловленности этой конкретной потребностью: *труд производит продукт, содержащий объективный смысл, объективное значение*. Следовательно, он свойствен только существу, имеющему идею этой объективной значимости, существу, могущему перешагнуть за пределы конкретной данности и обладающему силой постижения смысла, заключенного в ней; короче говоря, труд возможен для существа, которое обладает способностью понятийного мышления.

Но было бы ошибкой полагать, будто намерение созидать объект, т. е. произведение, имеющее «сверхсубъектное» и «сверхвременнóе» значение, составляет признак, характеризующий только трудовое поведение. Ниже мы поведем речь о таких формах поведения, к которым хотя и совсем не приложимо название «труд», однако указанный признак мы встретим и у них. Характерным для труда является и то, что он всегда связан с какой-нибудь потребностью, поскольку ценность, созданная в этом процессе, служит всегда цели удовлетворения какой-либо потребности. Отличие в этом отношении от форм поведения потребления, ухода и обслуживания состоит только в том, что здесь импульсом поведения служит вот эта определенная, конкретная, актуальная для настоящего момента потребность, тогда как в случае труда такую функцию выполняет идея или понятие потребности. В этом смысле мы вправе были бы утверждать, что акты потребления, ухода и обслуживания являются актами, вплетенными в сеть всегда конкретной, всегда индивидуальной определенной потребности, тогда как труд содержит акты более отвлеченные, свободные от пут индивидуально определенной потребности.

Но если все это так, тогда понятно, что и потребление, и уход, и в принципе также и акты обслуживания строятся на основе инстинктивных тенденций, в то время как труд по существу своему предполагает уровень волевого развития: первые определены инстинктом (Trieb), вторые — волей.

Отсюда само собой следует, что труд подразумевает наличие и соучастие социальной среды и социального опыта, так как идея объективной значимости, понятийное мышление и воля являются формами активности, возникшими только на почве социальных условий. Находящийся на необитаемом острове и лишенный социальной среды Робинзон Крузо лишь отчасти может считаться трудящимся существом, поскольку он все же был мыслящим, волевым и вооруженным социальным опытом человеком.

Совершенно излишне говорить о труде где-либо в царстве животного мира. Специфику животного прежде всего составляют акты потребления и, наряду с ними, элементы ухода и обслуживания. Однако на это могут возразить, приведя в качестве примера постройку птицами гнезд, т. е. создание ими произведений, представляющих определенную ценность и, следовательно, говорящих о наличии у птиц труда. Для стороннего наблюдателя это именно так и есть. Однако достаточно присмотреться к внутренней стороне этого «труда», как сейчас же станет очевидным, что говорить здесь о труде абсолютно неверно. Еще Марксом, как известно, было отмечено, что животное, часто даже в наиболее сложных актах своего поведения, ограничено инстинктом, тогда как человек руководствуется созданной заранее идеей и реализует ее при помощи труда.

Но, помимо этого, гнездо для животного имеет значение только в контексте определенной индивидуальной потребности и в определенных временных пределах; при постройке гнезда животное руководствуется только импульсом актуальной и в данный момент испытываемой им потребности, а не идеей своей потребности, не тем, что гнездо может ему понадобиться и в будущем или может пригодиться кому-нибудь другому, поскольку такую же потребность имеют и все другие подобные животные. Животное не имеет вообще ни идеи потребности, ни идеи о другом, ни идеи времени — оно живет в практической действительности, и последняя только постольку существует для него, поскольку она связана с его актуальной потребностью. Объективная действительность как объективная ценность ему не известна. Поэтому-то и

неудивительно, что оно не имеет представления ни о прошлом и ни о будущем в особенности. Понятно, что при таких условиях гнездо для него включено только в контекст актуальной потребности и вне нее оно так же нейтрально, так же нереально, как и все остальное вокруг него в этом обширном мире, что не участвует в процессе удовлетворения его потребности и что практически для него инактивно.

Таким образом, постройка гнезда есть скорее акт обслуживания, тесно связанный с потреблением, чем труд.

То же следует сказать о белке, заготовляющей на зиму пропитание. Создается впечатление, будто животное руководствуется не актуальной потребностью, а идеей будущей потребности; как известно, белка не поедает всего того, что она добывает, собирая и сохраняя часть к зиме. Несмотря на внешнее сходство этого поведения животного с поведением, осуществляющимся на основе идеи будущего, в действительности оно не столь уж многим отличается от обычного животного поведения. Что белка не руководствуется идеей будущего, что собранные ею орешки, которыми она будет пользоваться зимой, в действительности не означают запаса, это очевидно из того лишенного всякого смысла поведения, которое можно наблюдать у белки, находящейся в неволе, в комнате человека: она и здесь действует так, как будто собирает орешки, несмотря на всю бессмысленность этого поведения.

Однако все это прежде всего касается понятия физического труда. Естественно рождается вопрос: неужели настоящий труд — только труд физический? Неужели так называемый умственный труд представляет собой иную форму поведения? Трудясь физически, человек неоднократно обращается и к умственным операциям: вне прочного участия мышления нельзя себе даже представить актов истинного производственного труда; без этого никто бы и не считал их за труд. Для успешности процесса труда необходим умственный учет особенностей материала, орудий, технических приемов. Перед субъектом встает целый ряд вопросов, требующих прежде всего активации его умственных сил. Однако вся его познавательная деятельность вплетена в контекст физи-

ческого труда и, следовательно, организована установкой создания материального продукта. Результатом этого является то, что вся эта активность — умственная и физическая — переживается как активность физического труда.

Однако на высшей ступени развития человека умственные компоненты труда получают уже некоторую самостоятельность; выделяясь из процессов конкретного труда, они приобретают собственную ценность. Зарождаются отдельные отрасли наук, призванные решать познавательные проблемы, встающие в процессе физического труда; примером этого могут служить технические отрасли научного знания. В дальнейшем развитие идет еще дальше: познавательные акты человека направляются не только на проблемы, связанные с физическим трудом, но и на проблемы, не имеющие непосредственной связи с процессами труда. Возникают и развиваются *теоретические* научные отрасли, служащие цели удовлетворения усложненного интереса человека к знанию.

Таким образом, познавательный интерес превращается в самостоятельную потребность, удовлетворение которой требует достаточно сложных умственных актов. Как мы видим, определяет эту активность интеллектуальная потребность; особенности самих сил и их действие в каждый данный момент зависят не от самих сил, а от природы той проблемы, которая должна быть решена. Поскольку это так, мы в этом случае несомненно имеем дело с экстерогенной формой активности.

Но имеет ли место и в этом случае намерение создать произведение, как это было характерно для трудовой деятельности? Актуальный интерес, находящий себе выход в процессе умственной активности, удовлетворяется не самой активностью как процессом, на основании чего мы и отнесли ее к экстерогенной форме поведения. Нет, этому интересу, этой потребности нужен только тот результат, которого достигает процесс интеллектуальной активности.

Результат этот мы получаем в виде мысли или тезиса о познаваемой сфере действительности, и потому его можно считать продуктом, произведением умственной активности. Эта мысль обычно приобретает объективно оформленный

вид: ученый придает ему словесную форму — устно или письменно (скажем, в виде книги и пр.). Однако продукты умственной активности готовы еще до того, как произойдет их окончательное словесно-письменное оформление. В этих продуктах и находит умственная работа свой смысл, свое значение, в силу чего существенной разницы между ней и трудом нет и с точки зрения произведения продукта.

Исходя из этих соображений, надо считать совершенно правильным обычное пользование словами «труд», «умственный труд» как названиями, выражающими умственную активность. Таким образом, мы вполне вправе, наряду с физическим трудом, признать существование и так называемого *умственного труда*.

3. Есть, однако, целый ряд профессий, которые не имеют непосредственно в виду создания какого-либо произведения. Несмотря на это, они составляют содержание жизни достаточно большой группы людей. К примеру, можно указать на *транспортные* профессии. Возьмем хотя бы шофера. Шофер, сидящий весь день за рулем и наезжающий многие километры пути, несомненно, непосредственно не создает никакого продукта или произведения; он только лишь меняет местоположение ценности, созданной другим, перемещает ее с одного места на другое. Конечно, свою энергию шофер расходует не без пользы. Его профессия не менее необходима обществу, чем профессия производственника. Однако, поскольку деятельность шофера не имеет своим непосредственным результатом созидание продукта, может встать вопрос: «трудится» он или же это столь целенаправленное расходование им энергии является какой-то особой формой поведения человека?

Когда вопрос касается транспортировки какого-нибудь материала, из которого производственник делает затем что-то, то шофера можно рассматривать в качестве соучастника производства, так или иначе и он тогда создает произведение. Но ведь понятие транспорта (транспортировки) вовсе не подразумевает перевозку одного только материала. Существует не только грузовой, но и пассажирский транспорт — пассажирские поезда и машины, и, помимо этого, грузом мо-

жет быть не только материал, но и совершенно готовый продукт. Следовательно, транспорт в *сущности* не является непосредственным участником производства, хотя *случайно* и может играть в производстве весьма значительную роль.

Так что же такое тогда транспорт?

С зачатками транспорта мы встречаемся уже в мире животных, когда коршун похищает цыпленка, он уничтожает свою жертву не на месте, а переносит сначала в какое-либо укромное место. Так же поступает и волк, похищающий ягненка. А вот еще более простой пример, но уже из жизни человека: когда я отламываю кусочек хлеба и подношу его ко рту, то это тоже можно рассматривать как рудиментарный зародыш транспорта. Конечно, последний случай мы не будем относить к труду; мы уже знаем, что он подходит к той группе актов поведения, которая выше была названа *обслуживанием*.

Исходя из этого, *транспорт* можно было бы в сущности рассматривать в качестве одной из разновидностей обслуживания. Но на высших ступенях развития социальной жизни, на почве разделения труда, он переходит обычно в отдельные руки. Вследствие этого субъективно, т. е. для того лица, которое им занимается, отрываясь от идеи конкретной потребности, он приобретает совершенно независимое значение; в этом случае работник транспорта работает не ради удовлетворения потребности какого-либо конкретного лица, но ради независимой ценности. Поэтому для субъекта транспорт приобретает все моменты, характерные для труда: он целиком переживается как труд.

То, что нами сказано относительно транспорта, *mutatis mutandis*, может быть повторено в отношении множества других актов деятельности. Допустим, что кто-то упал в воду и тонет, а другой, видя это, с целью спасения тонущего, быстро раздевшись, бросается в бушующие волны и после тяжелых и длительных усилий выносит его на берег. Что можно сказать относительно этого случая? Конечно, все скажут, что здесь налицо похвальная самоотверженность и даже геройство. Все это, возможно, и так, но что представляет собой само это поведение? Трудился ли пловец, когда для спасения

жизни человека боролся с волнами, или же мы имеем здесь дело с какой-либо иной формой поведения?

В принципе тут перед нами та же форма поведения, с которой мы познакомились выше, — *уход*: на самоотверженный поступок способен только тот, кто к другому относится так же, как к себе.

Однако с усложнением жизни акты ухода также приобретают независимость: они становятся *ценными сами по себе*, как будто личность, актами ухода за которой они являются, почти не имеет никакого значения; место определенной личности занимает идея человека вообще, кто бы он ни был — все равно; и возникает возможность превращения поведения ухода в отдельную профессию. В наши дни действительно существует такой профессионал — например, нанятый пловец («спасатель»), находящийся в определенном месте и готовый в нужную минуту прийти на помощь неосторожному купальщику.

Таким образом, ясно, что акты ухода, как и акты поведения обслуживания, на сравнительно высокой ступени развития психологически теряют свой зависимый характер и, приобретая объективное значение, переживаются субъектом в виде трудовой активности.

Однако возникает вопрос: теряют ли вследствие этого названные акты поведения свои специфические особенности и переживаются как обычные трудовые акты или же в них есть что-то такое, что превращает их психологически в особую форму поведения? Когда человек оформляет какой-либо материал таким образом, чтобы получить из него продукт, имеющий независимое значение, т. е. когда он трудится в настоящем смысле этого слова, он и внутренне направлен на эти продукты — перед глазами у него все время как бы маячит идея этого продукта. Когда же трудится шофер или борется с волнами спасатель, он направлен не столько на продукт, сколько на ход самого процесса поведения: на перемещение материала, на спасение утопающего. Поэтому, исходя из обыденного словоупотребления, более подходящим, чем труд, для этой формы поведения может быть слово «занятие»; в процессе обслуживания и ухода производится не продукт, а выполня-

ется дело, осуществляется занятие. Это обстоятельство дает основание думать, что в данном случае мы сталкиваемся с психологически некоторым образом отличной формой поведения, которое может быть названо *делом* или *занятием*.

Если окинуть теперь взором ту общую категорию поведения, которая нами была выделена под именем экстерогенного поведения, мы увидим, что она содержит две отличные друг от друга (каждая в своей области) доминантные формы поведения, вокруг которых объединяются несколько различных, но зависимых форм. Как мы убедились выше, первой является *потребление*, а второй — *труд*. Рядом с первой должны быть помещены *уход* и *обслуживание* (самого себя и другого), а рядом со второй — *умственный труд* и *занятие*.

Как выше уже было сказано, экстерогенными все эти формы поведения мы назвали потому, что импульс активности человека исходит здесь из потребности. Что же касается того, какова будет активность, т. е. каков должен быть предмет, соответственно чему должны активироваться внутренние силы, — это зависит от природы данной потребности: предмет, предлагаемый нашим силам, зависит от потребности, а не от самих сил. С этой точки зрения экстерогенные акты поведения являются принудительными.

Однако богатство сил человека не исчерпывается только тем, что в тот или иной момент оно вызывается и приводится в действие той или иной потребностью. В нашем распоряжении есть и другие силы, другие функции. Понятие *функциональной тенденции*, обоснованное нами в другом контексте, делает понятным, что функция, внутренняя сила, может активироваться не только под давлением потребности, но и самостоятельно, автономно. В этом случае предмет, обусловливающий действие каждой из этих сил, субъекту или его силам предлагается уже не извне, подневольно, а внутренне, автономно. Как выше было сказано, мы имеем здесь дело с особыми типами действий, с определенными формами поведения, которые составляют вторую основную категорию поведения, названную нами выше *интрогенной*.

Какие же формы поведения составляют эту вторую группу? Недавно я имел возможность опубликовать определенную

теоретическую концепцию игры, согласно которой игра должна быть отнесена к категории интрогенного поведения человека. Старейший вопрос — почему играет ребенок и почему он играет именно так — находит свое окончательное решение на основе понятия функциональной тенденции; это означает, что внутренние силы ребенка в процессе игры активируются к действию не под актуальным давлением какой-либо содержательной («вещной») потребности, а под собственным внутренним импульсом. Предмет, помимо которого невозможна никакая активность, избирается не внешней потребностью, а внутренними предуготовленными к активности силами. Следовательно, игру надо считать не экстерогенной, а скорее интрогенной формой поведения. Поскольку игра является формой спонтанной активации всех сил человека и их наследственно закрепленных комплексов, она должна быть наиболее *генеральной* формой поведения. В ней действуют не только комплексы, сформировавшиеся в одну какую-либо форму поведения, но и соответствующие всем остальным формам поведения интерфункциональные комплексы. В игре могут обнаружиться все указанные выше формы поведения человека, во всех своих разновидностях: и потребление, и уход, и обслуживание, и труд, и занятие. Уже поверхностному наблюдателю известно, что в игре ребенка встречаются всевозможные формы активности человека. Но порождены они в данном случае не необходимостью удовлетворения соответствующих потребностей, а фактическим наличием в ребенке комплексов определенных сил и импульсами их функциональной тенденции. Поэтому-то игра имеет столь большое объективное значение, поэтому-то она является, как говорит Гросс, «подготовительной школой».

Но игра является специфической формой поведения ребенка. Как известно, основное содержание жизни раннего детского возраста составляет именно игра. Остальные формы поведения, в особенности же экстерогенные, либо совсем не встречаются, либо же представлены крайне слабо. Исключение составляет форма поведения потребления, однако и та большей частью встречается здесь в своем врожденном моторном содержании. Среди же форм поведения взрослого

игра встречается больше как исключение; во всяком случае более свойственна она для периода детства, и если в своем чистом виде она может встретиться в жизни взрослого, то тогда мы имеем, несомненно, дело с оживлением рудимента детства.

Но это не значит, что взрослому свойственны одни лишь акты поведения экстерогенного содержания. Нет. В основе его активности может нередко лежать и функциональная тенденция. Иначе и не могло бы быть. Нельзя допустить, чтобы случаи активности, стимулированные целью удовлетворения потребностей, могли бы всесторонне удовлетворить его потребности в активности. Напротив, бывают случаи, когда силы человека только лишь частично и односторонне действуют под давлением ежедневных потребностей. В этих условиях, пока у него еще сохранились и другие силы, он, несомненно, будет чувствовать импульс активации последних и создание, выискивание соответствующего им предмета, т. е. активирование этих сил, станет для него совершенно необходимым. Следовательно, нет сомнения, что формы интрогенного поведения должны встречаться и у взрослых людей. Надо полагать, что без этого, при наличии одной лишь экстерогенной активности, развитие сил человека носило бы односторонний характер: человеку совершенно необходима «свободная игра сил».

Но если не в виде игры, то как же еще обнаруживается в жизни взрослого человека эта «свободная игра сил»? С какими формами интрогенного поведения встречаемся мы в жизни взрослого?

Несомненно, что их надо искать в те моменты жизни человека, когда он свободен от забот по удовлетворению своих серьезных потребностей, когда он, так сказать, свободен от дел. Бесспорно, что все это свободное время не занято сном; нередко хотя он и свободен от каждодневных забот, однако все же что-то «делает». Но что именно?

Чаще всего он *развлекается*. *Развлечение* не значит лень; это, несомненно, одна из форм поведения. Нередко ее даже не отличают от игры. Действительно, бывает же, что человек развлекается игрой. Однако разве это значит, что иначе он не

мог бы развлечься и что игра и развлечение взаимно не перекрываются? Человек может развлекаться, например, также и чтением, и театром, и концертом или кино, пением или танцем, прогулкой, беседой со знакомыми или приятелем, игрой в шахматы. Несомненно, не одна лишь игра доставляет нам развлечение. Развлечение — больше, чем игра, однако и игра не является только развлечением; и она — больше, чем развлечение. Как же понимать развлечение? Составляет ли оно действительно особую форму поведения?

Уже тот известный факт, что одним из эффектов игры является также и развлечение, указывает нам на то, что между ними должно быть нечто общее. Как известно, игра есть спонтанное, свободное действие сил человека. Но и развлечение не является пассивным состоянием: оно также представляет собой некоторую активность, однако, безусловно, не подневольную, вызванную импульсом ежедневных потребностей; поведение развлечения — вполне свободная и добровольная активность. Следовательно, оно является одной из форм не экстерогенного, а интрогенного поведения; направляющий импульс, как и в случае игры, здесь должен исходить из функциональной тенденции. Вот, собственно, все, что оно имеет общего с игрой. В остальном между ними весьма существенная разница.

Как выше нами уже было сказано, игра является некой генеральной формой поведения: все формы экстерогенного поведения могут составить содержание игры. Поэтому игра всегда является как будто формой того или иного серьезного поведения; она является «разыгрыванием» серьезной жизни человека, ее, так сказать, «представлением». Настоящая игра — это всегда игра иллюзий. Совсем иное дело — развлечение. Здесь мы имеем дело с совершенно иным положением; здесь нет никакого «представления», никакого разыгрывания, иллюзии. Все, что здесь делается, по существу есть то же, чем оно является феноменологически. Возьмем, к примеру, чтение книги. По содержанию оно может быть и игрой, и развлечением. В первом случае ребенок не действительно читает ее, а «как будто читает»; во втором же случае мы в *действительности* читаем, но только не с целью удовлетворения

какой-нибудь серьезной потребности — потребности приобретения знания или получения эстетического удовольствия, а только лишь для того, чтобы прочесть, дать пищу нашим духовным силам, предоставить внутренним функциям предмет, который дал бы им возможность активироваться. Или когда мы поем, танцуем, гуляем, играем в шахматы или беседуем с кем-либо, — разве мы «представляем» здесь что-либо? Разве пение, танец, шахматы или беседа означают что-нибудь иное, чем они есть на самом деле, и разве здесь не имеют места настоящее пение, настоящий танец, настоящие шахматы? В случае игры это не так: там мы всегда имеем дело как бы с пением, как бы с танцем, как бы с беседой.

Таким образом, мы видим, что акты, составляющие развлечение, подобно игре, порождены импульсом функциональной тенденции. Однако цели они здесь достигают своим функциональным содержанием, а не разыгрыванием «смысла» или «значения», заключенного в них. Акт развлечения мы всегда переживаем подобно акту отдыха, чего нельзя сказать об игре.

Близко к развлечению стоит вторая специфическая форма поведения, элементы которой встречаются еще в раннем детском возрасте и которая впоследствии формируется под именем *спорта*. К *спорту* мы нередко прибегаем с целью развлечения. Однако, как и в случае игры, это еще не дает достаточного основания для того, чтобы не различать их между собой. Дело в том, что основное переживание субъекта в обоих случаях различно, и психологически это уже достаточное основание, чтобы считать их разными формами поведения.

Что же мы обыкновенно подразумеваем, когда говорим о спорте? В первую очередь спорт касается моторных функций. Первичное назначение последних всегда составляет служба какой-либо цели, какой-либо потребности; ни одна моторная функция сама по себе не имеет значения. Это все столь очевидно, что, по общему убеждению, всякое движение непременно вызвано каким-нибудь внешним моментом — какой-либо причиной или какой-либо целью. Само же движение как спонтанный акт человеку кажется непонятным. Согласно распространенному взгляду, всякое движение

в конце концов может быть сведено к рефлексу. Так называемая рефлексология представляет собой крайнюю точку этого взгляда: не только явно моторные функции, но и все другие человеческие функции она относит к явлениям двигательного и, следовательно, рефлекторного типа. Однако, несмотря на это, бесспорно, что живой организм, и в особенности человек, нередко и в таких случаях производит те или иные, иногда достаточно сложные, движения и целые комплексы их, когда для этого нет никакой внешней причины. Импульс в этом случае надо искать в самой функции или в самом субъекте. Функционирование, и в первую очередь функционирование моторного аппарата, как это счел необходимым особо подчеркнуть К. Бюлер, само по себе доставляет удовольствие. По его убеждению, это так называемое *удовольствие функции* может стать независимым двигателем, стимулирующим моторный аппарат живого организма, причем, даже когда нет никакой биологической потребности, создающей в этом необходимость. Моторные акты, следовательно, могут иметь и независимый генезис. Если освободить этот взгляд Бюлера от элементов гедонизма, его, бесспорно, можно будет отнести к значительным научным достижениям. Но тогда рациональное ядро этого положения будет выглядеть намного иначе. Моторная функция может иметь независимый характер, однако не кажущийся, как это получается по Бюлеру, а как существующий в действительности. Двигатель ее надо искать в ней же самой, а не в том результате, который может следовать за ней. Невозможно допустить, чтобы удовольствие функции предшествовало как возбуждающий импульс приведению в движение моторной функции. Оно может быть только ее следствием. Но если же оно возникает только в результате активации функции, принципиально невозможно рассматривать его как моторную активность: ведь должен же был быть когда-то в жизни организма случай такой активации моторной функции, когда ему еще было незнакомо удовольствие функции. Но что же тогда определяло факт активации этой функции? Несомненно, что функция движения сама по себе содержит импульс актива-

ции: функция, так сказать, сама стремится к деятельности, сама имеет тенденцию функционирования.

Отсюда понятно, что человек нередко производит движения, которые вовсе не направлены на осуществление какой-либо заданной извне цели: движение здесь производится как будто для движения же, а не для чего-то другого. В этом факте мы имеем дело с импульсом самоукрепления функции движения. Но самоукрепление движения означает также и развитие его, и понятно, что человек как существо, обладающее сознанием, может разумно относиться к импульсу функциональной тенденции своего моторного аппарата и создавать особые условия для ее проявления, ее активации; для этой тенденции своих внутренних сил он может сам создавать соответствующие внешние условия, предмет. Когда человек свободен от обычных забот, когда он недостаточно занят, он имеет возможность уделить внимание функциональной тенденции своего моторного аппарата, дать ей возможность проявиться. Вот тогда-то он и начинает двигаться: бегать, прыгать, поднимать тяжести, играть в мяч, плавать, скользить по льду... Он замечает при этом, что его моторный аппарат от этого только укрепляется и развивается. Факт этот он называет *упражнением,* и, поскольку в понятии упражнения переживаются улучшение функции, ее укрепление и усиление, а последнее же становится очевидным ему при сравнении, у человека зарождаются идея и импульс соревнования. Таким именно образом превращается активация функциональной тенденции в упражнение, а последнее — в соревнование и спорт.

Однако было бы заблуждением полагать, что все это имеет силу только в отношении моторного аппарата и его функций. Все это полностью относится ко всем другим функциям, и в частности к умственным функциям. Поэтому спорт касается не только функций тела, но более или менее и умственных функций; если, например, футбол входит в содержание понятия моторного спорта, не менее спортивный характер имеют шахматы, несмотря на то что участие моторного аппарата здесь минимально.

Таким образом, когда субъект создает условия повторной активации своей функции с целью оценки и упражнения ее возможностей, он превращается в субъект особой формы поведения, в субъект спорта.

Элементы спорта можно наблюдать и в раннем детском возрасте, когда в течение первого года своей жизни ребенок упражняет свое тело, производя повторно одно и то же движение, — старается встать на ножки или ходить, когда он, используя термин Бюлера, занимается «функциональной игрой», то он, по нашему мнению, не играет, а обнаруживает элементарные акты спортивного поведения. Но когда на более высокой ступени, в школьном возрасте, к аналогичным движениям присовокупляется переживание проверки силы функции и ее усовершенствования, мы имеем уже дело с более определенной формой спортивного поведения.

Бюлер, между прочим, рассматривает спорт как одну из ступеней в развитии игры. Мы видим, что это не так. Правда, начальные элементы спорта можно наблюдать и в раннем детстве, однако надо иметь в виду, что четко сформировавшихся форм этого поведения у ребенка нет; они, как и все вообще формы поведения, зарождаются, растут и дифференцируются в процессе развития. Ясно поэтому, что четкое выделение спорта из других форм поведения маленького ребенка — дело нелегкое. Но, несмотря на это, все же возможно выделить из инвентаря поведения ребенка некоторые акты, которые должны быть рассматриваемы в качестве зачатков именно спорта, а не, например, игры.

Что представляет собой художественное творчество? Является ли оно одним из видов труда и, следовательно, относится ли оно к экстерогенным формам поведения или же его место среди актов интрогенного поведения? Художественное творчество заканчивается всегда каким-либо *произведением*. Вне этого никто его не назвал бы творчеством: творчество означает созидание чего-то. В этом отношении между ним и трудом нет никакой разницы. Если же к этому добавить еще и то, что произведение это обладает объективной ценностью и, следовательно, должно удовлетворять определенной потребности, то между ним и трудом как будто вооб-

ще стирается всякая грань. Несмотря на это, знаменательно и симптоматично, что художественное творчество никто обычно не называет трудом.

В чем состоит разница между художественным творчеством и трудом и насколько она обоснованна?

Начиная трудиться, человек прежде всего имеет в виду продукт своего труда, который обязательно должен удовлетворять определенной потребности. Удовлетворение потребности является, так сказать, основным, ведущим аспектом, придающим смысл и ценность всему трудовому акту: трудится человек потому, что имеет в виду определенную потребность, удовлетворение которой возможно только с помощью определенного продукта, определенного произведения, и главным, основным для труда является намерение создать продукт, способный удовлетворить эту потребность. Соответственно с этим человек вынужден активировать именно те силы, которые необходимы для создания продукта, способного обеспечить удовлетворение этой потребности.

Совершенно иначе обстоит дело в случае художественного творчества. Говорить, что и художником движет какая-то определенная потребность, пусть даже потребность эстетического удовольствия, и он стремится создать художественное произведение, способное удовлетворить эту потребность, — нельзя. Если бы дело было в удовлетворении потребности эстетического наслаждения, вероятно, никогда бы не возникал импульс собственного художественного творчества. В этом случае было бы вполне естественно для художника обратиться к произведениям других лиц, чтобы с их помощью удовлетворить свою потребность. Так именно поступает каждый из нас, и в том числе сам художник, когда хочет удовлетворить эстетическую потребность: он направляется в художественную галерею, чтобы испытать, пережить творения выдающихся мастеров, он берется за Гёте или Руставели, а не сам начинает предварительно писать картину или сочинять стихи, чтобы затем удовлетворить с помощью собственного же произведения свою эстетическую потребность. Нет никаких оснований думать, что импульс художественного творчества идет из потребности в эстетическом

наслаждении, между тем как в случае труда все определяется именно аспектом удовлетворения потребности.

Так в чем же искать импульс художественного творчества? Ответить на этот вопрос будет нетрудно, если мы поставим другой вопрос: если для художника не является главным создание произведения, максимально удовлетворяющего его собственную потребность в эстетическом наслаждении, то к чему же он стремится в процессе своего творчества? В каком случае чувствует он удовлетворение от своего художественного творчества, и, следовательно, если не потребности в эстетическом наслаждении, то чему же служит художественное творчество? Художественные произведения художественными называются не потому, что они адекватно изображают нечто объективно существующее. Если бы это было так, то величайшим искусством была бы фотография. В действительности, несмотря на возможность точнейшего изображения действительности, никто не относит ее к искусству. Нет, искусство не служит цели соответствующего изображения объективно данных предметов; его задачей является выражение интимных установок самого художника. Искусство — это форма воплощения внутреннего, и поэтому оно дает не фотографическую репродукцию действительности, а в порядке объективации установок личности художника создает новые формы действительности. Но если произведение искусства есть объективация интимных установок художника, следовательно, оно является обогащением существующей действительности, созиданием, творчеством новой действительности.

Но если это так, то легко понять, что же именно движет художником, когда он приступает к художественному творчеству. Импульс художественного творчества, несомненно, надо искать в стремлении воплощения установок художника и, следовательно, в стремлении к их завершению и реализации. Художественное творчество состоит в борьбе за адекватное воплощение установок художника, и ясно, что чем более успешна эта борьба, чем более адекватны формы, находимые художником, тем больше удовлетворения приносит творцу процесс творчества.

Отсюда очевидно, что художественное творчество является одной из форм такого поведения, импульс которого проистекает из недр функциональной тенденции, и место его, следовательно, надо искать среди интрогенных форм поведения. Как это было в случаях развлечения, спорта и игры, в случае художественного творчества чувство удовольствия и удовлетворения в конечном счете вызывается не результатом активности, а самим ее процессом. Все эти формы поведения носят процессуальный характер.

Несмотря на это, художественное творчество специфически отлично от остальных интрогенных форм поведения. Продукт, произведение, играет там значительно большую роль в течение всего процесса поведения и его характера, чем в ином другом случае. Степень, в какой находит здесь удовлетворение функциональная тенденция, зависит в конечном счете от того, каким будет продукт творчества; степень же удовлетворения субъектом процессуальной стороной творчества в конце концов зависит от того, насколько адекватно воплощены в произведении искусства его (субъекта) внутренние переживания. Идея произведения искусства не только ежеминутно определяет процесс творчества, но и зовет к его окончанию и завершению. Процесс художественного творчества потеряет свой смысл, если он прекратится до завершения произведения. В игре же дело обстоит не так: каждый отрезок процесса имеет здесь свою независимую ценность, а потому и принципиально и фактически он может прекратиться в любой момент. Так же в развлечении и, в сущности, в спорте. О создании здесь какого-либо произведения, конечно, говорить не приходится. Зато главное здесь *успех*, венцом которого в спорте является *рекорд*. По существу, он имеет значение произведения. Разница заключается в том, что успех — признак самого акта, самой функции, а не результат, получаемый в виде продукта активации функции. Поэтому спорт также носит процессуальный характер. Хотя в этом отношении художественное творчество ближе к процессу труда, однако, несмотря на это, как мы выше убедились, его все же надо отнести к процессуальным формам поведения.

10 Зак № 137

Согласно одной из теорий художественного творчества — теории Шиллера и Гросса, — искусство происходит из игры. Поскольку они оба — и художественное творчество и игра — представляют собой формы поведения, возникающие на основе нереализованных установок и функциональной тенденции, они основаны на здравом смысле. Однако, поскольку обе эти формы поведения все же специфически различны, общего между ними, кроме указанного, не может быть ничего. Мы уже имели случай противопоставить их — художественное творчество и игру — друг другу. Как мы видим, эти две формы поведения действительно специфическим образом отличаются друг от друга. Чтобы внести в это положение больше ясности, обратимся к такому примеру: допустим, в войну играют дети, и войну представляют на сцене. Одинаковым ли будет поведение в этих двух случаях? Несомненно, случаи по существу будут отличаться друг от друга. В первом случае игра протекает свободно и каждый из участников, в определенных и достаточно широких границах, поступает так, как ему вздумается. Он может, когда пожелает, даже совсем бросить игру: от этого значение и смысл его игры ничего не теряют, от нее ничего не убывает. Участие же в представлении войны на сцене связано с потерей такой свободы поведения, поскольку оно должно быть строго подчинено намерению придерживаться возможности адекватного изображения войны. Если хочешь участвовать в представлении, то ты уже не можешь по желанию прекратить «игру»; в противном случае драматическое искусство представления превратится в простую игру. Тенденция адекватного представления войны, тенденция ее соответствующего воплощения придают здесь поведению от начала до конца определенно подневольный характер, тогда как в случае обычной игры «в войну» каждый ее момент имеет самостоятельное значение, по существу не определяя целого, будучи сам обусловлен этим последним. Из этого примера ясно, что представление или художественное творчество и игра психологически совершенно отличны друг от друга: несмотря на то что в обоих случаях в центре интереса участников стоит само действие или сама активность, в случае игры эта активность психологически в каждый дан-

ный момент независима, в случае же художественного творчества — неразрывна с целым, от начала до конца определена им. Отдельные акты поведения там сами по себе имеют значение, здесь же они являются только средствами, служащими идее воплощения целого. Несмотря на это, к этим актам поведения субъект обращается не потому, что он заинтересован в их результате, а потому лишь, что он чувствует импульс выполнения актов, определенных этим целым.

Что же сказать об эстетическом наслаждении? Никто не будет отрицать того, что человек нередко испытывает своеобразную потребность, удовлетворить которую можно путем переживания красоты, заключенной в произведении искусства или в природе. Эстетическое удовольствие является тем именно состоянием, когда субъект удовлетворяет эту свою потребность. Так же как и в случае удовлетворения других обычных потребностей, и здесь мы обязаны различать две категории актов. Первая — акты удовлетворения самой потребности (в случае эстетического наслаждения — созерцание произведения искусства); вторая — комплекс актов, создающих условия их реализации (в случае эстетического наслаждения — приобретение билета в театр, приход туда, поиски своего места и т. д.). Из этого как будто ясно, что эстетическое наслаждение относится к той форме поведения, которая нами была названа выше *потреблением*. Однако достаточно глубже вникнуть в его сущность, чтобы убедиться в том, что эстетическое наслаждение в достаточной мере отлично от обычных актов потребления. Обратимся для примера к акту еды. Субъект испытывает потребность в пище: организм его нуждается в определенном веществе (пище). Удовлетворение этой потребности производится вводом этого вещества в организм и его ассимиляцией. Что же касается самих актов, необходимых для этого (откусывание, разжевывание и пр.), сами они непосредственно не участвуют в удовлетворении потребности; удовлетворение потребности голодного организма возможно и помимо этих актов; если в организм пища будет поступать, даже минуя акты еды, то все равно его потребность будет удовлетворена; ибо известно,

что и путем искусственного питания жизнь организма можно сохранять достаточно долго.

Аналогично ли этому эстетическое наслаждение? Как обычно, и здесь для удовлетворения потребности необходим определенный предмет — произведение искусства. Но предмет здесь играет совсем непохожую роль. Тогда как там (например, в случае еды) удовлетворение потребности происходит только предметом, а не актами, необходимыми для его получения и усвоения, здесь, в случае эстетического наслаждения, напротив, основное и существенное значение имеют сами акты: удовлетворение потребности производится не самим предметом, а реализацией тех актов, которые возникают под воздействием предмета — произведения искусства, — т. е. эстетическим созерцанием. Если бы потребность в питании заключалась только в активации актов процесса питания (откусывание, разжевывание, проглатывание), а не в ассимиляции самих питательных веществ, то тогда между ней и эстетическим наслаждением не было бы существенной разницы и ясно, что процесс питания нельзя было бы рассматривать как отдельный вид поведения. Но поскольку это не так, и даже, напротив, произведение искусства лишь постольку имеет значение удовлетворения эстетической потребности, поскольку предоставляет нам возможность активации именно нужных актов, его нельзя рассматривать не только в качестве разновидности обычного поведения потребления, но даже и вообще в качестве формы экстерогенного поведения. С другой стороны, как это видно из нашего анализа, несомненно и то, что нельзя отрицать его родства с поведением потребления. Тем самым мы убеждаемся, что если среди интрогенных форм поведения в случае художественного творчества мы имеем дело с аналогом труда, то в лице эстетического наслаждения налицо аналог поведения потребления.

Таким образом формы поведения человека делятся на две главные группы, которые могут быть представлены в форме перечня (см. табл. 21).

Было бы заблуждением, однако, считать, что эти формы поведения разделены между собой какой-то непроходимой стеной. Напротив, в нашей обыденной жизни они настолько

Таблица 21

Экстерогенные	Интрогенные
Потребление	Эстетическое наслаждение
Обслуживание	*Художественное творчество*
Уход	Игра
Труд	Спорт
Любознательность	Развлечение
Занятие	

тесно связаны между собой, что не всегда легко какое-либо конкретное поведение человека отнести к той или иной определенной форме. Поскольку в основу классификации форм поведения положена психологическая точка зрения, надо полагать, что для отнесения поведения человека к той или иной форме исходным и основным является само переживание субъекта. Представляет определенный интерес показать, как часты случаи, когда объективно якобы совершенно идентичные поведения, в зависимости от основного переживания субъекта, в действительности оказываются существенно различными. Это явилось бы одним из непреложных доказательств в пользу того взгляда, что научное исследование поведения на основе бихевиористской психологии является делом совершенно безнадежным. Однако специальное рассмотрение этого может увести слишком далеко. Вполне достаточно здесь предупредить читателя, что выделенные нами формы поведения в конкретной действительности не резко разграничены между собой и нередко переходят друг в друга.

Однако исчерпывается ли поведение человека только установленными выше формами или же есть случаи, когда нельзя даже сказать, к какой из указанных выше форм поведения можно его отнести?

Возьмем пример *учения*. Не подлежит сомнению, что оно занимает весьма значительное место в жизни живого организма, в особенности человека. Что представляет оно собой?

Отдельная ли это форма поведения или же она относится к одной из форм, охарактеризованных выше? Обыкновенно принято считать, что учение является всего лишь разновидностью труда, в частности умственного труда. Мнение это столь популярно, что некоторым может даже показаться странной такая постановка вопроса. И действительно, как можно усомниться в том, что учение, в особенности школьное, может быть чем-либо другим, кроме как разновидностью умственного труда. Таков общераспространенный взгляд. Тем не менее не представляет большого труда убедиться в полной его несостоятельности.

Чем же вызвана такая популярность этого ошибочного мнения? Когда мы говорим, что учение — это как бы своеобразная разновидность умственного труда, у нас, несомненно, заранее уже есть какое-то понимание учения. А именно: мы думаем, что целью учения является приобретение каких-то ценностей, например — навыка или знания. Но для достижения этого необходима определенная активность, следствием которой явится приобретение навыка или знания. Так же в труде, где главное — продукт; сама же активность, создающая этот продукт, как и вообще всякое средство, не имеет независимого значения. Точно так же обстоит дело и с учением. Главной заботой здесь считается знание или навык как продукт учения; само же учение рассматривается как затрата энергии, необходимой для получения продукта, и энергии, нужной и значимой лишь постольку, поскольку без этого не получить ни навыка, ни знания. Следовательно, здесь заранее предполагается, что так же как труд был бы бессмыслен, если бы продукт труда давался в готовом виде, так и учение было бы совершенно лишне, если бы необходимые знания и навыки получались без него. Словом, согласно предварительно не проверенному взгляду, учение само по себе никакого значения не имеет, ценны только навыки и знания, достигаемые нами при помощи учения.

Однако так ли глубока аналогия между продуктом учения и продуктом труда, чтобы считать это мнение обоснованным? Когда речь идет о труде, в сфере нашего внимания всегда находится тот продукт, ради которого мы вынуждены

затрачивать свою энергию. Кроме создания этого продукта, в понятии труда не подразумевается получения какого-либо другого эффекта. От конкретного трудового процесса не требуется ничего другого, кроме этого конкретного продукта. Обстоит ли так дело и с учением? Мы обучаем ребенка письму, и вот он уже выучился писать две-три буквы. В чем же здесь эффект учения? Неужели только в умении писать эти две-три буквы? Конечно нет! Кроме умения их писать он приобрел и нечто другое, чего у него не было ранее, и приобрел именно вследствие того, что мы научили его этим нескольким буквам, — он приобрел умение активно регулировать в определенных границах работу своих малых мышц. Научившись писать эти две-три буквы, он, кроме этого, приобрел и нечто другое: он способен сейчас легче овладеть письмом других букв. А когда он научится писать несколько слов, он будет знать, как писать не только эти слова, но и другие. Поэтому, для того чтобы научиться писать, вовсе не надо учиться писать все те слова, случаи написания которых нам представятся когда-либо впоследствии. Грамотный человек умеет, конечно, писать и такие слова, которым не только никогда не учился, но которых раньше даже и не слыхал.

Все, что было сказано относительно обучения письму, можно полностью отнести ко всякому другому учению. Иное дело труд. Он дает только один определенный продукт и ничего больше. Иначе говоря, обучение предполагает приобретение не только этого конкретного, индивидуального навыка или знания, которому мы научаемся в настоящий момент, но и нечто большее, а именно: оно направлено на развитие соответствующих сил учащегося.

Поэтому-то, говоря об обучении, всегда имеют в виду научение письму вообще, а не научение писать то или другое слово; в случае же труда говорить о делании *вообще* стола или делании другого какого-либо предмета *вообще* — бессмысленно.

Что это действительно так, что между трудом и учением в этом отношении есть существенная разница, очевидно также и из того, что понятие учения значительно шире не только понятия умственного труда, но и понятия труда вообще.

Учение касается всех без исключения форм поведения. Человек может обратить в предмет учения и акты потребления, — во всяком случае акты, имеющие природу условных рефлексов, но объединенные в комплекс поведения потребления, — и все формы труда, ухода и обслуживания, а также и акты умственного труда и занятия. Одним словом, нет ни одной экстерогенной формы поведения, которую нельзя бы было превратить в предмет учения. Более того, все формы поведения в том или ином виде и до той или иной степени становятся нам доступными только на основе обучения. Уже этого, не вызывающего сомнений, факта достаточно, чтобы поставить под сомнение взгляд о тождестве труда и учения.

На что же указывает, однако, этот, так сказать, генеральный характер учения? Несомненно, что как одна из форм активности учение должно иметь в виду прежде всего не продукт или предмет, в связи с которым осуществляется этот процесс, а развитие активирующихся в этом процессе сил. Активность, возникающая в процессе учения, имеет, следовательно, не только значение средства, но и свою независимую ценность; основное место в учении занимает не продукт, который оно предоставляет нам в качестве конкретного навыка или знания конкретного содержания, а развитие в определенном направлении сил учащегося. Основное в учении не конкретный навык или знание, а развитие сил, участвующих в процессе учения.

Действительно, целью трудового процесса никогда не является развитие сил: трудятся только ради продукта, а не ради развития участвующих в его создании сил. Правда, хотя за процессом труда также следует развитие сил человека, однако это — сопутствующее ему как определенному виду активности явление, а не его сущность или специфический признак. Труд же, напротив, по сущности своей предполагает наличие законченных, завершенных сил. Его цель — их применение, а не развитие. И разве не измеряется сам уровень развития степенью готовности сил к ведению трудовой деятельности? Политехническая школа не потому является трудовой, что учение она обратила в труд или труд в учение,

а именно потому, что она считает ошибкой превращение школы в завод или завода в школу. Напротив, основная ее идея состоит в том, что развитие трудовых сил человека также требует особых забот, требует учения, причем забота эта всегда должна быть тесно связана именно с заботой об общем развитии человека или, лучше, должна объединяться с ней в одно целое. А это означает, что обучение политехническому труду — дело не профессиональной школы, а общеобразовательной, которая должна быть школой не одностороннего воспитания — обучения, а школой политехнического труда.

Одним словом, между учением и той специфической формой поведения, которая выше была названа производственным трудом, имеется существенное различие.

Как известно, интенция развития сил подростка никакой другой форме поведения так не специфична, как игре. С другой стороны, именно поэтому, как это выше было отмечено, игра является общей формой поведения. Однако мы убедились и в том, что оба эти признака свойственны также и учению. Следовательно, можно сделать вывод, что оба — и учение и игра — представляют собой одну и ту же форму поведения. И действительно, в истории педагогики эта мысль встречается неоднократно. Так, Жан-Жак Руссо и вообще сторонники так называемой *свободной школы* в конечном счете основывались именно на идее тождества учения и игры. Поскольку идея Руссо и сегодня кое-где находит себе приверженцев, а с другой стороны, поскольку, согласно широко распространенному мнению, между игрой и учением нет ничего общего, мы считаем необходимым хотя бы вкратце коснуться этого вопроса.

Все наши рассуждения относительно взаимоотношения понятий учения и игры были направлены к тому, чтобы ясно показать, насколько учение отлично от труда и близко к игре. Почти все основные признаки, отличающие понятие учения от понятия труда, оказались свойственными игре. Наиболее же решающее значение имеет то, что и учение и игра в сущности служат цели развития сил. Думается, после всего этого уже будет излишне продолжать доказывать родственность

понятий игры и учения. Да и все наши рассуждения были до сих пор таковы, что у читателя, естественно, скорее должно было возникнуть представление о тождестве этих двух форм поведения, чем об их различии. Поэтому сейчас необходимо задержаться на правильности этой именно мысли. Однако действительно ли учение и игра так схожи, что можно думать об их тождестве?

Если учение является формой активности, смысл которой дóлжно искать в развитии внутренних сил, то ясно, что нет здесь никакой внешней потребности, заранее определяющей предмет, необходимый этой активности. Следовательно, учение также относится к той форме активности, двигателем которой не является импульс внешней потребности: подобно игре, эту роль здесь должны выполнять функциональные тенденции. А это означает, что необходимый для активности учения предмет дается субъекту не извне и подневольно, а внутренне, соответственно предуготовленным к действию силам, и свободно. Это соображение лишний раз подтверждает мысль о том, что учение и игра как бы тождественны между собой. Во всяком случае, отсюда очевидно как будто, что учение — такая же интрогенная форма поведения, как и игра. Но в действительности это совсем не так. Учение всегда предполагает *что-то*, чему обучаются. Уже само содержание этого понятия содержит идею чего-то внешнего, что учащемуся предлагается именно извне, а не строится на основе свободного импульса его сил. Мы научаем чему-то учащегося, мы активируем его силы в определенном направлении или, говоря иначе, даем этим силам предмет, а не они выбирают сами или создают его свободно. Функции речи, например, на определенной ступени развития подростка настолько созревают, что у него возникает тенденция или импульс их активирования. Но ведь активация функции речи означает речь! Речь же можно вести только на каком-либо определенном языке. Следовательно, удовлетворение функциональной тенденции речи помимо материала извне, т. е. помимо какого-либо определенного языкового материала, невозможно. Учение состоит в активации речевой функции

именно на основе извне предоставленного материала или предмета.

Или же возьмем другой пример: допустим, что у ребенка умственные функции счета созрели настолько, что возникла тенденция их активации. Надо полагать, что, предоставленный в этом случае самому себе, ребенок сумел бы активировать свои функции лишь настолько, чтобы пройти ступени развития, которые в процессе своего естественного развития прошло арифметическое мышление первобытного человека. В нашей же действительности, в нашей школе, функции арифметического мышления подростка начинают действовать на основе материала и арифметических правил, соответствующих сегодняшней ступени развития культуры. Но ведь этот материал и эти правила создаются не независимо самими функциями подростка, а все это предлагаем ему мы сами, т. е. *извне*, и обучение счету в этом, собственно, и заключается: на основе этого извне предлагаемого материала развивается функция арифметического мышления ребенка. Таким образом, мы видим, что хотя учение и подразумевает функциональную тенденцию внутренних сил подростка, однако деятельность ее осуществляется только на том материале, который нами извне ему предлагается. Внутреннее у подростка здесь не само находит, выбирает или создает внешнее, соответствующее, необходимое для его активации (как это имеет место в случае игры), а определяется выбором старшего по возрасту. Следовательно, развитие здесь осуществляется не на свободно выбранном материале (как это имеет место при игре), а на том материале, который старший считает целесообразным.

Возникает вопрос о причинах этого. Неужели учение необходимо? Неужели нельзя предоставить подростка самому себе, поручив судьбу его развития руководству чутья, возникающего на основе функциональной тенденции? При правильном понимании понятия функциональной тенденции решение этого вопроса не встречает трудностей. В отдельности каждая функция является реальностью только как предмет нашего научного анализа, поскольку в конкретной действительности она существует только в цёлом, т. е. только в

соотношении с другими, в интерфункциональной связи. Функциональная тенденция означает импульс активации этой целостности. Следовательно, когда мы говорим, что в основе формы активности лежит иногда функциональная тенденция, это надо понимать только в том смысле, что на определенной ступени развития у человека возникает импульс активации определенных интерфункциональных комплексов, причем эти комплексы, конечно, не вечны и не постоянны. Они формируются в процессе развития человечества, и каждое отдельное человеческое существо получает его по наследству в виде определенной возможности. Следовательно, человеческий отпрыск на каждой ступени развития человечества, соответственно специфике этого развития, является обладателем своеобразных интерфункциональных целостных комплексов, полученных его предками на основе длительного развития. Таким образом, они — эти комплексы — представляют собой продукты культурного развития, и ясно, что их активация нуждается в соответствующем материале, в соответствующем предмете. Возьмем, к примеру, следующий простой случай: сравним между собой арифметическое мышление ребенка первобытного человека и возможность математического мышления ребенка современного культурного человека.

Можно ли считать, что в обоих этих случаях мы имеем дело со вполне одинаковыми интерфункциональными возможностями? Конечно нет. Можно ли считать, что активация этих возможностей нуждается в совершенно одинаковом предмете или материале? Опять-таки — нет. Если различны функции, столь же различны и те предметы или материалы, которые необходимы для их активации. Для активации арифметического мышления детей первобытных людей никто никогда не пользовался, да и не мог пользоваться, тем сложным математическим материалом, к которому обращаемся мы для развития математического мышления современного культурного человека. Этот материал, так же как и соответствующие ему функции, как интерфункциональная целостность, — результат культурного развития, культурное достояние. Следовательно, развитие сегодняшнего ребенка

может осуществляться только на таком, приобретенном в процессе культурного развития, материале. Но этот материал — в данном случае современная математика — таков, что ребенок сам, своими силами не мог бы, конечно, его создать с целью активации своего математического мышления; он обязательно должен быть предложен ему извне взрослым, владеющим этим материалом. Так как нельзя допустить существования когда-либо совершенно некультурного, совершенно примитивного и натурального человека, поскольку само понятие «человек» исключает эту возможность, то надо полагать, что учение как подача материала находящимся в процессе развития силам всегда составляло неотделимую часть воспитания человека. То, что добыто человечеством в процессе своего культурного развития, человеческое дитя никогда не смогло бы усвоить помимо этого культурного влияния, одним лишь натуральным путем.

Таким образом, совершенно бесспорно, что активация сил человека в процессе учения осуществляется на основе материала, предлагаемого старшим, а не на почве спонтанно найденного или созданного им самим предмета; в этом случае силы подростка находят себе предмет не спонтанно, а он предлагается извне кем-то другим. Этим учение похоже на труд и отлично от игры, и ввиду этого оно более экстерогенно, чем интрогенно. Однако, несмотря даже на это, отнести учение к интрогенной форме поведения все же нельзя. Дело в том, что в случае экстерогенных форм поведения получение предмета не связано с учетом актуальной потребности сил подростка. То, какова, например, потребность субъекта, активированная в тот или иной момент, и, следовательно, каковы силы, необходимые для удовлетворения этих потребностей, совсем не зависит от особенностей сил, находящихся в настоящий момент в состоянии установки или готовности к действию.

Та или иная интенсивная, непреодолимая потребность, требующая достаточно большого напряжения сил, может возникнуть у человека и тогда, когда он из-за болезни или вследствие продолжительной работы до крайности изнурен. В случае учения это не так. Поскольку основная интенция

учения направлена на развитие сил учащегося, то, конечно, руководящий его учением старший никогда сознательно не предложит ему активировать силы, которые не предуготовлены еще к действию на этой ступени развития учащегося. В противном случае он заранее был бы уверен в бесплодности своей работы. Нет, преподаватель в своем обучении всегда ограничен именно теми формами культурных достижений, которые пригодны для активации сил, находящихся в настоящее время в готовности к действию. Содержание учебного материала зависит, следовательно, от состояния сил ребенка, хотя, конечно, и не только от этого: оно зависит также и от того, в развитии каких именно сил ребенка мы заинтересованы, к развитию каких его функциональных возможностей мы стремимся или, иначе говоря, воспитание какого человека мы ставим себе целью. Одним словом, учение — это процесс, двусторонне обусловленный, с одной стороны, силами, тенденция активации которых возникает на данной ступени, и с другой — идеалом воспитателя, считающего ценным развитие именно этих, а не других сил.

Исходя из этого, учение как будто можно отнести и к интрогенной форме поведения и к экстерогенной, хотя в отдельности оно не есть ни то и ни другое. Это, пожалуй, скорее переходная форма между этими двумя основными категориями поведения; в частности, оно занимает место между игрой и трудом, является переходной ступенью, которую человек должен пройти, чтобы, поднявшись над уровнем игры, возвыситься до уровня существа, обладающего способностью трудиться.

Из этой концепции учения очевидно, как ошибался Жан-Жак Руссо, или так называемая педагогика свободной школы, низводя учение до уровня игры, или, с другой стороны, как ошибалась схоластическая школа, направлявшая учение только сообразно с воспитательными целями, вне учета уровня развития внутренних сил и тенденций подростка.

Школа — это не площадка для игр, но она и не фабрика, где силам человека поручено изготовление определенных продуктов и где, следовательно, выбирают для работы только тех, у кого уже развиты необходимые для этого силы. От-

сюда ясны принципы, на которых должна строиться работа школы как по своему содержанию, так и по своим методам. Когда у общества возникает определенная потребность, допустим, становятся нужными электрические машины, оно принимается строить соответствующим образом оснащенные заводы и для работы в них подбирает наилучшим образом подготовленных к производству этих машин лиц. Иначе обстоит дело в случае учения. Основной целью здесь является развитие сил подростка. Поэтому проблема того, каковы должны быть содержание и методы учения в каждый данный момент, требует учета этих сил, т. е. педагогического обоснования. Продуктивный труд подразумевает психотехнически обоснованную организацию, а продуктивное учение — педагогически обоснованные содержания и организацию.

Таким образом, учение представляет собой особую форму поведения, которая не может быть отождествлена не только с игрой или трудом, но и ни с какой другой формой поведения. Тогда как все установленные нами формы поведения относятся либо к интрогенной, либо к экстерогенной группе, включая в себя элементы обеих, учение отличается и от одной и от другой.

* * *

1. Несмотря на фундаментальное значение практики в процессе психического развития человека, в современной психологии формы человеческой активности или поведения еще недостаточно изучены. Основная предпосылка буржуазной психологии — принцип непосредственности воздействия стимула на психику — является причиной того, что понятие «молекулярного» поведения не преодолено в буржуазной психологии (не исключая и гештальттеории) до настоящего времени.

2. Правильное понятие поведения может быть найдено лишь в том случае, если в противовес принципу непосредственности связи психики или моторики со стимулом принять положение, что отношение к действительности устанавливается субъектом, живой человеческой личностью, и что

действительность, воздействуя первично и непосредственно именно на нее, а не на психику или моторику, вызывает в субъекте некоторый целостный эффект, установку к определенной активности, которая реализуется им в виде той или иной формы поведения.

3. Если в основе поведения лежит установка субъекта как целостная направленность, возникшая на почве наличия определенной потребности и ситуации ее удовлетворения, то формы нашего поведения должны быть дифференцированы в зависимости от этой установки субъекта.

Но установка может быть двоякой: а) установка, возникшая в каждом отдельном случае в результате воздействия наличной объективности ситуации; в этом случае поведение протекает в соответствии с данной ситуацией и его можно назвать *экстерогенным;* б) установка, возникшая в прошлом, но не реализованная или же фиксированная; в этом случае поведение можно назвать *интрогенным.*

4. Автор в результате тщательного анализа приходит к заключению, что к *экстерогенным формам поведения относятся: потребление, обслуживание, труд, занятие,* а к *интрогенным — эстетическое наслаждение, игра, развлечение, спорт, художественное творчество. Учение автор рассматривает как особую форму поведения, которую нельзя отнести ни к экстерогенным, ни к интрогенным формам, но которая включает в себя элементы обеих.*



ПСИХОЛОГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ИМПУЛЬСИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ*

1. Живое существо и витальная потребность. Ничто так не специфично для живого существа, как наличие у него *потребностей* и необходимость самому *заботиться* об их удовлетворении. Это значит, что для него характерна активность, т. е. установление определенного взаимоотношения с внешней действительностью, без чего, разумеется, ни одна потребность не может быть удовлетворена. Бесспорно, эта активность составляет по существу все содержание жизни; было бы неуместно говорить о жизни без активности. Отсюда ясно, что понятию потребности принадлежит исключительное место во всякой науке, ставящей себе целью понимание живого существа в частности и особенно в психологии.

Потребность – источник активности. Там, где нет никакой потребности, не может быть и речи об активности.

В этом смысле понятие потребности очень широко. Оно касается всего, что является нужным для живого организма, но чем он в данный момент не обладает.

Однако то, в чем живой организм может испытывать нужду, зависит от уровня развития самого организма. Потребности развиваются, и ни для кого не является спорным, что человек на нынешней ступени развития обладает множеством таких потребностей, подобных которым нет не только у жи-

* Раздел «Психология деятельности. Импульсивное поведение» взят из кн. Д. П. Узнадзе «Общая психология», гл. V (Тбилиси, 1940).

вотного, но и у человека, стоящего на примитивной ступени культурного развития.

Несмотря на это, есть все же некоторые потребности, без которых не может существовать ни один живой организм, на какой бы ступени развития он ни находился. Это те потребности, которые связаны с основными процессами самой жизни — с питанием и размножением, и, следовательно, они являются основными витальными или чисто биологическими потребностями. Потребности питания, роста, размножения имеются у каждого живого организма, как у простейшего, так и у сложнейшего. Конечно, это не значит, что эти потребности не изменяются в процессе развития, что у амебы и у человека одна и та же потребность питания. Нет, мы хотим только отметить, что каждый живой организм, на какой бы высокой ступени он ни находился, имеет витальную потребность, что без нее жизнь вообще невозможна. Однако никому, конечно, не придет сегодня в голову отрицать, что и эта потребность развивается, усложняется и разнообразится, что на низшей ступени она одна, а на высшей иная.

2. Витальная потребность и поведение. Что же характерно для витальной потребности? Прежде всего совершенно не обязательно, чтобы она и психически была дана. Достаточно, если она существует объективно, т. е. если организм действительно испытывает нужду в чем-то. Невзирая на то что субъект, возможно, не имеет о ней никакого представления, он все же безошибочно прибегает к средствам, необходимым для ее удовлетворения. Эта происходит приблизительно так, как в случае потребности дыхания. Организм вовсе не чувствует особо, что ему чего-то не хватает, что это нечто есть воздух и добыть его можно только посредством дыхания. Несмотря на это, он дышит с максимальной точностью, для этого ему не требуется ни собственного предварительного опыта, ни чьей-либо помощи.

Так по существу происходит во всех случаях основных витальных потребностей. Если новорожденному ребенку положить в рот сосок груди и при этом его организм нуждается в питании, т. е. если у него имеется потребность в пище, он тотчас начнет сосать, несмотря на то что его никто этому не учил. И теленок не нуждается в обучении тому, как пастись,

или цыпленок — как клевать: первый сразу находит именно ту траву, которая может его выкормить, а второй — зерно, а не, скажем, песчинки, несмотря на то что у него нет еще никакого опыта.

Словом, животное изначально, без научения, находит соответствующий корм и соответствующе с ним обращается. Витальная потребность сама направляет организм к нужному предмету. Организм не постепенно научается находить предмет удовлетворения потребности. При наличии определенной потребности из бесчисленного множества предметов, находящихся в окружающей среде, на него оказывает влияние тот из них, который может удовлетворить эту его потребность. В результате у живого существа возникает установка соответствующего действия и, если этому ничто не мешает, осуществляется и само это действие. В таком случае обычно говорят: у животного, цыпленка или человека с рождения имеются врожденные способности удовлетворения некоторых потребностей; всякое живое существо не только обращается именно к тому, что может удовлетворить его потребности (цыпленок — к зерну, а не к песку), а прибегает и к действиям таким, которыми можно достигнуть этой цели (начинает сосать, клевать и т. д.). Такое врожденное, целесообразное поведение обычно называют *инстинктом* и подразумевают, что оно связано с основными элементарными потребностями.

3. Обслуживание как отдельная форма поведения. Однако такая картина раскрывается перед нами только в том случае, когда удовлетворение потребности не встречает никакого препятствия, когда среда непосредственно предоставляет то, что нужно для удовлетворения этой потребности. Например, в случае нормального дыхания в изобилии имеется воздух и организму не требуется ничего, кроме вдыхания его; или же перед цыпленком на песке разбросаны зерна, и он начинает их клевать. В таком случае процесс удовлетворения потребности протекает сам собою, не требуя вмешательства сознания, и все поведение протекает инстинктивно. Но таков лишь первичный вид поведения, та примитивная активность, когда вопрос ставится относительно процесса *самого удовлетворения* потребности, а не *добывания средств*,

которые нужны для этого. Эта форма активности известна под названием *потребления,* и мы видим, что она осуществляется без участия сознания, в виде *инстинктивных актов.*

Но допустим, что на пути удовлетворения потребности возникло препятствие, например затруднилось дыхание. Что же тогда произойдет? Несомненно, у субъекта возникнет специфическое чувство, чувство беспокойства, что ему чего-то не хватает, и, наряду с этим, — состояние некоторой напряженности, которое каждую минуту готово перейти в состояние активности. В этом случае мы уже будем иметь дело с фактом выявления потребности в сознании, с потребностью как с психическим феноменом. Как мы видим, она пока ограничивается только рамками состояния субъекта и ничего объективного в ней нет. Но немного больше задержки в удовлетворении потребности, и она даст отражение и в предметном сознании: к вызванному недостачей чувству беспокойства и напряжения добавляется и специфическое переживание того объекта, который является средством удовлетворения потребности. Например, в случае голода, когда нет возможности его непосредственного удовлетворения, субъект переживает его в первую очередь, разумеется, как собственное мучительное состояние, но, кроме этого, и переживание объективной действительности становится своеобразным: голодный замечает в окружающем в первую очередь то, что может удовлетворить его потребность. Следовательно, потребность определяет и восприятие субъекта.

Но интересно, что это восприятие совершенно специфично: субъект не просто видит то, что может удовлетворить его потребность, а вместе с тем испытывает чувство определенной его притягательности, своего рода влияние, идущее от предмета восприятия и призывающее к определенному действию. На такое психологическое воздействие потребности впервые обратил особое внимание Курт Левин и для его характеристики ввел специальное понятие (*Aufforderungscharakter*), пользующееся сегодня в нашей науке общим вниманием. Левин имеет здесь в виду наблюдение, что голодного, например, притягивает пища, а жаждущего — вода, а когда обе эти потребности удовлетворены, тогда, быть может,

они окажутся вовсе незамеченными или, во всяком случае, совершенно безразличными для субъекта. Теперь у этих предметов уже не осталось ничего от их прежней притягательной силы и, следовательно, они не могут побудить субъекта к действию.

Таким образом, в случае, когда удовлетворение потребности затрудняется, когда потребность непосредственно не реализуется, она проявляется в сознании субъекта в виде специфического содержания. Со стороны субъекта она переживается в виде чувства неудовлетворенности, содержащего в себе моменты возбуждения и напряжения, а с объективной стороны — в виде определенных предметных содержаний, побуждающих к действию.

Случаи осложнений удовлетворения потребности, разумеется, часто встречаются и в повседневной жизни животных. Вот, например, с дерева слетела птичка, начала что-то клевать на земле; вот на глаза ей попалось насекомое, и она устремилась к нему. Содержание почти всей ее жизни заполнено такими поисками и нахождением корма. Так и у других животных. Свинья, например, постоянно ищет пищу, беспрестанно роет землю, переходя с одного места на другое, и т. д. Словом, там, где средство удовлетворения потребности непосредственно не дано, животное вынуждено в поисках его перемещаться с места на место и вести себя соответственно тому, что оно найдет для себя полезным.

Эти случаи поведения животного по существу мало чем отличаются от случаев поведения потребления. Если для последнего характерна такая непосредственная данность средств удовлетворения потребности, что живому существу нужно только, так сказать, взять корм в руки и положить в рот, то здесь положение осложнено в том отношении, что для овладения средствами удовлетворения потребности требуются некоторые дополнительные простые акты, в частности — перемещение с места на место. Например, животное вынуждено пойти к роднику для удовлетворения жажды; или же, когда кончится корм на одном месте, перейти на другое место. Вдумываясь в эти случаи, мы убеждаемся, что и здесь мы по существу имеем дело с актами потребления,

только сравнительно *усложненными*. И в самом деле, чистый акт потребления в чистом виде состоит, например, и в еде, и в питье. Но разве поднесение пищи ко рту и жевание являются иными актами поведения? Разумеется, и тот и другой акты, взятые отдельно, например поднесение пищи ко рту не с целью еды, а с какой-то иной целью, не являются актами потребления. Но когда они непосредственно связываются и непосредственно служат чистым актам потребления, тогда, разумеется, и они должны считаться поведением потребления.

Однако обычно мы имеем дело с еще более усложненным положением. Случается часто, что пища находится перед глазами животного, но заполучить ее ближайшим путем не удается; тогда животное ищет обходный путь и при этом решает довольно сложные задачи. Об этом свидетельствуют, например, опыты И. С. Бериташвили над различными представителями беспозвоночных, а также особенно опыты Келера над человекообразными — антропоидами.

Рассмотрим некоторые примеры. Собака видит, что кусок мяса выбросили из окна на улицу. Ей не удается выпрыгнуть из окна за мясом, поэтому она бежит в другую комнату, отсюда выбегает через заднюю дверь во двор и со двора — на улицу. Она полна ожидания найти там желанный кусок. Как мы видим, прежде чем овладеть мясом и начать акт потребления — еды, собака вынуждена выполнить довольно сложные акты. Но можно наблюдать и гораздо более сложные случаи, особенно в экспериментальных условиях.

Антропоид заперт в клетке; снаружи лежат пища, которую обезьяна очень любит, но достать ее рукой она не может. Тогда она хватает палку, которая преднамеренно положена рядом с ней в клетке, и при ее помощи затаскивает пищу к себе в клетку. Или же еще: высоко, к потолку клетки, подвешен банан, обезьяна старается достать его, но это ей не удается, потому что банан висит очень высоко. Она тащит рядом лежащий ящик, устанавливает его под бананом, вскакивает на ящик, но все же не может дотянуться до банана. Тогда она подтаскивает второй и третий ящики, ставит их на первый и так достигает своей цели.

Чтобы охарактеризовать это поведение антропоида, надо в первую очередь отметить, что здесь вся деятельность животного от начала до конца побуждается одной основной целью — животное стремится удовлетворить свою потребность, ни на одну минуту не забывая о ней. Эта потребность становится для него актуальной не только тогда, когда начинается процесс ее непосредственного удовлетворения — процесс потребления, она актуальна и тогда, когда, например, животное тащит один ящик, потом другой и третий. Несмотря на то что обезьяна прибегает к целому ряду актов, которые не имеют с потреблением такой непосредственной связи, какая была отмечена в вышеприведенном случае усложненных актов потребления, все же бесспорно, что все эти акты находятся под влиянием основной потребности.

Таким образом, акт потребления предваряется довольно сложным процессом поведения, который питается из *источника* одной определенной *потребности и от начала до конца служит цели ее удовлетворения*. Это особенно наглядно видно хотя бы из той взаимосвязи, в какой он находится с актом удовлетворения указанной потребности — с процессом потребления: он незаметно переходит в этот процесс и с ним вместе создает одно нераздельное целое.

Несмотря на это, бесспорно, мы имеем здесь дело с новой формой активности, с новой разновидностью поведения. Если специфичным для этой формы поведения мы сочтем ту тесную связь, в какой она находится с актом потребления, т. е. то обстоятельство, что она непосредственно служит цели подготовки этого акта, тогда, очевидно, наиболее целесообразным для нее названием было бы *обслуживание*.

4. Импульсивное поведение и обслуживание. Как протекает активность субъекта в случае обслуживания? Чем она определяется? Для решения этого вопроса наиболее подходящим является опять-таки наблюдение поведения человека: ведь в инвентаре поведения человека случаи обслуживания занимают одно из первых мест! Можно сказать, что обслуживание является обычной формой нашей повседневной активности. И в самом деле, когда у нас появляется какая-либо конкретная потребность, не всегда же нам удается

удовлетворить ее беспрепятственно! Наоборот, гораздо чаще мы сталкиваемся с каким-либо препятствием и бываем вынуждены, прежде чем приступить прямо к акту потребления, выполнить целый ряд других операций, производимых только для того, чтобы преодолеть указанное препятствие и дать нам возможность удовлетворить свою потребность.

Поскольку эти операции служат цели непосредственного удовлетворения определенной конкретной потребности, мы можем признать их за отдельный случай обслуживания. Этот момент — обслуживание какой-либо конкретной потребности, — как уже отмечалось выше, является тем основным признаком, которым обслуживание отличается от других форм поведения. Скажем, у человека возникла какая-то потребность, например он голоден, но пищи нет под рукой, и поэтому придется ради нее пуститься в дальний путь. В каком случае человек пойдет на это? Безусловно, только в том случае, если потребность настолько сильна, что покрывает неприятность прохождения дальнего пути. Без этого условия субъект не выполнит акта обслуживания, т. е. не пустится в дальний путь, и предпочтет остаться без пищи. Словом, совершенно невозможно выполнять акт обслуживания так, чтобы он не побуждался импульсом *основной потребности*. Там, где в его основе лежит другой импульс, уже нельзя говорить об акте обслуживания.

Может случиться, что некоторые моменты акта обслуживания окажутся трудновыполнимыми, но, несмотря на это, они все же выполняются и опять-таки остаются актами обслуживания.

Посмотрим, как протекает обычно акт обслуживания. Внешне перед нами раскрывается такая картина: как только появляется какая-либо интенсивная потребность, субъект начинает деятельность для ее удовлетворения; иногда эта деятельность очень сложна и длится до тех пор, пока не будет обеспечена возможность удовлетворения потребности.

Как же протекает эта деятельность? Скажем, дикарь почувствовал голод. Он отправляется на охоту: берет оружие для охоты, идет в лес в определенном направлении. В зависимости от того, какой ему встретится зверь и в каких усло-

виях, он или засядет в засаду, или прямо начнет его преследовать, или же пустит в него стрелу. Если он убьет зверя, то потом освежует его и после выполнения целого ряда других операций приступит к удовлетворению своей потребности — начнет есть. Эта простая схема охоты дикаря фактически часто наполняется сложным содержанием. Эта активность состоит из цепи последовательных моментов, каждое звено этой цепи занимает свое место и действует целесообразно.

Как все это происходит? Разве дикарь заранее обдумывает все свое поведение, заранее взвешивает его? Конечно нет. Стоило ему почувствовать голод, и он тотчас обратился к актам определенного поведения — охоты. Отдельные акты этого поведения как будто сами собой, без особого вмешательства субъекта, сменяют друг друга: дикарю не нужно задумываться в каждом отдельном случае, как теперь поступить, к чему прибегнуть, чтобы быстрее достичь цели. Обычно здесь все протекает принципиально совершенно так же, как и в том случае, когда мы испытываем жажду, а вода или стоит в посуде тут же на столе, или в другой комнате. Разумеется, мы никогда специально не задумываемся, как поступить, что предпринять, чтобы удовлетворить жажду: сами условия ситуации диктуют нам, что надо делать. Если вода тут же в посуде на столе, одна рука потянется к стакану, а другая к посуде с водой; если же нет этого, тогда мы будем действовать так, как потребуют обстоятельства.

Словом, мы хотим сказать, что, когда поведение осуществляется под влиянием актуального импульса определенной потребности, отдельные его этапы и моменты протекают как бы сами собой, без сознательного управления ими субъектом. Их, скорее, определяет та ситуация, в которой субъекту приходится разворачивать свои действия.

Что же фактически лежит в основе этого поведения? Чем оно управляется? Мы, разумеется, не можем сказать, что в этом случае все поведение представляет собой цепь отдельных рефлекторных движений, всецело зависящих от того, какое внешнее впечатление или раздражение воздействует на субъекта. Этого нельзя сказать, во-первых, потому, что подобное поведение никогда не повторяется в совершенно

неизменном виде, что оно вполне стереотипно, будь даже условия совершенно одинаковыми; и, во-вторых, роль субъекта как целого мы не можем отрицать в наше время даже в случае рефлексов. Совершенно спорно, что здесь мы имеем дело с настолько сложной формой активности, что сегодня и думать нельзя серьезно о попытке ее механистического объяснения.

Теоретически для нас ясно, что ситуация как целостный комплекс внешних раздражителей действует на моторный аппарат живого существа не непосредственно и не таким путем вызывает в нем соответствующие движения. Нет, ситуация в первую очередь воздействует на самого субъекта и если и вызывает где-либо какой-то эффект, то только в самом субъекте. Среда оказывает влияние на поведение только через этот вызванный ею в субъекте эффект.

Чем можно объяснить, что несмотря на то, что во всем поведении дикаря во время охоты ни само поведение его в целом, ни отдельные его моменты не осознанны и не преднамеренны, а поведение все же протекает так целесообразно? На субъекта, возбужденного определенной потребностью, воздействует актуальная ситуация, вызывая в нем определенное целостное изменение, определенную установку, и вот его последующее поведение строится на основе этой установки. Потому-то оно целесообразно и помимо осознания.

Таким образом, становится ясным тот специфический признак, который отличает течение поведения обслуживания: когда субъект с целью удовлетворения актуальной потребности обращается к внешней среде, у него появляется определенная ситуация, которая вызывает в нем такую же определенную установку и посредством этой последней направляет все его последующее поведение. Так как во всех случаях такого поведения действует всегда импульс удовлетворения актуальной потребности, мы могли бы назвать его (поведение) *импульсивным*. Тогда получилось бы, что для импульсивного поведения характерно, во-первых, что его источником является актуальная потребность и, во-вторых, что оно определяется установкой, созданной актуальной ситуацией.

5. Труд и потребность. Потребление и обслуживание встречаются и в инвентаре активности животного. Но существует и такая форма активности, которая присуща только человеку; таковой в первую очередь является *труд*. Энгельс наглядно доказал, что источником всех особенностей, характеризующих человека как *человека*, является труд. И нам сегодня ясно, что смысл и цель подлинно человеческой жизни заключаются в труде, что он является не проклятием для человека, как это переживалось всеми испокон веков до сего дня, т. е. до установления в Советском Союзе социалистического строя, а благословением и отрадой, источником счастья, «делом чести, делом доблести и подвигом славы».

Что же мы подразумеваем, говоря о труде? Разумеется, если за труд мы признаем всякий процесс целесообразного использования энергии или то, с чем связано преодоление трудностей, тогда и потребление и обслуживание следует считать видами труда, потому что и то и другое, несомненно, состоит из целесообразных актов и, возможно, как одно, так и другое нередко требует довольно большой энергии. Очевидно, для труда не специфичны ни целесообразность, ни сравнительно высокий уровень трудности, проявляющейся в процессе его выполнения. Психологически характерным для труда является нечто совершенно иное.

То, что делается в случае обслуживания, имеет целью удовлетворение потребности, вызывающей эти акты обслуживания: продукт обслуживания предназначен для *актуальной потребности*. Например, у человека жажда. Эта потребность вынуждает его прибегнуть к соответствующим актам обслуживания – принести или налить воду. Продукт обслуживания — налитая вода — предназначен для удовлетворения жажды. Обслуживание служит только той конкретной актуальной потребности, которая дала ему начало. Без нее и независимо от нее не существует никакого акта обслуживания. Без нее и независимо от нее не может быть и никакого продукта обслуживания, потому что продукт обслуживания не может иметь какого-либо значения, ежели предположить, что не существует того, для чего этот продукт должен быть предназначен.

Иначе обстоит дело в случае труда. Разве мы только тогда делаем что-либо, когда нам это нужно, и делаем только для того, чтобы удовлетворить наличную потребность? Конечно нет! В жизни человека обычным является то, что он обращается к активности и тогда, когда то, что создается этой активностью, совершенно не нужно для удовлетворения его насущной потребности. Рабочий хлебного завода берется за работу не только тогда, когда ему хочется поесть хлеба, и работает он не для того, чтобы выпечь столько хлеба, сколько необходимо для удовлетворения теперешнего его голода. Если бы он поступал так, мы имели бы дело с процессом обслуживания. Нет, он работает, чтобы изготовить определенный продукт — хлеб, несмотря на то что в данный момент он ему совсем не нужен. Именно это обстоятельство особенно характерно для его трудовой активности, которая проявляется не для создания продукта, необходимого для удовлетворения актуальной потребности, той потребности, которую субъект испытывает сейчас, в данный момент, а для удовлетворения *потребности в питании вообще*. Эта потребность может возникнуть у него или у кого-либо другого завтра или когда-либо в другое время.

Таким образом, в то время как обслуживание имеет в виду только удовлетворение актуальной потребности, труд имеет целью удовлетворение возможной потребности.

6. Труд и воля. Но откуда же приобретает человек энергию делать то, потребности чего у него в данный момент нет? Как возможен труд?

Разумеется, здесь понятия рефлекса недостаточно. Не умещается труд и в рамках импульсивного поведения. Мы достаточно убедились в том, что он не начинается с импульса актуальной потребности, да и впоследствии не направляется им. Мы убедились, что труд подразумевает совершенно иной вид активности, такой вид, который имеет силу действовать без актуальной потребности и создавать не зависимые от последней ценности.

Таким видом активности, как мы убедимся ниже, является *воля*. Следовательно, вне воли труд никогда не сформиро-

вался бы в том своем законченном виде, какой он имеет на сей день как специфическая особенность человека. С другой стороны, и воля не достигла бы человеческой ступени своего развития, если бы труд не создал специфических условий для ее стимуляции и развития.

ВОЛЯ

1. Общее определение понятия. Что такое воля? Назовем несколько бесспорных примеров волевого действия и посмотрим, в чем сказывается специфическая особенность воли.

Спишь в холодной комнате. Проснулся утром и видишь, что время вставать. Вставать не хочется, но уже время — можешь опоздать. Наконец делаешь усилие и встаешь. Потребовался определенный акт воли, чтобы преодолеть естественную леность.

Очень хочется курить, но ты уже решил отказаться от этой привычки; сдерживаешь себя и не закуриваешь.

Допустим, я пишу книгу и в одном месте должен высказать мысль, которая в основном противоречит моим прежним взглядам, не раз защищаемым мною публично. Возникает вопрос: высказать эту новую мысль или нет? Если выскажешь ее, этим публично признаешь, что ошибался, а твои противники были правы. Если же скроешь этот свой новый взгляд, это будет изменой основному принципу, согласно которому в науке главное истина, а не ложное самолюбие. В конце концов вопрос решается согласно интересу объективной истины. Несомненно, для этого снова понадобилась помощь воли.

Когда нам надо что-либо сделать, скажем, надо написать какой-то труд, то предварительно мы составляем план: какого вопроса следует коснуться вначале, о чем говорить после и как приблизиться к конечному вопросу. Разумеется, решение каждого из этих вопросов потребует волевых актов, и в конце концов мы остановимся на вполне определенном плане работы. После этого вновь потребуется особый волевой акт, чтобы начать писать труд, т. е. приступить к исполнению выработанного плана.

Что является характерным для всех этих случаев? Во-первых, — и это должно быть отмечено в первую очередь, — *субъект* и его *поведение*, его деятельность противостоят друг другу. Субъект дан не в деятельности, а вне ее. Мы себя переживаем отдельно, а свои действия — курение, вставание с постели, служение объективной истине, свой план — совершенно отдельно. Мы ведь пока еще не действуем! Мы пока только ставим вопрос, как действовать! Во всех этих случаях и наше «я» и наши возможные действия как бы даны извне, мы о них рассуждаем и думаем как о чем-то объективно перед нами существующем.

Таким образом, мы видим, что для всех случаев воли характерна *объективация* своего «я» и своего поведения.

Второй, не менее характерный для воли момент проявляется в своеобразии переживания поведения и «я». Само поведение еще не дано, оно принадлежит не настоящему, а будущему; оно происходит не теперь, а должно совершиться после; стало быть, оно переживается как феномен будущего, а не настоящего. Во всех указанных выше случаях процесс протекает так: прежде чем осуществится определенное поведение — вставание с постели, отказ от курения, объективное изложение взглядов, — мы рассуждаем, думаем: осуществится ли оно?

Следовательно, для воли характерно то, что она имеет дело не с наличным актом, а с тем, который должен осуществиться в будущем. Воля глядит вперед, она, говоря термином В. Штерна, является *проспектным* актом.

Что касается переживания своего «я», оно в случае воли занимает совершенно особое место. Во всех рассмотренных примерах «я» переживается как единственный источник, откуда вытекает всякое волевое поведение, как единственная сила, от которой всецело зависит, каким будет поведение, что произойдет: встану ли я или буду нежиться в постели, закурю ли или совсем брошу курить, словом, так ли я поступлю или по-иному — это зависит от меня, причиной этому я сам. Короче, воля переживается как *активность «я»* или «я» переживается в воле *активным, действующим.*

Если теперь сравнить случаи воли со случаями импульсивного поведения, сразу станет ясно, как велика разница между ними. Скажем, я почувствовал жажду. Иду, беру в руки графин с водой, наливаю в стакан и пью. Все это происходит так, что *субъект* (я), *объект* (посуда, вода) и *поведение* (подойти, налить, выпить) включены в один целостный процесс и вне этого процесса в отдельности не переживаются: здесь нет ни объективации «я», ни объективации поведения. Кроме этого, поведение протекает здесь в настоящем, оно актуально, происходит сейчас, и говорить здесь о будущем совершенно излишне. Наконец, поведение — наливание воды, питье — переживается так, будто оно происходит само собой. Во всяком случае, субъект здесь обычно вовсе не чувствует, что для этого поведения нужно проявить особую активность: ***источником поведения переживается скорее потребность, чем активность «я».***

С этим обстоятельством связан один исключительно важный момент, который существенно отличает друг от друга акты импульсивного и волевого поведения. В случае импульсивного поведения, как мы только что отметили, основным его источником является потребность: как только возникает потребность (жажда), субъект прибегает к точно соответствующему поведению (идет и пьет воду); импульсивное поведение начинается импульсом потребности и заканчивается актом ее удовлетворения — актом потребления. Совсем иначе обстоит дело в случае волевого поведения. В приведенных выше примерах волевого поведения отношение между актуальной потребностью и окончательным поведением носит иной характер, чем в случае импульсивного поведения. Здесь у субъекта всегда возникает какая-либо актуальная потребность. Однако его поведение никогда не подчиняется импульсу этой потребности, субъект делает не то, что ему хочется, а нечто другое: в первом случае ему хочется лежать, но он встает, во втором — хочется курить, но он воздерживается.

Словом, в случае воли *источником деятельности или поведения является не импульс актуальной потребности, а нечто совсем иное, что иногда даже противоречит ему.*

Таким образом, еще одним особенно специфичным признаком воли является то, что она никогда не бывает реализацией актуального импульса, и, следовательно, необходимую для деятельности энергию она всегда заимствует из другого источника. Этот признак воли заслуживает особого внимания. Можно сказать, что корень проблемы воли гнездится именно здесь, в этой особенности, и психология воли несет особенную обязанность выяснить, из какого источника приобретает воля энергию своей деятельности. Поэтому ниже мы специально будем говорить об этом. А пока необходимо отметить хотя бы одно.

Дело в том, что нередки случаи, когда человек по своей воле обращается именно к тому поведению, к которому стремится и импульс актуальной потребности. Например, человеку хочется пить. Импульс его актуальной потребности влечет его к воде. Но он не подчиняется этому импульсу, раздумывая, можно ли пить воду в этих условиях. Наконец он решает: «Эта вода ведь минеральная, и пить ее не вредно, а даже полезно» и пьет. Как видим, здесь мы как будто несомненно имеем дело с волевым поведением. Однако, с другой стороны, субъект все же пьет воду, т. е. удовлетворяет свою актуальную потребность! Следовательно, для воли, оказывается, вовсе не обязательно, чтобы она противостояла актуальной потребности. Но если глубже вникнуть в сущность дела, можно убедиться, что и здесь актуальную потребность нельзя считать силой, направляющей поведение.

Правда, субъект хочет пить, это его актуальная потребность, и после некоторого колебания он и пьет воду, т. е. удовлетворяет эту потребность. Но в действительности акт питья воды вызывается не только жаждой как таковой. Нет, субъект прибегает к этому акту — пьет воду — только после того, как вспоминает, что минеральная вода полезна. Если бы не так, жажда осталась бы жаждой и субъект отказался бы от воды. Так что дело не в том — выпьет субъект воду или нет, когда ему хочется пить. Дело в том, чем вызван этот акт: импульсом актуальной или же неактуальной потребности?

Согласно всему этому, мы получаем возможность говорить о специфических свойствах волевого акта, т. е. о призна-

ках, отличающих его от остальных видов активности. Эти признаки заключаются в следующем: а) в случае воли импульс актуальной потребности никогда не вызывает действия, волевое поведение никогда не опирается на импульс актуальной потребности; б) в случае воли происходит объективация входящих в процесс активности моментов: «я» и поведения; «я» противостоит поведению; в) волевое поведение не является поведением, протекающим в настоящем, оно будущее поведение: воля проспективна; г) это будущее поведение со стороны «я» заранее предусматривается, и его реализация зависит от «я»: воля всецело переживается как актуальность «я».

2. Физиологические основы воли. Всякая активность, всякое поведение в первую очередь дается нам в виде определенных движений тела и отдельных его органов. Это обстоятельство настолько очевидно и закономерно, что некоторые психологические направления, особенно бихевиоризм, считают поведение от начала до конца производным нашего мышечного аппарата и для его понимания довольствуются изучением деятельности этого аппарата. Но, разумеется, наше поведение представляет собой не только одно лишь мышечное явление. Большая роль психики в поведении вообще и в частности в волевом совершенно несомненна. Но также несомненно и то, что едва ли многое в психике имеет столь тесную связь с телом, как волевой процесс. Поэтому рассмотрение общих телесных основ воли совершенно необходимо.

Анатомо-физиологической основой воли, без которой ни одно живое существо не обладало бы ею, является большой мозг. Когда мы действуем произвольно, в определенном центре коры больших полушарий мозга рождается физиологический импульс, который по пути нижележащих аппаратов продолговатого и спинного мозга направляется к моторному нерву и посредством его вызывает сокращение мышц и движение соответствующего органа. Это движение произвольное, и оно отличается от рефлекторного движения не только тем, что имеет корковое происхождение, тогда как рефлекс имеет непосредственно субкортикальное происхождение, но и с другой стороны: в случае рефлекса физиологический

11 Зак. № 137

импульс распространяется по неизменным, врожденным путям и вызывает вообще движения стереотипного характера; в случае же воли такие врожденные пути не имеют никакого значения, произвольные движения протекают всегда в новом виде и изменяются сообразно цели, какую субъект ставит перед собой. Центром, регулирующим эти движения, считается зона левого полушария, и понятно, что, когда эта последняя нарушается, у субъекта снижается способность осмысленной, целенаправленной деятельности.

Описанное впервые Гуго Липманом заболевание, названное им *апраксией*, проявляется именно в расстройстве способности к произвольному поведению: субъект проявляет полную несостоятельность в выполнении даже самых простых преднамеренных действий (например, он не в состоянии расстегнуть или застегнуть пуговицу по заданию), тогда как импульсивно он совершенно легко выполняет те же акты. Однако когда ему самому *нужно* расстегнуть или застегнуть пуговицу, когда у него есть *актуальная потребность* в этом, тогда выполнение этого акта не представляет для него никакой трудности. Апраксия является расстройством произвольного поведения и, как мы видели, связана с нарушением определенной корковой зоны.

ВЫПОЛНЕНИЕ ВОЛЕВОГО АКТА

1. Периоды воли. Из характеристики случаев волевого поведения ясно, что воля является процессом, имеющим определенные периоды. Характер этих периодов ясно виден даже из совершенно простого примера воли.

Допустим, что вечером предстоит очень интересный концерт, и у меня большое желание послушать его. Однако есть соображение, мешающее мне присутствовать на концерте: нужно срочно выполнить кое-какое дело. Скажем, я в конце концов решаю остаться дома и работать. И так поступаю. Безусловно, в этом случае мы имеем дело с подлинно волевым поведением. Несомненно, что прежде чем начнется само волевое поведение, должно быть вынесено *решение*, что будет выполнено именно это поведение. Но до того, пока будет принято решение, субъект должен обдумать, что же именно решить,

учесть какие-то соображения, которые помогут ему принять решение. Ему надо обдумать, что для него лучше — пойти на концерт или же остаться дома и продолжать работу.

Стало быть, волевой процесс содержит в себе по крайней мере три периода: подготовительный период решения, который выявит, какое решение принять и по каким соображениям; период принятия самого решения и, наконец, период выполнения решения.

Психология воли обязана изучить все эти три периода, но несомненно и то, что не все они имеют одинаковое значение и специфическая особенность воли, очевидно, должна проявляться в каком-то одном из них особенно. Какой же из этих периодов следует считать специфичным для воли?

Интересно, что из этих трех периодов только об одном, а именно о периоде выполнения, можно сказать, что он встречается и в других видах активности. В периоде выполнения дано само действие, поведение, а ведь с поведением мы имеем дело и во всех других случаях активности. Зато остальные два периода, представляющие собой по существу моменты одного и того же акта, *акта решения*, могут существовать только в случае воли. Надо полагать, что если где и проявляется специфическая особенность воли, то это именно здесь. Несмотря на это, согласно нашим обычным, повседневным ненаучным наблюдениям, сущность воли как будто следует искать именно в моменте выполнения. Поэтому начнем изучение периодов процесса воли с его последнего периода.

2. Течение волевого поведения. После акта решения начинается реализация последнего: то, что решено, должно быть выполнено. Внимательное рассмотрение случаев волевого поведения показывает везде одно и то же: ни одно из них не содержит в себе ни одного такого действия или отдельного движения, выполнение которого само по себе представляло бы какую-либо специфическую трудность и воля проявлялась бы именно в преодолении этой трудности. Разумеется, есть и такие случаи, когда человек решает выполнить какое-нибудь технически трудновыполнимое дело, но это вовсе не является непременно специфичным для воли. Технически трудновыполнимые акты могут быть и в импульсив-

ном поведении. Следовательно, нет основания говорить, что специфика волевого поведения заключается в трудности его выполнения. Это настолько несомненно, что, наоборот, где имеется непреодолимая трудность выполнения действия, там нет и речи о воле. Ежели для нас что-либо трудно выполнимо или совершенно невыполнимо, тогда мы *не хотим, а желаем* (Wünsch). Воля касается только того, выполнение чего зависит от нашей воли. А то, что для нас недоступно, никогда не может стать предметом воли. Словом, анализ волевого поведения показывает, что это поведение всегда может быть вызвано и импульсом актуальной потребности. В содержании и построении самого поведения ни в чем не заметно, является ли оно волевым или импульсивным. Поэтому неудивительно, если подлинно волевое поведение всегда сопровождается своего рода переживанием: «Это я *могу* сделать», «Выполнение этого в моей власти». Это переживание очень характерно для волевого процесса, и на нем мы остановимся ниже.

Значит, мы можем заключить: трудность исполнения ни в коем случае не характерна для волевого поведения; воля не подразумевает обязательно комплекса каких-то сложных, трудновыполнимых движений. С этой стороны нет никакого различия между импульсивным и волевым поведением.

Если взять теперь само течение импульсивного и волевого поведения, мы убедимся, что и здесь не найти какого-либо принципиально значимого различия между ними. Как мы уже знаем, каким бы сложным ни было импульсивное поведение, оно протекает будто само собою, само продвигается вперед; оно направляется актуальной ситуацией, и нигде не требуется специального вмешательства субъекта. Но именно поэтому возможно, чтобы под влиянием импульса какой-либо вновь возникшей потребности импульсивное поведение отклонилось от своего пути и приняло совершенно новое направление. Конечно, это не всегда так бывает. Наоборот, гораздо чаще импульсивное поведение от начала до конца является одной нерушимой целостностью и служит одной цели. Это происходит потому, что лежащий в основе этого поведения импульс актуальной потребности гораздо силь-

нее, чем случайно возникшие на пути новые импульсы, а где это не так, там импульсивное поведение часто меняет свое направление и уже не является нам в виде одного законченного цельного поведения.

Совершенно иначе выглядит волевое поведение. Законченность и цельность для него не случайное обстоятельство, а специфическая особенность. Там, где цельность поведения нарушается, где оно отклоняется от *пути*, ведущего к избранной цели, и направляется в другую сторону, там мы уже не имеем дела с волевым поведением. Для последнего характерно именно это: каким бы сложным ни было волевое поведение, оно является от начала до конца *упорядоченным поведением*. Поскольку его отдельные части, отдельные действия служат одной цели, постольку они составляют одно цельное поведение, в котором каждое из них занимает определенное место.

Эта особенность воли наиболее отчетливо проявляется в случаях *планового поведения*. Плановое поведение является единым целостным, но сложным поведением. Намечена основная цель, определены средства, с помощью которых должна быть достигнута эта цель, и эти средства подготавливают и обусловливают друг друга, находятся в некоем иерархическом отношении друг с другом и, таким образом, объединяются в одно сложное структурное целое. И вот вопрос именно в этом: как строится эта структура? Как воля добивается того, что наше поведение часто принимает вид сложной иерархической системы действий? Нужно ли предусматривать каждое частное действие, каждый отдельный шаг, активно его подбирать? Нужно ли постоянно вмешиваться в протекание поведения и давать ему целесообразное направление или же целесообразное течение волевого поведения происходит и без такого непрерывного вмешательства субъекта?

В психологии воли одним из непререкаемых, экспериментально обоснованных фактов является *упорядоченная целесообразность* волевого поведения. Это значит, что когда человек что-либо решает, например пойти на концерт, а, скажем, не остаться дома и работать, этого решения вполне достаточно, чтобы он и без специального обдумывания осуще-

ствил целый ряд соответствующих действий: встал, соответственно оделся, вышел из дому и пошел по направлению к концертному залу; если по пути встретится какое-либо препятствие, он все же будет продолжать действовать сообразно своей цели. Словом, когда человек что-либо решает, последующая его деятельность как бы сама собою протекает в соответствии с этим решением. Человеку не требуется заранее обдумывать каждый шаг, всегда специально оценивать каждое свое действие со стороны его целесообразности. Нет, у него возникает тенденция целесообразного поведения, тенденция именно того, что нужно.

Левин описывал этот факт так: когда человек что-либо решает, например пойти на концерт, тогда все, что относится к выполнению этого намерения — соответствующая одежда, дорога, другие возможные средства, — все это приобретает силу особого воздействия на субъекта, притягивает его к себе и побуждает к определенному действию («Aufforderungscharakter»).

Таким образом, волевое поведение характеризуется упорядоченностью и целесообразностью. Однако эта упорядоченность вовсе не подразумевает на каждом шагу активного вмешательства субъекта, сознательных поисков и нахождения средств выполнения решения. Достаточно свершиться акту решения, чтобы после этого дело как бы само собой двинулось вперед. Словом, течение волевого поведения, т. е. поведения решенного, преднамеренного, такое же, как и течение импульсивного поведения: пока остается в силе решение завершить поведение, это последнее протекает как в случае импульсивного поведения.

Однако этот экспериментально засвидетельствованный факт противоречит нашим повседневным наблюдениям. И в самом деле, кто не знает, что трудность заключается не в решении, а в выполнении того, что решено! Кто не знает, что курить вредно! Сколько раз мы решали отказаться от курения, но нам не удавалось выполнить это решение! Как будто и в самом деле бесспорно, что трудность заключается именно в выполнении и решение вовсе не гарантирует выполнения. Но если мы немного лучше вникнем в сущность дела,

убедимся, что это возникшее на основе повседневного наблюдения суждение ошибочно. Дело в том, что, решив что-либо, мы и выполняем это, пока решение остается в силе. Но несчастье в том, что решение часто меняется. Вместо него под воздействием чего-либо начинает действовать какой-нибудь новый импульс или возникает новое решение. Ясно, что теперь уже излишне говорить о выполнении того, что было решено раньше. И понятно, что выполняется не оно, а новое решение.

Таким образом, пока решение в силе, выполнение не представляет никакой трудности. Конечный период волевого поведения — выполнение, несмотря на его структурную трудность, иерархическую системность, протекает как бы автоматически.

3. Теории детерминирующей тенденции и квазипотребности. Как решение достигает того, что в период его выполнения обычно без особого усилия обнаруживается именно то, что способствует достижению намеченной цели? В современной экспериментальной психологии известны две различные попытки решения этого вопроса. Первая вносит с этой целью понятие так называемой *детерминирующей тенденции*, а вторая — понятие *квазипотребности*.

Смысл теории детерминирующей тенденции таков: когда субъект представляет себе цель своего поведения и решает ее осуществить, это представление цели начинает действовать на другие психические содержания так, что они принимают сообразное этому направление. И так получается, что в случае воли поведение протекает упорядоченно: оно регулируется исходящей из представления цели *детерминирующей тенденцией*. Следовательно, подразумевается, что представление цели само имеет способность воздействовать на поведение субъекта таким образом, чтобы оно приняло соответствующее ему направление, но притом так, что никакого участия самого субъекта как целого здесь совершенно не требуется.

Как мы видим, теория детерминирующей тенденции одновременно и телеологична и механистична. Телеологична она потому, что признает существование тенденции, исходящей из

представления цели. Следовательно, согласно этой теории, силой, непосредственно определяющей поведение, является представление цели. Механистично же это учение потому, что, согласно ему, представление цели само непосредственно действует на психические содержания и поведение субъекта и, следовательно, делает излишней активность субъекта.

Согласно Левину — представителю второй теории, — поведение есть результат разгрузки той энергии, источником которой являются наши потребности. В случае воли мы имеем дело с таким поведением, которое опирается на источник энергии не естественных потребностей, а на совершенно иной — на источник так называемых квазипотребностей («будто бы потребностей»). Когда человек решает что-либо, например послать письмо знакомому, это решение создает в нем некоторое напряжение, стремящееся к разрешению в виде соответствующего поведения: у него возникает потребность написать письмо. Так как эта потребность не является природной потребностью, но в то же время во многих отношениях похожа на нее, Левин называет ее *квазипотребностью*.

Стало быть, решение или, вернее, намерение создает в человеке потребность выполнить определенное действие — квазипотребность. Эта новая потребность придает определенным предметам и явлениям — тем предметам и явлениям, которые имеют связь с удовлетворением потребности, — своеобразную силу направлять субъекта к определенному действию. Например, стол, бумага, ручка как будто призывают субъекта сесть к столу и написать письмо; конверт — положить в него письмо и запечатать; почтовый ящик — достать письмо из кармана и бросить в ящик. Как мы видим, достаточно субъекту решить что-либо, например написать письмо и, следовательно, пробудить в себе некую квазипотребность, чтобы в дальнейшем его поведение протекало вполне упорядоченно и целесообразно. Такой силой обладает, по мнению Левина, квазипотребность.

Теория квазипотребности является скорее точным описанием течения волевого поведения, чем его настоящим

объяснением. Левин только свидетельствует тот несомненный факт, что после принятия решения человек приступает к деятельности так, как будто эта последняя имеет в основе подлинную потребность. Но так как фактически здесь нельзя говорить о подлинной потребности, автор вносит понятие квазипотребности. Ничего больше это понятие не дает; оно ни в коем случае не объясняет целесообразного характера поведения. Согласно Левину, решение порождает некое напряжение, и это автор называет квазипотребностью. Отсюда возможно объяснить только то, почему после принятия решения появляется тенденция его выполнения. А почему процесс выполнения характеризуется упорядоченной целесообразностью, и притом без непрерывного сознательного контроля со стороны субъекта, об этом одно только понятие потребности ничего нам не говорит.

4. Установка как основа выполнения. Говоря об импульсивном поведении, мы убедились, что характер его протекания станет достаточно легкообъяснимым, если мы допустим, что в его основе лежит установка. Это положение решает и те вопросы, которые в данное время стоят перед нами, потому что, если и волевое поведение протекает так же, как и импульсивное, ничто не мешает нам и здесь говорить об установке.

И в самом деле, прежде чем мы вынесем окончательное решение, как поступить, выполнение решения часто кажется нам очень трудным. Например, до тех пор, пока мы решим отказаться от какой-либо привычки, скажем курения, эта уступка разумному решению — не курить — кажется нам необычайно труднопереносимой. Если у нас кончился табак и мы вынуждены воздержаться от курения, это очень болезненно переживается нами. Но стоит нам действительно решить никогда больше не курить вообще, действительно отказаться от этой привычки — и мы сразу заметим, что эта потребность как бы в некотором роде ослабела и ее неудовлетворение уже не так невыполнимо, как это было раньше. Именно с этим обстоятельством должно быть связано переживание, что выполнить наше намерение не является для нас невозможным, что у нас есть силы для его выполнения, переживание — «я могу» (können).

Что же произошло? Что привело к этому изменению? Ответ на этот вопрос может быть только один: после решения субъект *преобразился*. По отношению к курению табака он уже не тот, кем был. Теперь он уже изменился в том отношении, что табак потерял для него притягательную силу и, следовательно, отсутствие табака его уже мало беспокоит. Когда у него была потребность курить и к табаку он относился с этой точки зрения, табак вызывал в нем некий эффект, который следует представить в виде установки к курению. На основе такой установки, как мы уже знаем, строится импульсивное поведение. Теперь же, в случае решения отказаться от курения, потребность субъекта, с которой он подходил к табаку, изменилась: он хочет не курить. Следовательно, изменился субъективный фактор установки; и теперь, когда субъект видит табак, понятно, что этот последний вызывает в нем соответствующую установку, установку *некурения*. В результате этого субъект чувствует, что в состоянии сдерживать себя, и последующее его поведение протекает в соответствии с этой установкой. Поведение становится целесообразным и, поскольку в основе всего его протекания лежит одна определенная установка, — упорядоченным.

Таким образом, мы видим. что в основе процесса выполнения решения лежит установка. Это и делает понятным и сравнительную легкость, как бы автоматичность протекания и все же упорядоченную целесообразность данного процесса.

Но установка и в случае импульсивного поведения выполняет ту же роль. Тогда в чем же различие между импульсивным и волевым поведением? Очевидно, это различие следует искать в периоде выполнения волевого поведения.

АКТ РЕШЕНИЯ

1. Феноменология переживания воли. Акт решения занимает особое место в процессе воли. В экспериментальной психологии известно понятие *первичного волевого акта*. Как выяснилось, содержание этого понятия таково: а) во время акта решения субъект чувствует довольно отчетливое мышечное напряжение в той или иной части тела; у него возникают определенные *ощущения напряжения* (Ах называет это

наглядным моментом воли); б) кроме этого, у субъекта есть *ясное представление того,* что ему надлежит *делать,* и примечательно, что эта будущая деятельность переживается им как *собственная* будущая деятельность (предметный момент); в) в то же время субъект всегда свидетельствует о возникновении в момент решения одного специфического переживания, которое он может выразить только следующим образом: «Я хочу»... «Теперь я *действительно хочу»* (актуальный момент).

Как надо понимать это переживание? Оно — не простая констатация, не простое познание или понимание, простое засвидетельствование того, что субъект до этих пор *не хотел,* а вот теперь *хочет.* Нет! Это подлинный *акт,* подлинное переживание: *будущая деятельность, которая должна произойти, должна быть осуществлена мною, моим «я», которое этого хочет.* Это «я хочу» является тем актуальным фактором, который регулирует будущую деятельность. В нем переживается, что произойти должно именно это, а не что-либо другое, что всякая иная возможность исключена: оно — *переживаемая активность,* и описать его, как говорит Мишот, невозможно; г) кроме этого, в момент решения субъект чувствует некое *усилие,* которое, как выяснилось, тем больше, чем сильнее концентрация воли (момент состояния).

Во время подлинного акта решения в сознании проявляют себя эти четыре фактора, или момента, и все четыре вместе создают то специфическое целостное переживание, которое имеет место во время этого акта и которое каждому из нас знакомо. Из этих моментов только один имеет специфически волевое значение: *актуальный момент, переживаемая активность* — переживание «я хочу». Где нет этого последнего, там не может быть речи и о воле.

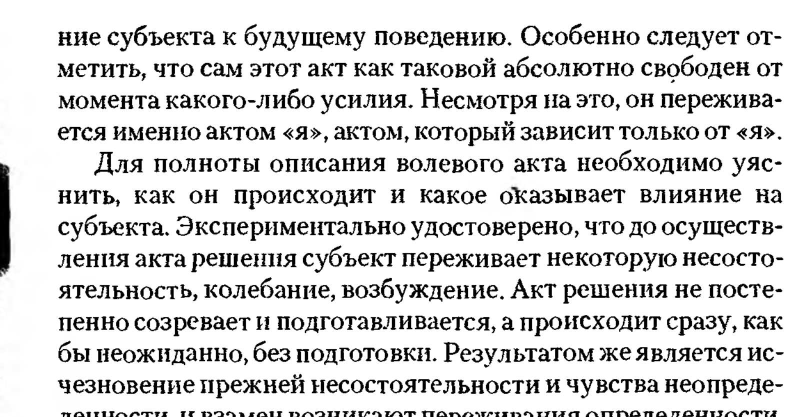
Остальные моменты совершенно не имеют специфического волевого значения. Хотя обычно они сопутствуют энергичному волевому акту, но это не значит, что благодаря этому они должны быть признаны существенными моментами воли. Обычно мы уверены, что якобы для воли должны быть характерны именно моменты напряжения и усилия, но

результаты экспериментального исследования совершенно не оправдывают этой нашей уверенности.

Наоборот, оказалось, что ни напряжение, ни усилие не имеют для воли существенного значения. После гальванометрических опытов английского психолога Эвелинга следует считать объективно доказанным, что воля и усилие хотя и встречаются вместе, но по существу представляют собой два различных явления. Эвелинг установил, что в случае волевого акта, хотя бы даже очень энергичного, гальванометр не свидетельствует ни о каком усилии; в то же время тот же гальванометр дает наглядные показатели усилия, как только дело коснется не собственно воли, а процесса *выполнения*. Эти объективные данные вполне оправдывают вышеотмеченный анализ, согласно которому, как мы видели, ни момент наглядности и ни момент состояния, т. е. ни напряжение, ни усилие, не являются существенными для воли. Воля сама по себе *абсолютно свободна от усилия*. Однако это не мешает ей вызывать иногда необычайно интенсивное усилие.

После этого становится понятным и то, что в случаях импульсивного поведения мы можем встретиться с довольно высоким уровнем напряжения и усилия. Мышечное напряжение и усилие в первую очередь связаны с выполнением движений, составляющим моторное содержание поведения. Поэтому они могут встретиться везде, особенно же там, где имеет место моторное поведение — в случаях импульсивного волевого поведения. Различие здесь будет только в том, что в первом случае субъект вынужден прибегнуть к усилию под влиянием импульса актуальной потребности, а во втором — под влиянием волевого акта.

Таким образом, волевой акт может быть охарактеризован следующим образом: когда человеку нужно что-либо решить, появляется момент, когда он сразу чувствует, что вот сейчас он «действительно хочет», возникает переживание «самоактивности», в котором тут же, теперь дано то, что должно произойти в будущем, именно то, что «я действительно хочу». Следовательно, в акте воли переживается отношение субъекта к будущему поведению; оно является исходящей из «я» переживаемой активностью, в которой определяется отноше-



ние субъекта к будущему поведению. Особенно следует отметить, что сам этот акт как таковой абсолютно свободен от момента какого-либо усилия. Несмотря на это, он переживается именно актом «я», актом, который зависит только от «я».

Для полноты описания волевого акта необходимо уяснить, как он происходит и какое оказывает влияние на субъекта. Экспериментально удостоверено, что до осуществления акта решения субъект переживает некоторую несостоятельность, колебание, возбуждение. Акт решения не постепенно созревает и подготавливается, а происходит сразу, как бы неожиданно, без подготовки. Результатом же является исчезновение прежней несостоятельности и чувства неопределенности, и взамен возникают переживания определенности, устойчивости и спокойствия. То, что акт решения именно таков, видно из самого его названия*: слово «решение» указывает на то, что он *прерывает* прежнее состояние и вступает в совершенно новое, в котором не сохранилось ничего от старого состояния.

2. Решение есть переживание смены установки. Из описания волевого акта явствует, в чем по существу он должен заключаться. Если он состоит в том, что субъект *внезапно* чувствует, что он действительно и окончательно *хочет* выполнить определенный акт, что этот акт полностью исходит из его «я», что теперь его осуществлению ничто не будет препятствовать, ясно, что волевой акт указывает на изменение, касающееся субъекта как целого и определяющее его будущее поведение. Внезапное возникновение волевого акта, его целостно-личностный характер, данное в нем сознание того, что будущее поведение уже определено, что оно, несомненно, будет выполнено, и притом то обстоятельство, что этот акт не характеризуется усилием, — все это ясно доказывает, что в данном случае мы имеем дело со сменой *установки*. В волевом акте дано преобразование установки, и все переживания, имеющие место в сознании субъекта, являются отражением этой смены.

---

* Грузинское слово *gadatkveta*, которое переводится здесь словом «решение», приближается по смыслу к слову *gatkveta*, означающему «оборвать», «прервать». — *Примеч. ред.*

Таким образом, волевой акт, феноменологически проявляющийся в сознании активности, в переживаемой активности, в переживании «я действительно хочу», указывает на смену установки: у субъекта возникает установка именно того поведения, по отношению к которому он переживает «я хочу», и реализация этой установки является содержанием его последующей деятельности.

Следовательно, теперь уже ясно, откуда возникает та установка, которую следует считать основой и регулятором волевого поведения. Несомненно, это та установка, факт возникновения которой находит свое отражение в переживаниях акта решения и образование которой переживается как последствие воли.

ВОПРОС О ТВЕРДОСТИ ВОЛИ

1. Основа твердости воли. В результате экспериментального исследования считается установленным, что, каким бы твердым ни был акт решения, весьма вероятно, в определенных условиях решение окажется невыполнимым. Для обеспечения реализации самого поведения недостаточно осуществления подлинного волевого акта, т. е. создания установки будущего поведения. Очень часто случается, что человек примет какое-либо решение, примет его со всей серьезностью, например решит больше не прикасаться к табаку, но не может выполнить этого решения. Обычно это происходит потому, что выполнение решения сталкивается с целым рядом препятствий и не все люди бывают в состоянии преодолеть их. Вот поэтому мы и говорим о *твердости* или *слабости* воли. Когда, невзирая на препятствия, решение все же выполняется, мы объясняем это твердостью воли. Когда же решение не выполняется, мы говорим о слабости воли. Как же это понять? С какими же препятствиями сталкивается выполнение решения?

В процессе выполнения человек встречается со многими явлениями, которые пробуждают в нем потребности, более или менее противоположные его решению. Конечно, может иногда случиться, что импульсы этих потребностей окажутся настолько сильными, что заставят субъекта забыть или

изменить свое прежнее решение. В этом случае, разумеется, уже излишне было бы говорить о выполнении прежнего решения. Такое препятствие может возникнуть во время любого волевого поведения, и дело в том, сможет ли субъект оказать ему достаточное сопротивление. Возьмем тот же пример. Скажем, дело касается решения бросить курить. После того как субъект примет окончательное решение и ему уже не нравится табак, может случиться, что кто-нибудь предложит ему очень хорошие папиросы. Вид папирос напомнит ему приятное состояние, не раз испытанное им раньше при курении хорошего табака. Может случиться, что он не сможет устоять перед желанием и не откажется от папирос. В таком случае, разумеется, мы имеем полное право говорить о слабости его воли. Но может быть и так, что он откажется от предлагаемых папирос, но потом в течение многих дней не сможет избавиться от мысли или представления о хорошем табаке; наконец он не выдержит исходящего от этого навязчивого представления импульса и вновь начнет курить. Такое навязчивое представление называют *персеверирующим* представлением, и экспериментально доказано, что исполнению решения может помешать не только обычное воспоминание (например, воспоминание о приятном состоянии), но и персеверация.

Как это происходит? Что лежит в основе невыполнения решения? Если акт решения указывает, что у субъекта выработалась соответствующая его цели установка, то, пока эта установка в силе, возникшее на ее основе поведение должно протекать с почти автоматической точностью и легкостью. И это действительно так и происходит, пока у субъекта под влиянием какого-либо импульса, скажем вида хорошего табака, не появится сильная тенденция закурить. Если бы ему предложили обычный табак, он сравнительно легко отказался бы от него. Но дело в том, что ему предложили исключительно хороший табак, и это смогло пробудить в нем *прежнюю потребность*. Здесь ясно видно, что установка, созданная во время принятия решения (не курить больше), оказалась не настолько стойкой, чтобы и в случае восприятия хорошего табака остаться в силе, и вот она уступает место

противоположной установке — установке курения. Мы видим, что в этом случае в основе слабости воли лежит лабильность (легкая изменчивость) установки, созданной в момент принятия решения.

Но, как выяснилось, исполнение решения сталкивается и с препятствиями иного рода. Сомнения нет, что не всякое действие технически легковыполнимо; некоторые из них состоят из более легких операций, а другие — из более трудных. Согласно опытам Н. Аха, когда намеченное поведение легковыполнимо, тогда легко и выполнение решения, но иное дело в случае технически трудных операций. Здесь осуществление решения затрудняется не только тем, что сначала трудна сама задача решения, а особенно тем, что трудности, возникающие в процессе выполнения, каждую минуту действуют против выработанной в акте решения установки. В результате этого часто случается, что трудность операций становится все более ощутимой и в конце концов субъект отказывается от выполнения своего решения. Как мы видим, и здесь сказывается слабость воли, основой ее и здесь является смена установки.

Выполнение решения иногда задерживает и то обстоятельство, что раз начатое дело после определенного времени *надоедает* человеку. Результат этого обнаруживается опять-таки в виде пресечения созданной в волевом акте установки и возникновения противоположной ей, новой установки: человек меняет прежнее решение, отказавшись от его выполнения.

Однако изменение решения может быть вызвано и другими причинами: а) легко может случиться, что в процессе выполнения внимание субъекта привлекут некоторые обстоятельства, которых он раньше не замечал. В этом случае, когда это новое обстоятельство делает неприемлемым прежнее решение, установка нарушается и субъекту приходится принять новое решение, создать новую установку; б) может случиться и так, что изменится сам субъект: у него появятся новые интересы и стремления, тогда само собой подразумевается, что старое решение как неподходящее теперь для него

теряет силу и субъект будет вынужден прибегнуть к новому волевому акту — принять новое решение.

Однако ни в одном из этих случаев нельзя говорить о слабости воли. Правда, решение и здесь меняется, и вместо старой установки создается новая, но происходит это не потому, что установке не хватает устойчивости, что она сама шаткая, изменчивая и поэтому субъект вынужден заново прибегнуть к акту решения. Нет, сама установка может быть очень стойкой, процесс выполнения может протекать беспрепятственно, но так как субъект видит, что это решение теперь для него неприемлемо, возможно, он совершенно сознательно постарается освободиться от прежнего решения и при помощи нового акта воли вызвать установку нового, более подходящего поведения. Наоборот, здесь мы имеем дело не со слабостью, а с несомненной твердостью воли. Бывают случаи, когда человек видит, что решение оказалось несоответствующим, что поэтому было бы целесообразно отказаться от его выполнения, но ему это не удается — он не в состоянии изменить раз выработанную установку. В этом случае он раб своего решения; не он владеет этим последним, а наоборот, не будучи в силах по своей воле изменить уже выработанную установку, он не может отказаться от принятого решения. Как мы видим, это *упрямство* является показателем скорее слабости, чем твердости воли.

Итак, ясно, что твердость воли заключается в способности до конца сохранить раз принятое решение. Когда одного акта решения достаточно, чтобы намерение до конца оставалось в силе, когда не приходится на каждом шагу вновь принимать то же самое решение, тогда мы, несомненно, имеем дело с твердой волей.

Пока возникшая в момент решения установка актуальна, процесс выполнения решения протекает легко. Но если эта установка поколеблется, это тотчас скажется в переживании *затруднения* в выполнении и субъект становится перед необходимостью вновь прибегнуть к акту решения. Если ему удастся вернуться к старому решению, установка останется в силе и процесс выполнения продлится, если же нет — он будет вынужден отказаться от начатого дела. Тогда затраченная

уже энергия окажется потерянной бесплодно и дело придется начинать сначала.

Отсюда ясно, как велико значение устойчивости решения. Акт решения сам по себе моментален. Но для того, чтобы выполнить то, что решено, решение обязательно должно остаться непоколебимым, дабы до конца направлять поведение сообразно себе. Такое стабилизированное решение называется *намерением*. Как мы уже убедились, в его основе лежит установка, выработанная в акте воли, и чем устойчивее во времени эта основа, чем она непоколебимее, тем более твердым переживается намерение и тем тверже воля.

Но твердость воли проявляется и в другом отношении. Обычно трудность выполнения предусматривается субъектом уже сразу — до осуществления акта решения. Когда эта трудность невелика, тогда сравнительно легко дается и само решение, оно требует меньшей концентрации воли, меньшего напряжения. А когда трудность велика, тогда необходимой становится гораздо большая мобилизация энергии, и вот то свойство воли, которое дает субъекту возможность (невзирая на то что он заранее знает, насколько дело трудновыполнимо) все же принять энергичное решение, указывает на ее твердость.

Разумеется, понимаемая так твердость воли совершенно не совпадает с тем понятием твердости воли, которое подразумевает непоколебимость решения, его устойчивость во времени. Бывают случаи, когда человек не страшится мысли о преодолении ожидаемых трудностей и принимает энергичное решение, однако стоит действительно появиться этим ожидаемым трудностям, как он сразу охладевает и теряет охоту выполнить принятое решение. В этом случае мы, несомненно, можем говорить о слабости его воли. Однако надо отметить, что способность легко принимать решение оказала бы ему в этом случае определенную помощь — он вновь решил бы выполнить то, к чему он только что так охладел, и, таким образом, в результате такого неоднократного повторения решения он, вероятно, довел бы дело до конца.

Слабость воли проявляется и в виде общего понижения способности принимать решение. Известен не один случай,

когда человек не в состоянии принять даже самое простое решение. Да или нет? Как поступить — так или этак? Вопрос этот остается вопросом, и субъекту так и не удается приступить к делу. Разумеется, в своем резко выраженном виде это состояние должно считаться довольно серьезным заболеванием: оно известно под названием *абулии* и подразумевает настолько основательное ослабление воли, что больной не может решить даже самое простое дело (например, известен один случай, когда больному понадобилось два часа размышления, прежде чем он смог решить раздеться и лечь в постель).

Но в более простом виде случаи понижения способности решения встречаются и среди нормальных людей. Художественный портрет одного из них представляет собой Гамлет Шекспира. Обычно такие нерешительные люди легко подчиняются чужой воле. Тогда они сравнительно легко решают какой-либо вопрос, но часто у них такое чувство, будто это решение несвободно, исходит не из глубины их «я», а какое-то навязанное извне, вынужденное, хотя и выражает теперь их желание.

Для воли, как мы отмечали выше, характерно именно переживание активности «я», а здесь снижено именно это: в момент решения субъект не переживает *самоактивности*, он не чувствует *самостоятельности*. Это хорошо согласуется и с повседневным наблюдением, что силой самостоятельного действия обладают только люди с твердой волей.

Интересно, что в случаях такой слабости воли субъект обнаруживает достаточно наглядную способность выполнять принятое решение. Часто, невзирая на значительные препятствия, он твердо стоит на своем пути и заботится о полной реализации принятого решения. Это наблюдение еще раз наглядно доказывает, что, во-первых, акт воли надо искать не в моменте выполнения, а в моменте решения и, во-вторых, протекание процесса выполнения имеет свою основу, одинаково успешно действующую и в том случае, когда она выявляется в результате собственного волевого акта или под влиянием какого-либо другого обстоятельства.

2. Опыты экспериментального изучения твердости воли. Первый подлинный экспериментально-психологический опыт в этом направлении принадлежит пионеру экспериментального изучения воли Н. Аху. Н. Ах дает своему испытуемому несколько пар бессмысленных слогов (например, дус — лор, фуд — неф) и заставляет повторять их до тех пор, пока испытуемый не заучит их настолько хорошо, что сможет свободно повторить их наизусть. Автор предполагает, что в этих условиях при виде одного члена из пары слогов у испытуемого возникнет достаточно сильная тенденция (так называемая ассоциативная тенденция) назвать второй член этой пары.

После этого тому же испытуемому даются другие задания по отношению к тому же члену пары слогов. На основе задания у него возникает новая — волевая — тенденция, которая должна вступить в борьбу с ассоциативной и, насколько это возможно, одолеть ее. Например, испытуемый твердо помнит, что слог «дус» дан в паре со слогом «лор», так что достаточно ему услышать «дус», и тотчас у него возникает сильный импульс сказать «лор».

И вот теперь ему дают такое задание: «Как только я покажу вам какой-либо из бессмысленных слогов, вы должны тотчас прочитать его обратно (например, если я покажу "руд", вы должны сказать — "дур")». Когда испытуемому показывают «дус», он решает сказать «суд», в то же время у него невольно возникает сильный импульс сказать и «лор».

Таким образом, экспериментально создается такое положение, что субъект переживает конфликт между волевой и неволевой тенденциями. Какая из них победит, волевая или неволевая, это зависит от силы каждой из них. Твердость неволевой тенденции зависит в этом случае от того, насколько испытуемый твердо запомнил, что этот определенный слог находился в паре именно с этим определенным вторым слогом, насколько прочную связь установил он между членами данной пары. Выяснилось, что связь эта тем прочнее, чем чаще испытуемый повторял материал. То число повторений ряда слогов, небольшого увеличения которого вполне достаточно, чтобы неволевая тенденция победила волевую, Н. Ах

называет *ассоциативным эквивалентом тенденции.* Когда число повторений меньше этого, тогда побеждает волевая (или детерминирующая) тенденция и испытуемому удается прочитать слог в обратном порядке; если же нет — тогда вместо этого он проговорит слог, находящийся на втором месте (в нашем примере — «лор»).

Отсюда ясно, что твердость или стойкость детерминирующей тенденции или волевого акта должна измеряться количеством повторений бессмысленных слогов: чем больше ассоциативный эквивалент, тем тверже должна быть детерминирующая тенденция, т. е., согласно Аху, волевой акт, потому что, как мы уже знаем, детерминирующая тенденция является эффектом этого последнего.

Таким образом, понятие ассоциативного эквивалента подразумевает возможность измерения твердости воли. Безусловно, значение его было бы очень велико, если бы он оказался действительно обоснованным. Последующими экспериментальными исследованиями было выяснено, что неволевая тенденция, противостоящая в опытах Аха волевой, возникает только в определенных условиях, что достаточно слегка изменить эти условия, чтобы ничего от этой тенденции не выявилось и волевая продолжала бы действовать бесконфликтно. Так, например, если согласовать с испытуемым, что, скажем, при виде слога, написанного красным, он должен прочитать его обратно, а при виде слогов другого цвета — действовать по-другому, он всегда будет вести себя согласно этому заданию и ни разу у него не возникнет тенденция назвать последующий слог (Мак-Керт).

Следовательно, здесь не может быть и речи об ассоциативном эквиваленте и измерении с его помощью твердости воли. Зато из этого явствует, что здесь достаточно большую роль играет внимание: когда оно направлено на задачу, другие тенденции мало проявляют себя и очень мало мешают выполнению решения. Согласно этому, произвольное изменение какой-либо привычки трудно потому, что она привлекает к себе внимание человека, а это мешает ему с достаточным вниманием отнестись к своему решению. Таким образом, слабость воли зависит, оказывается, и от *колебания внимания.*

3. Воля и персеверация. Как мы вскользь уже отметили выше, бывают случаи, когда одно какое-либо представление, часто помимо нашей воли, возникает в нашем сознании и не покидает его. Наше внимание стойко и длительно направлено на это представление и ни до чего другого ему нет дела. Такое состояние называется *персеверацией.* Оно представляет собой явление, совершенно противоположное колебанию внимания. Стало быть, кто обладает более сильной способностью персеверации, у того должна быть более твердая воля. Этого следует ожидать тем более, что твердость воли, как это было показано выше, проявляется и в способности длительного неизменного сохранения решения, но из специальных исследований Лэнкса стало очевидно, что это предположение совершенно необоснованно, что персеверация, являющаяся врожденным свойством нервной системы, не имеет абсолютно ничего общего с твердостью воли. Выяснилось, что воля человека в состоянии направить свою деятельность против естественной склонности, оказать противодействие врожденной персеверационной тенденции собственной нервной системы.

Следовательно, ясно, что воля — не врожденная биологическая наша особенность, а явление более высокой категории, обладающее силой изменять и направлять сами биологические врожденные тенденции собственной нервной системы. Исходя из этого, твердость воли, разумеется, ни в коем случае не может считаться врожденным свойством: она приобретена человеком в течение его личной жизни, и поэтому воспитание твердой воли является одной из важнейших задач педагогики.

4. Установка и слабость воли. Экспериментально установленный фактический материал и вытекающие отсюда выводы о слабости воли совершенно не противоречат нашему положению об этом же вопросе. Напротив, можно сказать, что они говорят скорее в пользу его правильности, чем в противовес ему.

И в самом деле, если твердость воли не является врожденной особенностью нервной системы, если она является делом личности как целого, тогда сомнения нет, что здесь решаю-

щее значение следует присвоить именно понятию установки. Мы уже в свое время убедились, что установка является не врожденным свойством нервной или иной биологической системы, а состоянием личности, которое возникает на почве взаимодействия потребности последней и соответствующей внешней ситуации. Такое понятие установки делает вполне понятным, что твердость воли не имеет ничего общего с врожденными тенденциями нервной системы. С другой стороны, понятным становится и то, что в случае колебания внимания мы имеем дело со слабостью воли. Мы уже знаем, что установка означает готовность к актуализации определенных переживаний. Следовательно, когда у нас определенная установка, в нашем сознании предоставляется место только вполне определенным явлениям. Достаточно нашему вниманию отклониться в сторону, чтобы мы имели право сказать, что наша установка изменилась. Если мы предположим, что в основе воли лежит установка, станет понятно, почему колебание внимания указывает на слабость воли: ведь она может проявиться в результате ослабления установки.

Итак, полученные в результате экспериментального исследования факты относительно твердости воли говорят опять-таки в пользу установки как основы, от качества которой зависит и такая формальная сторона воли, как ее твердость или слабость.

Значительное преимущество понятия установки проявляется в этом случае и в другом обстоятельстве. Дело в том, что слабость или твердость воли ни в коем случае не может считаться ее формальной стороной. Такой формалистический взгляд по существу противоречит фактам, засвидетельствованным как нашими повседневными наблюдениями, так и экспериментальными исследованиями. Кто не знает, что человек твердой воли иногда проявляет довольно заметную слабость, в зависимости от того, что ему приходится решать, тогда как слабовольный человек именно в этом случае подчас обнаруживает способность к гораздо более энергичному действию.

Нет сомнения, что наше решение во многих отношениях зависит и от того содержания, к какому оно относится. Воля,

безусловно, не является чисто формальной силой, напротив, содержание имеет для нее исключительное значение. Но если это так, тогда это вновь говорит в пользу установки как основы воли, потому что для установки особенно основополагающее значение имеет именно содержательный, или объективный, фактор: установка — это отражение именно объективной обстановки.

МОТИВАЦИЯ — ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ВОЛЕВОМУ АКТУ

1. Значение изучения периода мотивации. Мы пока знаем только одно, что в основе волевого поведения лежит установка и эта установка проявляется в момент принятия решения. Мы знаем, что создание этой установки дается нам в виде своеобразного переживания, в виде специфического переживания самоактивности, не похожего ни на одно из известных переживаний; оно считается переживанием воли. Но знаем мы и то, что и импульсивное поведение протекает на основе установки и что эта установка возникает под воздействием ситуации, соответствующей актуальной потребности.

Мы, однако, пока еще не знаем главного: того, что порождает установку в случае воли и, следовательно, чем в конце концов отличается волевое поведение от импульсивного. Правда, мы знаем, что в случае импульсивного поведения нет переживания акта решения, переживания самоактивности. Но как происходит, что акт решения переживается как самостоятельность? Как происходит, что в случае воли возникновение установки является нам в виде активности «я»? Это нами пока еще не изучено. Чтобы ответить на этот вопрос, надо уяснить, что создает установку в случае воли?

Волевое поведение отличается от импульсивного особенно наглядно и тем, что оно имеет предшествующий акту решения период, предназначенный, без сомнения, для того, чтобы создать условия созревания установки, подготовить ее возникновение. Изучение этого подготовительного периода, несомненно, имеет исключительно большое значение для решения основных вопросов воли.

2. Смысл периода мотивации. Когда субъект действует под влиянием актуальной потребности, когда его поведение подчиняется силе этой потребности, тогда мы имеем дело с импульсивным поведением. Однако человек не всегда уступает этому импульсу. Мы знаем, что он обладает способностью противопоставить самого себя окружающей среде, объективировать действия своего «я». Это обстоятельство дает ему возможность высвободиться от принуждения импульса актуальной потребности и, следовательно, поставить вопрос о будущем своем поведении: теперь он сам должен решить, как себя вести, раз он уже не следует за импульсом актуальной потребности. А ситуация именно такова: субъект сознает, что его поведение отныне зависит от него самого, от его собственной личности, от его «я». Следовательно, заранее надо продумать, какое поведение предпочтительнее для его «я».

Может быть, импульс актуальной потребности окажется благоприятным, но возможно и то, что он будет противоречить другим потребностям личности и поэтому будет вообще неприемлемым для «я», чье существование, а значит, и интересы не исчерпываются одним данным моментом. Ночную бабочку влечет к себе огонь; она не в силах противиться этому импульсу и гибнет. К счастью, совсем иным является человек. Прежде чем обратиться к какому-либо поведению, он заранее предусматривает, насколько это поведение вообще приемлемо для него; ведь ясно, что существование человека не ограничивается только данным моментом. Субъектом своего поведения он переживает самого себя, свое «я». Поэтому понятно, что прежде чем решить окончательно, как поступить, он должен обсудить, какой акт поведения наиболее соответствует его «я».

Отсюда ясно, что в случае воли человек делает не то, к чему принуждает его актуальная потребность, чего ему хочется сейчас, а то, что соответствует общим интересам его «я» и чего в данный момент, возможно, ему вовсе не хочется.

Следовательно, акту решения предшествует период, в котором происходит предварительное обсуждение, предварительные поиски вида поведения, сообразного общим интере-

сам «я» — субъекта. Этот процесс поиска завершается актом решения, т. е. *нахождением такого вида поведения,* который, по мнению субъекта, является актом, соответствующим его «я», и за который он может взять на себя ответственность.

Таким образом, мы видим, что благодаря способности объективации самого себя и своего поведения человек действует не по импульсу своей актуальной потребности, а согласно общим потребностям своего «я». Акт решения означает, что найден тот вид поведения, который он считает наиболее подходящим для своего «я», а период, предшествующий этому акту, следует считать периодом *поиска* нужного поведения.

3. Выбор и мотив. Предварительный общий анализ содержания этого подготовительного периода убеждает нас в том, что он подразумевает участие по крайней мере двух основных факторов. Во-первых, вместо того чтобы непосредственно приступить к действию, субъект начинает поиски вида целесообразного поведения: он размышляет, обдумывает, словом, мыслит, дабы подыскать наиболее целесообразный для него вид поведения. Во-вторых, он имеет в виду потребности своего «я» и, только сообразуясь с этими потребностями, принимает окончательное решение. Каким бы целесообразным ни казалось ему то или иное возможное решение, ему удается принять это решение лишь после согласования его с потребностями своего «я».

Рассмотрим оба эти фактора более детально.

А. В случае воли человеку приходится сделать *выбор:* что лучше? Какое поведение целесообразнее для него?

Совершенно бесспорно, что такой вопрос может быть поставлен только перед мыслящим существом, которое в состоянии догадаться, что для него более и что менее целесообразно. Когда человек прерывает одну деятельность, чтобы приняться за другую, более для него целесообразную, он прежде всего начинает размышлять: насколько в этих условиях было бы разумно, целесообразно поступить так или этак. Выбор целесообразного поведения всецело зависит от того, насколько правильно мышление.

Стало быть, акт решения предваряется мышлением: субъект рассуждает, оценивает целесообразность каждого возможного акта и наконец останавливается на каком-либо одном. Например, когда перед Юлием Цезарем встал вопрос о захвате власти вооруженной силой, он не тотчас же отдал распоряжение о переходе Рубикона и выступлении в поход против Рима, а лишь после предварительного довольно длительного обдумывания пришел к заключению, что выступление против республики было бы особенно целесообразно и надежно именно при существующих условиях. После того как он постиг умом, что для него выгодно выступить против республики именно теперь, перед ним встал вопрос о немедленном решении перейти Рубикон и выступить против республиканских войск.

Итак, мы повторяем, акту решения всегда предшествуют обдумывание, взвешивание всех возможностей, словом, довольно сложный мыслительный процесс, в результате которого субъект сочтет для себя особенно целесообразным одно какое-либо поведение.

Однако дает ли это последнее обстоятельство гарантию, что субъект решит выполнить именно это поведение? Достаточно ли убедиться в том, какое поведение предпочтительнее, чтобы действительно взяться за его выполнение? Достаточно ли успешного завершения интеллектуального процесса для того, чтобы совершился и соответствующий волевой акт? Будь это так, тогда между волей и мышлением не было бы никакого различия: тогда акт интеллектуального решения вопроса и акт волютивного решения должны были бы совпадать друг с другом. Но и самое простое наблюдение подскажет нам, что это не так. Представим себе, что Юлий Цезарь был слабовольным человеком. Это обстоятельство, возможно, не помешало бы ему прийти к выводу, что начать борьбу за власть наиболее целесообразно именно теперь. Но разве он смог бы тогда так же легко решить отдать приказ своему легиону перейти Рубикон и выступить против республики? Разумеется нет! Для этого ему понадобилось бы еще нечто, не относящееся к мышлению как таковому. Для этого ему дополнительно потребовалось бы совершить волевой акт.

Возникает вопрос, на что опирается акт самого решения?

Несомненно, он опирается на тот интеллектуальный процесс, в результате которого обоснована целесообразность определенного поведения. Но, как мы убедились, этого еще недостаточно для акта решения. Он еще нуждается в своей специфической основе. Основанием или основой волевого действия в психологии называют *мотив.* Следовательно, прежде чем человек что-либо решит, он должен начать поиски соответствующих мотивов: акт решения предваряется процессом мотивации.

Стало быть, весь процесс следует представить так: сначала установление целесообразного поведения посредством мышления, затем процесс мотивации и, наконец, акт решения.

Б. В психологии воли понятию мотива принадлежит исключительно важное место. Несмотря на это, с подлинно психологической точки зрения оно и по сей день недостаточно изучено. Раньше это понятие рассматривалось скорее с этико-философской точки зрения, и это положение пока еще не ликвидировано окончательно в психологии. И конечно, пока это не сделано, трудно говорить о подлинной психологии воли.

Да и как, в самом деле, трактуется обычно понятие мотива? Некоторые психологи, например Рибо, мотив называют «причиной воли». В этом случае дело представляется так: когда человеку надо принять какое-либо решение, в его сознании непременно должны быть переживания, вынуждающие его принять именно одно определенное решение, и мотивом являются именно эти переживания. Здесь подразумевается, что мотив находится в таком же отношении с волевым актом, как физическая причина с физическим следствием.

Гораздо чаще мотив объявляется «основанием или основой деятельности». Это означает следующее: когда человек что-либо решает, это происходит не потому, что его нечто вынуждает принять именно это решение, а потому, что по разным соображениям именно это решение выгодно для него. Всякий выбор, безусловно, имеет какое-то основание, и в случае воли этим основанием является мотив.

Возьмем простой пример: допустим, сегодня вечером назначен концерт, который меня очень интересует. С другой же стороны, по моему рабочему плану именно сегодня вечером я должен выполнить определенную работу. Во мне возникают две противоположные тенденции: пойти на концерт и остаться дома. Скажем, остаться дома и работать не так уж привлекательно для меня: я предпочитаю пойти на концерт. После предварительного обдумывания я прихожу к заключению, что лучше остаться дома и выполнить свою работу. Чтобы действительно решить остаться дома, мне понадобилось найти преимущества этого поведения: если я сегодня останусь дома работать, я своевременно выполню свой план, что для меня чрезвычайно важно, а если я сегодня не поработаю, мой план провалится, потому что завтра у меня совсем не будет времени. Следовательно, если я хочу иметь те результаты, которые последуют за выполнением плана, я должен отказаться от концерта и предпочесть остаться дома. Скажем, я действительно предпочел остаться. Почему это произошло? Почему я решил делать не то, что меня больше привлекало, а именно то, что в данный момент совсем меня не привлекало? Потому, что это последнее имело для меня больше *ценности*, чем первое; остаться дома и работать будет иметь результатом выполнение плана и все связанные с этим преимущества, а это имеет для меня большое значение, гораздо большее, чем удовольствие, которое я получил бы на концерте.

Таким образом, определенное поведение — быть дома и работать — нашло оправдание. То, что последует за ним, имеет для меня бóльшую ценность, чем то, что будет результатом посещения концерта. Именно это и есть *мотив* моего решения: оно является осознанием преимущества ценности для меня, присущей тому или иному поведению, и в этом смысле мотив есть оправдание одного из них. Таково по существу современное понимание мотива.

Отсюда ясно, почему иногда решению предшествуют довольно длительное обдумывание и колебания. Дело в том, что человек — существо сложное, у него много потребностей, и то или иное поведение может быть во многих отношениях

приемлемо для него и во многих — неприемлемо. В этих условиях, разумеется, колебание не удивительно. Имеется один ряд мотивов, которые оправдывают данное поведение, и другой ряд мотивов, которые направлены против него. Какому из них следует отдать предпочтение, это зависит от того, какой из них обладает наибольшей силой и какой победит. В связи с этим говорят, что акту решения предшествует борьба мотивов, и процесс выбора представляют в виде борьбы мотивов.

Таково распространенное учение о мотивах. Основная его мысль заключается в следующем: существует поведение; будет оно приемлемо или нет, это зависит от того, какие мотивы говорят в его пользу и какие — против. Между поведением и мотивом проведена своего рода граница: поведение — одно, а мотив — нечто другое. И вот поэтому возможно, чтобы одно и то же поведение имело и положительные и отрицательные мотивы. Например, в пользу посещения концерта говорит мотив эстетического удовольствия, но это же поведение имеет и противоположный мотив: посещение концерта с другой точки зрения можно считать потерей времени.

4. Понятие физического поведения. Такое понимание мотива правомерно с точек зрения этики и криминалистики. Но это не значит, что поэтому оно должно быть правомерным и для психологии. И в самом деле, что интересует этику или криминалистику? Как для первой, так и для второй основным является вопрос об оценке данного поведения: хорошее оно или плохое с нравственной точки зрения, преступное или нет с правовой точки зрения; этика и криминалистика интересуются именно этим. Следовательно, в обоих случаях необходимо должно быть дано сначала само поведение как факт, описать который могут все. Например, посещение концерта или пребывание дома есть определенное поведение, состоящее из комплексов определенных движений и как таковое объективно данное. В этом случае и в этом смысле мы могли бы говорить о *физическом поведении*. Этика и криминалистика, конечно, имеют в виду это физическое поведение и интересуются его достоинствами и недостатками. Пример: кто-то нашел на улице какую-то вещь, взял ее и присвоил.

Перед нами определенное поведение: присвоение вещи, т. е. указанный субъект, вместо того чтобы объявить, что на таком-то месте нашел такую-то ценную вещь, и призвать хозяина прийти за ней и взять ее, не говоря никому о своей находке, обращается с нею как со своей собственностью. Итак, перед нами определенное поведение, определенная данность.

Здесь вопрос об оценке поведения может быть поставлен лишь после того, как поведение будет дано нам как факт: с нравственной точки зрения этот поступок является плохим, а с точки зрения криминалистики — преступным. Словом, здесь одно и то же поведение; вопрос касается только его оценки.

В таких условиях, разумеется, и понятие мотива получает соответствующее содержание. Мотив — это соображение, заставившее субъекта совершить этот акт, это та потребность, для удовлетворения которой данное поведение было признано целесообразным. Но так как возможно, чтобы одно и то же поведение удовлетворяло различные потребности — одни хорошие, а другие плохие, поэтому для этики и криминалистики одно и то же поведение может иметь один или другой мотив — хороший или плохой. Отсюда понятно, что, когда перед человеком стоит вопрос — поступить так или нет, можно подумать, что его решение зависит от того, какой мотив окажется сильнее и победит.

5. Понятие мотива в психологии. Психологическая точка зрения не может быть такой. Следовательно, для нее и само понятие мотива должно быть иным. И в самом деле, что представляет собой поведение с психологической точки зрения? Ее, безусловно, не интересует вопрос о достоинстве и недостатках поведения. Для нас поведение как физическая данность, как комплекс определенных движений вовсе не является поведением. Психологически этот комплекс может считаться поведением только в том случае, когда он *переживается как носитель определенного смысла, значения, ценности.* В поведение его превращает именно *этот смысл, эта ценность, это значение.* Без этого оно было бы простым физическим фактом, изучение которого во всяком случае меньше всего входит в задачи психологии.

Но если это так, тогда должно быть возможно, чтобы одно и то же физическое поведение представляло собой психологически много совершенно различных поведений. Например, посещение концерта как физическое поведение есть посещение концерта и больше ничего. Это одно определенное поведение, но психологически посещение концерта как таковое не представляет собой никакого поведения. Таковым оно становится, когда к нему добавляется психологическое содержание: посещение концерта с целью музыкально-эстетического удовольствия. Но посещение концерта может иметь и другой смысл, оно может удовлетворять и другую потребность, например, во время концерта мне нужно встретиться с приятелем. В этом случае психологически это будет уже совсем иным поведением, не имеющим ничего общего с первым. Посещение того же концерта для развлечения или же для того, чтобы познакомиться с новым музыкальным произведением, — это тоже различное поведение с психологической точки зрения. Следовательно, одно и то же поведение, имеющее различный смысл и возможность удовлетворить различные потребности, психологически следует считать фикцией. Физическое поведение и психологическое поведение ни в коем случае не совпадают друг с другом. Психологически существует столько различных поведений, сколько имеется целей, которым они служат.

6. Функция мотива. Это положение следует считать совершенно бесспорным до тех пор, пока мы продолжаем стоять на психологической точке зрения. В психологии можно говорить о поведении только лишь в этом смысле. Но если это так, тогда и понятие мотива должно трактоваться по-иному и смысл мотивации должен быть освещен иначе.

Вернемся опять к нашему примеру. Мне надо решить: пойти сегодня вечером на концерт или нет? После долгих размышлений я наконец решаю: хотя меня очень интересует сегодняшний концерт, но нужно работать, нужно остаться дома. Скажем, именно в это время мне звонят по телефону, что сегодня на концерте будет один мой знакомый, встреча с которым представляет для меня очень большую

ценность. Думаю снова — пойти на концерт или нет? И теперь уже решаю — пойти. Спрашивается, почему? Что случилось? Ответ прост: возник *новый мотив* посещения концерта — *мотив встречи со знакомым*, и он добыл победу тому поведению, которое, согласно прежнему решению, было отвергнуто.

Чем же новый мотив достиг этого эффекта? Вникнув в сущность дела, мы убедимся, что здесь мотив заставил меня принять не отвергнутое поведение и тем самым изменить решение, нет! Мотив здесь заставил меня найти *новое поведение*, которое оказалось обладающим большой ценностью для меня — во всяком случае большей, чем остаться дома и продолжать работу. И в самом деле, актом предшествующего решения я отверг посещение концерта с целью эстетического удовольствия. Теперь же, когда появился мотив встречи со знакомым, я изменил не прежнее решение, а только решил выполнить *физически то же самое поведение*, от которого раньше отказался (посещение концерта), психологически же я предпочел совершенно новое поведение, а именно пойти на концерт, чтобы повидаться со знакомым. Ведь ясно, что это последнее поведение нечто совсем иное, чем *пойти на концерт* с целью получить эстетическое удовольствие.

Таким образом, в этом случае мотив выполняет ту роль, что он заменяет одно поведение другим, менее приемлемое более приемлемым, и этим путем создает возможность определенной деятельности.

Отсюда понятно, что по существу говорить о борьбе мотивов совершенно лишено основания, нет столкновения мотивов pro и contrs одного и того же поведения. Этой борьбы не существует потому, что нет одного и того же поведения, которое могло бы иметь различные мотивы. Было бы правильнее говорить, что есть столько же поведений, сколько и мотивов, дающих им смысл и значение.

Согласно этому, значение мотива неизмеримо. Поведение становится волевым только благодаря мотиву, который так видоизменяет поведение, что последнее становится приемлемым для субъекта.

12 Зак № 137

7. Мотив и высшие потребности. Выше мы отметили, что акту решения предшествует процесс мышления, которому надлежит уяснить, какое поведение является более целесообразным для субъекта. Для того чтобы за этим последовал подлинный акт решения, нужно еще нечто, ибо то, что в данных условиях является объективно целесообразным, пока еще не имеет притягательной силы, представляет собой холодное индифферентное суждение, из которого не исходит импульса активности. Чтобы это произошло и субъект принял бы решение осуществить именно эту активность, необходимо вмешательство нового фактора.

Мы уже отметили выше и сейчас видим, что этим новым фактором является мотив.

Спрашивается, на что опирается мотив, когда ему удается соответствующе модифицировать поведение?

Этот вопрос заставляет нас обратиться к рассмотрению потребностей «я». Дело в том, что в случае воли субъектом деятельности переживается «я». Но, как мы видели, «я» выходит за пределы момента и является носителем таких потребностей, ни одна из которых не определяется частной ситуацией или моментом«Я» в этом смысле как бы является обладателем «отвлеченных» потребностей, которые имеют силу в каждом *возможном* частном моменте. Что это за потребности?

Правда, всякая *витальная* потребность связана со вполне определенной, конкретной ситуацией: она является потребностью определенного момента. Например, голод может переживаться только в каждом отдельном случае, «голода вообще» не существует. Но, несмотря на это, он входит в круг отвлеченных потребностей «я». Дело в том, что когда у человека возникает определенная потребность, когда он в этой определенной ситуации, например, проголодается, то, начиная заботиться об удовлетворении этой потребности, он ведет себя не так, будто она ограничена рамками только этого момента, — он ест не все, что имеет, а учитывает, что эта потребность будет у него и в будущем, и, исходя из этого, удовлетворяет свой сегодняшний голод.

Таким образом, со своей витальной потребностью он сегодня обращается как с такой, которая является для его «я» потребностью вообще и поэтому может сказаться и в будущем. Или же еще: он ест не все, что может удовлетворить эту потребность (например, сырое мясо или вкусную, но вредную для его здоровья пищу), а такую, которая не может принести ему вреда. В этом случае особенно ясно видно, что человек и при удовлетворении своей витальной потребности руководствуется не импульсом момента, а общими потребностями своего «я».

Но то, что было сказано о голоде, можно говорить и относительно других витальных потребностей: для культурного человека и витальная потребность не может считаться потребностью настоящего времени и потребностью момента.

Совсем иное дело животное или дикарь, а также и ребенок. Они удовлетворяют потребности момента: других потребностей для них не существует.

Однако у человека имеются и другие потребности, которые не имеют непосредственно ничего общего с витальными потребностями. Это те, которые известны под названием высших потребностей, а именно наши *интеллектуальные, моральные* и *эстетические* потребности. У человека есть идея истины, идея добра и идея прекрасного, и все, что он видит и делает, он созерцает и через призму этих идей. В своем повседневном поведении он стремится удовлетворить не только ту потребность, которой непосредственно оно служит, но и высшие потребности. Таким образом, его низшие витальные потребности тесно связываются с высшими: наш голод — это не только просто голод, не голый голод; процесс его удовлетворения должен считаться и с нашими высшими потребностями. Еда кажется нам вкуснее, когда она согласуется с нашим эстетическим вкусом, когда ее подают на красиво сервированном столе и в красивой посуде, чем в эстетически непривлекательных условиях. То же самое можно сказать и об остальных витальных потребностях. Любовь, например, из простого полового влечения возвысилась до высокого нравственного и эстетического переживания, как это справедливо замечает Ф. Энгельс.

Таким образом, для человека стало характерным, что он каждую свою потребность, возникающую у него в определенный момент и в определенных условиях, связывает с постоянными, высшими, неизбежными потребностями своего «я» и, исходя из этого, заботится об их удовлетворении.

8. Мотивация и установка. Это обстоятельство характерно для всякого человека, но не для всех одинаково. Для некоторых людей высшие потребности имеют большее значение и большую силу, а для других витальные потребности определяют их жизнь и придают ей стиль. Для одних эстетическая потребность служит источником неиссякаемой энергии, для других же — моральная и интеллектуальная потребности. Словом, между людьми существуют довольно многосторонние различия, в зависимости от того, какая потребность более характерна для их «я».

Разумеется, здесь решающее значение имеет прошлое людей — та ситуация, в которой протекала их жизнь и в которой они воспитывались, те впечатления и переживания, которые имели для них исключительный вес. Без сомнения, в силу всего этого у каждого выработаны свои особые *фиксированные* установки, которые так или иначе, с большей или меньшей очевидностью проявляются и становятся основой готовности к деятельности в соответствующих условиях и в определенном направлении.

Между прочим, *личность* человека создают исключительно эти установки: они являются причиной того, что для некоторых основным источником энергии является одна система потребностей, а для других — другая.

Приняв это во внимание, нам станет понятно, что не все для всех имеет одинаковую ценность. Отдельные предметы или явления оцениваются в зависимости от того, какую потребность могут они удовлетворить, а ведь потребности у людей разные. Когда перед человеком встает вопрос, как себя повести, сказывается следующее обстоятельство: из тех возможных действий, какие его разум признает целесообразными, только некоторые привлекают его с определенной стороны, только по отношению к некоторым из них чувствует он готовность, только некоторые приемлет как подходящие, как

истинно целесообразные. Смысл мотивации заключается именно в этом: отыскивается и находится именно такое действие, которое соответствует основной, закрепленной в жизни установке личности. Когда субъект находит такую разновидность поведения, он особенно его переживает, чувствуя к нему *тяготение,* переживает *готовность к его выполнению.* Это именно то переживание, какое появляется при акте решения в виде специфического переживания, охарактеризованного нами выше под названием «я действительно хочу». Это переживание наглядно указывает, что у субъекта создалась установка определенного поведения: свершился акт решения и теперь вопрос касается его выполнения.

9. Волевое и импульсивное поведение. Роль мотива состоит в том, что то или иное физическое поведение он превращает в определенное психологическое поведение. Это ему удается благодаря тому, что он включает это поведение в систему основных потребностей личности и порождает в субъекте установку его выполнения. Так получается, что основой волевого поведения становится определенная установка. Но ведь и в основе импульсивного поведения лежит установка! Какая же тогда разница между волевым и импульсивным поведением?

С этой стороны действительно нет никакой разницы между этими двумя основными формами поведения: в основе обеих лежит установка. Для нас это бесспорно. Значит, различие надо искать в другом направлении. Дело в том, что эта установка в одном случае создается так, а в другом — иначе и различие между этими формами поведения следует подразумевать именно в этом. В случае импульсивного поведения установку создает актуальная ситуация. Яснее: у живого существа возникает определенная конкретная установка. Она находится в определенной конкретной ситуации, в которой должна удовлетвориться его конкретная потребность. На основе взаимоотношения этой актуально переживаемой потребности и актуально данной ситуации у субъекта появляется определенная установка, которая и ложится в основу его поведения. Так рождается импульсивное поведение. Естественно, что переживание субъекта тут таково, что он не

чувствует свое «я» подлинным субъектом поведения: он не объективирует ни своего «я», ни поведения, поэтому импульсивное поведение никогда не переживается как проявление самоактивности «я».

Совсем иное дело в случае волевого поведения. Что здесь вызывает установку? Ни в коем случае нельзя сказать, что это делает актуальная ситуация! Как мы знаем, актуальная ситуация, т. е. та конкретная ситуация, в какой субъект находится в данный момент, не имеет решающего значения в случае воли. Дело в том, что субъект здесь заботится не об удовлетворении переживаемой в данный момент потребности. Воля руководствуется не целью удовлетворения актуальной потребности. Нет! Как уже выяснилось выше, она стремится к удовлетворению, так сказать, «отвлеченной» потребности — *потребности «я»*, и понятно, что актуальная ситуация, в которой субъект находится в этот момент, не имеет для него значения: она является не ситуацией потребностей «я», а ситуацией потребностей момента, с которыми воля не имеет дела.

Что же это за ситуация, которая принимает участие в создании установки, лежащей в основе воли? Приведем пример. Когда мне надо решить, как действовать — пойти сегодня на концерт или остаться дома работать, я заранее представляю себе обе эти ситуации (и присутствие на концерте и пребывание дома за работой); предусматриваю все, что может последовать в результате одного и другого, и наконец, в зависимости от того, с какой потребностью «я» мы имеем дело, у меня возникает или установка остаться дома, или же установка посещения концерта. Воздействие какой ситуации создало эту установку? Без сомнения, это та ситуация, которая была дана мне не непосредственно, не актуально, а *представлена* и *осмыслена* мною самим. В случае воли поведение, которому надлежит стать предметом решения, должно осуществиться в будущем. Следовательно, и ситуация его не может быть дана в настоящем, она может быть только представлена и обдумана. Поэтому неудивительно, что установка, возникающая в момент принятия решения и лежащая в

основе волевого поведения, создается *воображаемой* или *мыслимой ситуацией.*

Как мы видим, генезис установок импульсивного и волевого поведения обусловлен различно: первое имеет в основе актуальную ситуацию, а второе — воображаемую или мыслимую.

10. Активность воли. Какое имеет значение это различие? Весьма примечательное! В случае воли установку действительно создает субъект, она является результатом его активности. И в самом деле, воображение, мышление являются ведь своего рода творчеством, своего рода психической деятельностью, в которой действительность отражена не пассивно, а активно. В случае воли субъект обращается к этим активным процессам — воображению и мышлению, с их помощью создает ситуацию своего возможного поведения, строит идейную ситуацию, которая вызывает в нем определенную установку. И вот эта установка и становится основой процесса волевого поведения.

Таким образом, в случае воли субъект сам создает установку: он, несомненно, активен. Но, разумеется, он не прямо, не непосредственно вызывает установку, ибо это не в его силах; он и не пытается этого сделать. Его активность заключается в создании мыслимой, воображаемой, словом, *идейной* ситуации, что и дает возможность вызвать соответствующую установку. Иная активность вообще и не характерна для человека. Наша активность проявляется не в непосредственном, а в опосредованном воздействии. Для человека вообще специфично именно действие с орудием.

Поэтому понятно, что в волевом акте субъект чувствует *самоактивность.* Это переживание очень своеобразно. Как мы уже знаем, его адекватная характеристика возможна в таком выражении: «Теперь я действительно хочу». Здесь одновременно дано несколько моментов. Прежде всего переживание, что здесь активным является «я», что этого хочу именно «я». Затем второе переживание, что это «я» действительно хочет. Это указывает на то, что субъекту знакомо и такое переживание, в котором он только хочет, а не действительно, по-настоящему хочет. В волевом акте подчеркнута эта

подлинность, действительность хотения. Наконец, третий момент таков: субъект чувствует, что он вот теперь уже действительно хочет. Он как бы подтверждает, что вот теперь в нем произошло важное видоизменение, что вот теперь он действительно хочет.

Следовательно, в переживании воли, которое, как мы отметили выше, представляет собой одно цельное переживание, дано, с одной стороны, подлинное переживание активности «я», но в то же время такой активности, начать которую зависит не от «я», а которая протекает как бы без него: «я» только подтверждает, что «вот теперь оно уже действительно хочет», а до сих пор оно или не хотело, или не хотело действительно. Теперь же ясно, что «я» действительно хочет. Это изменение в нем произошло как бы без его участия. Это специфическое переживание несомненной активности и в то же время несомненной зависимости очень характерно для волевого акта. Оно подтвердилось во всех значительных экспериментальных исследованиях, которые имели целью описание волевого акта (Мишот и Прюм и др.).

Как объяснить это специфическое переживание? Откуда оно исходит? Для нас не представляет труда ответить на этот вопрос. Надо полагать, что это переживание является подлинным отражением того, что происходит в субъекте во время волевого акта. Судя по этому переживанию, в субъекте происходит нечто такое, что, с одной стороны, выявляет его активность, а с другой — его пассивность, зависимость. То, что мы знаем относительно сущности воли, может оказаться основой переживания.

Да и в самом деле, волевой акт указывает на то, что вот в этот момент в субъекте возникла установка, которая станет основой его будущего поведения и поведет его по определенному пути. Следовательно, субъект до сих пор как бы «не хотел» и вот теперь уже «хочет» и «хочет действительно», так как установка действительно возникла в нем именно сейчас. Создание этой установки было его делом. Поскольку он, несомненно, активен, естественно, что он и переживает эту активность. Но ведь он не может прямо воздействовать на установку, чтобы произвольно изменить ее, вызвать или пресечь,

он только через идейную ситуацию действует на нее. Однако не от желания субъекта зависит, когда эта идейная ситуация сможет вызвать установку; субъект может только засвидетельствовать, произошло ли в нем опосредованно вызванное им изменение или нет.

Как мы видим, в случае воли в человеке действительно происходит такой процесс, что он переживает себя и активным и пассивным.

11. Проблема свободы воли. С этим тесно связана проблема свободы воли — старейшая проблема, в прошлом являвшаяся чаще предметом метафизических рассуждений, нежели научного исследования.

Вопрос о свободе воли является в первую очередь вопросом психологии. Несмотря на это, он изучался философией, теологией и криминалистикой гораздо больше, нежели научной психологией. Это объясняется тем, что решение этого вопроса имело большое практическое значение с нравственной, религиозной и криминалистической точек зрения. Если человек свободен, если его поведение всецело зависит от него самого, тогда поступит он морально или нет, выполнит религиозные нормы или нет, подчинится юридическим нормам или нет — все это зависит от него, и этим мы получаем возможность соответствующе воздействовать на него: наказать, когда он ведет себя плохо, и наградить, когда он ведет себя хорошо.

Известны две противоположные попытки решения этого вопроса — одна положительная, а другая отрицательная: *индетерминизм*, признающий волю свободной силой, силой, которая не подчиняется общераспространенному закону причинности, и *детерминизм* (речь идет о механическом детерминизме), который, напротив, не признает самостоятельности, свободы воли, ее способности действовать вне крута причинности. В результате эмпирического исследования воли подтвердилось, что детерминизм лучше согласуется и с фактами, и с общенаучными принципами, согласно которым невозможно, чтобы что-либо происходило без причины. В частности, зависимость волевого акта от мотива, тот факт, что решение всегда должно быть мотивировано, доказывает

необоснованность индетерминизма. Тем не менее пресечь разговор о свободе воли совершенно невозможно...

Свобода вовсе не означает безосновательности, беспричинности. Для нас бесспорно, что течение волевого поведения всецело направляется установкой. Следовательно, нельзя говорить ни о каком индетерминизме, а что касается, в частности, волевого акта — момента решения, в котором происходит возникновение установки, что касается самой этой установки, то и она не стоит вне всякой причинности. Мы знаем, что и она, так же как и обычная установка, лежащая в основе импульсивного поведения, определяется ситуацией. Разница только та, что в одном случае мы имеем дело с актуальной ситуацией, а в другом — с воображаемой, мыслимой. Но ведь здесь это обстоятельство не имеет никакого значения: ситуация, будь она актуальная или данная в представлении, все равно одинаково имеет силу выступить в роли причины возникновения установки. Лежащая в основе волевого поведения установка так же всецело детерминирована мыслимой ситуацией, как лежащая в основе импульсивного поведения установка — актуальной.

Таким образом, воля свободна постольку, поскольку она не подчиняется влиянию актуальной ситуации, поскольку не переживает исходящего отсюда принуждения. Она свободна, поскольку действующая на нее ситуация воображаема, следовательно, осознана самим субъектом. Но она детерминирована, не свободна, поскольку обусловлена хотя и воображаемой, но все же ситуацией.

ПАТОЛОГИЯ ВОЛИ

Изучение патологических случаев всегда имеет большое значение для понимания истинной природы нормальных процессов, и, разумеется, в этом отношении и патология воли не составляет исключения. Можно сказать и больше: так как экспериментальная психология воли сталкивается с исключительно большими препятствиями — в силу той интимной связи, какая имеется между личностью и ее волей, — патологические явления как эксперименты, поставленные самой природой, приобретают особенно большое значение

именно в психологии воли. Здесь мы получаем возможность, с одной стороны, проверить, насколько правильны соображения, выработанные нами другими путями исследования, с другой стороны, здесь нам предлагается на основе нового материала увидеть некоторые новые грани исследуемого нами предмета — воли: *психопатология воли проверяет и пополняет психологию воли.*

Если мы примем во внимание эту точку зрения, станет ясно, что здесь следует учесть не полную картину патологии воли, а только основные ее случаи.

1. Одна группа патологических случаев воли состоит из тех действий или отдельных движений, которые характеризуются *принудительностью.* Часто больной чувствует, что движение, действие, представление которого у него неизвестно откуда возникло, не имеет никакого смысла, что иногда оно и вред может нанести. Несмотря на это, он вынужден его выполнить и только тогда сможет почувствовать некоторое облегчение. Если же нет, то принуждение становится настолько сильным, что больной совершенно теряет самообладание. Подчеркивается, что он прекрасно сознает, что делает, сознает, что он хочет совершить действие, не имеющее никакого смысла, неуместное, неприличное, быть может, даже иногда ведущее к чьей-либо гибели. В последнем случае он призывает близких — придите, помешайте ему, заприте в комнату, чтобы он, скажем, не совершил убийства и т. д. Согласно Жане, для этих случаев специфично то обстоятельство, что больной оказывает принуждению более или менее длительное сопротивление.

Словом, у больного возникает неодолимая тенденция выполнить какое-либо действие или отдельное движение, тенденция, которой он некоторое время сопротивляется как бессмысленной, безнравственной и иногда гибельной, но в конце концов все же уступает ей, если не лишен соответствующих технических возможностей. Больной все делает сознательно, он не знает только, откуда в нем появилась эта неодолимая и бессмысленная тенденция.

В эту группу патологических случаев входят действия и движения различной сложности, начиная от простейших,

каковы: так называемые неоправданные движения психастеников (тики), поднимание и опускание лопаток, качание головы, словно для проверки, хорошо ли надета шапка, и кончая довольно сложными действиями: самоубийство, поджог и т. д.

Для того чтобы вполне ясно осознать особенности этой группы патологических случаев, познакомимся с одним интересным наблюдением. В клинику нервных заболеваний приходит женщина, которая жалуется на следующее явление: уже несколько лет как у нее появилась совершенно непонятная привычка — желание свистеть, причем с такой силой, что она абсолютно не в силах противодействовать этому желанию и вынуждена уступить ему. Свист сопровождается движениями рук, словно она что-то от себя отгоняет, от чего-то отказывается, потом она успокаивается и до нового приступа чувствует себя вполне нормальным человеком.

Что можно сказать об этих явлениях? Для понимания их природы нам следует особо рассмотреть их специфические особенности. Больной в общем психически хорошо сохранен, но у него возникает неодолимое стремление выполнить определенные движения. Он вполне сознательно относится к этому стремлению, сознает его бессмысленность, но не знает, откуда оно исходит, для чего ему нужны эти движения.

Мы уже знаем, что действие не прямо вызывается стимулом, а через посредство установки, созданной им в субъекте. Мы знаем, что действие определяется этой установкой. В этом мы убедились как при рассмотрении импульсивного поведения, так и при изучении волевого поведения. Надо полагать, что и в патологических случаях роль играет установка, лежащая в основе того действия, импульс которого чувствует больной и которому он не в силах противостоять. Если предположить, что когда-то по какой-либо причине у субъекта возникла установка определенного действия, что она прочно в нем закрепилась и в то же время он ничего не знает ни о субъективном, ни об объективном ее факторах, тогда станет понятно, почему он чувствует такую стойкую тенденцию определенного действия и почему он не знает, откуда исходит эта тенденция.

То, что такое состояние возможно (чтобы человек чувствовал неодолимую тенденцию к некоему действию, но притом совершенно не знал бы, зачем и почему он хочет его выполнить) — это мы знаем из факта постгипнотического внушения. Указанный фактор настолько наглядно напоминает наши патологические случаи, что их отождествление вполне возможно.

Ежели мы возьмем под наблюдение одного из таких больных, а затем какому-либо здоровому субъекту в гипнотическом сне внушим задание выполнить после пробуждения именно то действие, неодолимую тенденцию к которому обнаруживает наш больной, мы увидим, что между этими двумя субъектами — больным и здоровым — нет никакой разницы: и один и другой будут чувствовать одинаково сильную тенденцию к выполнению одного и того же действия. Различие будет только в том, что одному мы в гипнотическом сне внушили выполнение этого действия, а у другого мы не знаем, откуда оно появилось. Разве мы не имеем полного основания думать, что по сути дела основа этой тенденции у обоих должна быть одинакова: патологическая тенденция больного должна быть того же происхождения, что и внушенная тенденция здорового! Но мы знаем, что внушение при гипнотическом сне создает соответствующую установку, которая, продолжая существовать и после пробуждения, заставляет субъекта выполнять определенные действия.

Итак, основой постгипнотического внушения является установка. Это экспериментально доказанное, бесспорное положение. Следовательно, можно считать доказанным и то, что в основе патологической, неодолимой тенденции должна быть тоже установка.

Как уничтожить у субъекта вытекающую из постгипнотического внушения тенденцию? Совсем просто. Достаточно убедить его, что эта тенденция внушена ему в гипнотическом сне, чтобы он тотчас избавился от нее. Этот факт несомненно указывает и на то, как излечить упомянутое заболевание воли. Есть факты, убеждающие нас в том, что и здесь имеет силу тот же прием, посредством которого мы рассеяли постгипнотическое внушение. Вышеупомянутая больная

сама собой излечилась, как только во время беседы, проведенной с ней при гипнотическом сне, удалось выяснить ту потребность и ситуацию, на почве которых возникла установка, лежащая в основе ее заболевания.

2. Патологическая слабость воли известна под названием *абулии*. Множество случаев абулии описано в психопатологической литературе. Один из них мы назвали выше (случай Жане). Здесь мы приведем один очень известный случай, описанный впервые Бийо. Один болевший абулией нотариус должен был заключить договор. Он написал текст с начала до конца, оставалось его только подписать. Но этого он не смог сделать! Десять, сто раз пытался он написать свою фамилию. Никак не получалось. Как только он приближал перо к бумаге, рука отказывалась служить, тогда как она совершенно беспрепятственно выполняла в воздухе все те движения, какие были нужны для написания его фамилии. Только после 45 минут мучительных стараний удалось ему подписаться, да и то очень неуклюже.

Абулическая слабость воли чаще всего характерна для врожденной *невропатии, истерии* и *психастении*. У нее много разновидностей. В сущности же мы везде имеем дело с одним и тем же явлением: у больного необычайно снижена способность даже самой простой преднамеренной активности.

Известные в психологической литературе попытки объяснения этого явления различны.

Рибо полагает, что это заболевание следует объяснить снижением *чувства*. Когда ничего не привлекает, все безразлично, ничто не радует и не огорчает, какой же, мол, может *быть* разговор о какой-либо способности к действию, о какой-либо активности, волевом усилии! Однако приведенный выше случай с нотариусом плохо согласуется с этой теорией: нотариус вовсе не был безразлично настроен к тому, что ему следовало сделать. Случаи абулии настолько мало связаны с безразличием или апатией, что, по мнению некоторых авторов (Вернике, Крафт-Эбинг и др.), напротив, основой абулии следует считать сильную эмоциональную возбудимость.

Интересна теория П. Жане. Согласно этой теории, в случае абулии нарушена *функция реальности*: больной живет

как бы в чужой стране, он не в силах принять решение, сконцентрировать внимание на чем-либо, имеющем реальное значение. И вот поэтому он хорошо выполняет лишь дело, лишенное значения, или такое, ответственность за которое несет не он, а кто-либо другой.

Проще было бы следующее объяснение. В чем затрудняется абулик? Он не в состоянии действовать; его поведение не может протекать беспрепятственно, как это обычно бывает у нормального человека. Следовательно, надо полагать, что у него нет установки соответствующей деятельности, ибо, как мы знаем, процесс деятельности направляется установкой. Без установки, может быть, удастся сделать какое-либо отдельное движение, но деятельность как осмысленная система движений немыслима без нее. Поэтому при истерическом параличе больной хорошо выполняет отдельные движения. Следовательно, мышечная система у него не повреждена, но, несмотря на это, он не в состоянии объединить эти движения в осмысленное действие; истерик, например, не может ходить. Однако, если у него появится установка, паралич исчезнет бесследно. Может случиться, что у абулика только под влиянием мыслимой ситуации не возникает установка, а в непосредственной ситуации она действует нормально. Так бывает, например, в случае психастении, когда больной, будучи в одиночестве, хорошо выполняет то или иное действие, например пишет, но в присутствии другого человека это ему не удается.

Итак, изучение случаев абулии опять-таки говорит в пользу того соображения, что решающая роль в волевом процессе, видимо, принадлежит установке. То, что у абулика и в самом деле имеется специфический дефект именно в этой сфере, подтверждается экспериментальными данными. В результате специальных опытов выяснилось, что в случае психастении выработанная однажды установка очень недолговечна — она быстро исчезает; установка психастеника лабильна.

Более интересны с точки зрения теории установки случаи так называемой *апраксии*. О ней мы уже говорили мимоходом, а теперь рассмотрим ее несколько подробнее. После

Г. Липмана, первым описавшего это заболевание, под названием апраксии обозначают случаи, когда больной, несмотря на полную сохранность двигательного аппарата, не в состоянии выполнить даже самое простое произвольное действие.

Назовем некоторые классические случаи: а) один больной Джексона никак не мог высунуть язык, когда этого требовал врач, но он совершенно свободно смачивал губы языком, когда у него возникал к этому соответствующий импульс; б) больной Гольдштейна не мог, по предложению врача, закрыть глаза, но, когда он ложился спать, это не представляло для него никакой трудности; в) известны случаи, когда больной апраксией прекрасно застегивал и расстегивал пуговицы на своей одежде утром и вечером, когда он одевался и раздевался. Но стоило ему предложить расстегнуть пуговицу, когда в этом не было прямой нужды, чтобы сразу эта простая операция становилась для него совершенно невыполнимой; г) интересны описанные Липманом случаи так называемой *идеаторной апраксии*. Больной абсолютно не в состоянии правильно выполнить какой-либо достаточно сложный акт; он хорошо выполняет все частичные акты, входящие в этот сложный акт, но путается, не может соблюсти их правильную последовательность, которая бы привела к выполнению всего сложного действия, у него, по словам Липмана, нарушена *«формула действия»*.

Природа апраксии станет необычайно ясной, как только мы станем рассматривать ее в аспекте теории установки. И в самом деле, сразу бросается в глаза то, что больной в одном случае прекрасно выполняет одно действие, а в другом — обнаруживает полную неспособность к повторению того же действия. Что может быть причиной этого явления, как не то, что в одном случае у него есть установка, соответствующая надлежащему действию, а в другом нет. Но когда, в каких условиях есть у него эта установка, а в каких она отсутствует? Когда актуальная потребность требует выполнения определенного действия — для сна нужно закрыть глаза, а чтобы раздеться и лечь в постель, надо расстегнуть пуговицы, — больной не затрудняется в его выполнении. Следовательно,

в подобных условиях у него полностью сохранена способность соответствующего поведения.

Но когда у больного нет актуальной потребности того же действия и когда он должен выполнить действие, требуемое воображаемой ситуацией, тогда все нарушается и он не в состоянии выполнить даже простое привычное действие: воображаемая или мыслимая ситуация не имеет силы вызвать в нем соответствующую установку. Бесспорно, у больного повреждена воля.

Единственное, что требует здесь объяснения, это — почему мы говорим о воображаемой или мыслимой ситуации, когда больному предлагают что-либо сделать. Сомнения нет, что самому больному вовсе не требуется решать то, что ему предлагают. Следовательно, в ситуации его актуальных потребностей нет ничего такого, что требовало бы выполнения этого действия. Действительно, актуальная ситуация больного такова: он находится в комнате врача, его осматривают, обследуют состояние его здоровья. Эта ситуация вовсе не требует расстегивания пуговиц или высовывания языка. Следовательно, желая выполнить задание врача, он должен вообразить, сделать актуальной ситуацию, требующую выполнения этого акта. Следует думать, что, очевидно, в некоторых случаях он не в состоянии сделать это, а в других — он, возможно, и представит соответствующую ситуацию, но последняя не может создать в нем необходимой установки.

Таким образом, природа апраксии становится вполне понятной, если мы ее рассматриваем как заболевание воли. Тогда неудивительно, что в актуальной ситуации больной сохраняет способность выполнять соответствующие действия — импульсивное поведение у него не повреждено.

ДРУГИЕ ВИДЫ АКТИВНОСТИ

1. Проблема внушения. Существуют и другие, кроме импульсивного и волевого поведений, формы активности. Дифференциация их может быть произведена в зависимости от того, что вызывает установку, лежащую в основе протекания данной активности. Выше мы различали импульсивное и волевое поведения именно по этому признаку: в одном

случае установку вызывает ситуация актуальной потребности или же, короче, — актуальная ситуация, а в другом — идейная или воображаемая, мыслимая ситуация.

Возникает вопрос: бывают ли случаи, чтобы установку создавало и что-либо другое?

Здесь в первую очередь следует назвать так называемое *внушение*. Сегодня никто не сомневается в его существовании. Что оно собой представляет? Вначале это понятие употреблялось в очень узком смысле. Как известно, при гипнотическом сне создается возможность, чтобы предложение гипнотизера было дано в переживании медиума как приказ, который он обязательно выполняет. Бывает и так, что приказ выполняется после пробуждения, если таково желание гипнотизера («постгипнотическое внушение»). Выяснилось, что тот же эффект возможен и при бодрствовании. И здесь случается порой, что человек помимо своей воли, неосознанно подчиняется приказу другого лица и выполняет его. Такое воздействие одного человека на другого называют *внушением;* различают *внушение гипнотическое* и *постгипнотическое* и *внушение, полученное в состоянии бодрствования.*

Раз установлено, что внушение удается и в состоянии бодрствования, возникает вопрос: в каких условиях это происходит? По Штерну, надо различать две группы условий: условия, необходимые для принятия внушения, и условия, которые необходимы для того, чтобы осуществилась передача внушения.

Для того чтобы субъект мог принять внушение, необходимы три условия: а) он должен быть *внушаемым;* послушный, некритично настроенный, безынициативный субъект обычно более внушаем, нежели человек с противоположными чертами; однако внушаем не только такой человек; б) ситуация, в которой находится субъект, должна создавать такую общую настроенность, чтобы это служило помехой для самостоятельных вдумчивых суждений (эмоциональная ситуация); в) внушение должно касаться такой стороны, где меньше всего можно ожидать самостоятельности субъекта: сравнительно чужой для него сферы, незнакомых вопросов

и таких, чтобы они не противоречили обычному течению его воли.

Что касается передачи внушения, главным условием для него является специфическое свойство — *внушительность*, или *суггестивность*. Нет сомнения, что внушать может не каждый, хотя бы даже и были максимально соблюдены все условия для принятия внушения. Для этого необходимо некое специфическое общее свойство — суггестивность. Без этого свойства не принесет желаемого эффекта ни красноречие, ни некоторые благоприятные черты внешности, которые в руках суггестивного субъекта могли бы, наоборот, иметь исключительное значение.

Суггестивностью обладает не только человек, она может исходить и от коллектива. Например, в случае так называемой *паники* всех охватывает страх и все безотчетно бегут куда-то; или, когда все восторженными аплодисментами встречают или провожают артиста, это происходит потому, что коллектив, масса оказывает внушающее влияние на отдельного человека.

Таким же примером внушения является мода, все равно, касается ли она формы одежды или чего-либо иного, — она является плодом суггестивности, исходящей от коллектива.

Предметы также могут обладать суггестивностью, примером этому служит *реклама*.

Возможно и *самовнушение* (когда тобой *владеет* какое-либо *сильное желание*, в конце концов начинаешь верить в реальность его осуществления). Такую же роль выполняют ожидание и страх: в случае паники мы имеем дело с самовнушением, исходящим не только от коллектива, но и от нашего страха.

Таким образом, мы видим, что в определенных условиях бывает так, что человек действует не согласно своей актуальной потребности, не по собственной воле, а под чужим влиянием и в то же время имеет такое переживание, будто он действует по своему желанию, а не по чужому импульсу. В подобном случае мы имеем дело с *внушением*.

Стало быть, характерным для внушенного поведения является отсутствие у субъекта чувства, что его поведение

направлено чужой волей. Это обстоятельство заставляет нас думать, что в случае внушения и в самом деле не чужая воля направляет поведение человека, что он действительно сам направляет свое поведение, несмотря на то что объективно он не выполняет ничего, кроме чужого приказа. Если бы можно было как-нибудь показать, что это так и есть, тогда тайна внушения стала бы для нас совершенно явной. Посмотрим, быть может, действительно есть такая возможность!

Допустим, что гипнотизер оказывает влияние не *непосредственно* на *поведение* субъекта, не непосредственно вызывает у него те или иные акты поведения, а в первую очередь оказывает специфическое влияние на *самого субъекта*. Допустим, что он изменяет последнего так, что тот по своей воле думает то, чего на самом деле хочет сам внушающий. Каким же тогда будет переживание субъекта? Именно таким, как это и бывает в случае внушения: субъект и в самом деле будет делать то, что хочется ему самому, именно ему самому, а не кому-то другому, хотя объективно он делает только то, что ему приказано. Следовательно, надо полагать, что в случае внушения непосредственному влиянию подвергаются не действия субъекта, а его личность, которая видоизменяется так, что возникает стремление, готовность — *установка* — выполнения актов определенного поведения. И когда субъект выполняет эти акты, он реализует свою собственную установку, а не чужой приказ. Понятно, что и переживание у него именно таково.

Итак, в основе внушения, очевидно, лежит механизм установки; иначе было бы невозможно дать ему удовлетворительное объяснение. К счастью, есть и фактическое основание, говорящее в пользу этого предположения. Как уже отмечалось выше, мы экспериментально доказали, что так называемое постгипнотическое внушение является реализацией созданной в гипнотическом сне *установки*. Но то, что в этом случае говорится о постгипнотическом внушении, разумеется, с полным правом можно повторить и относительно любого вида внушения.

2. Принуждение и его роль в генезисе воли. Есть и такие случаи деятельности, когда мы не имеем дела ни с импуль-

сивным, ни с волевым поведениями, ни с внушением. Во всех этих случаях активности субъективно имеется хотя бы одно общее — во всех трех случаях переживание субъекта таково, будто он действует согласно своему желанию, делает то, что хочется ему самому, а не кому-то другому.

Однако не всякая деятельность человека сопровождается таким переживанием, бывают случаи, когда мы испытываем принуждение: мы действуем, делаем что-то, но при этом чувствуем, что выполняем в этом случае чужую волю, что по своему желанию мы бы не взялись за это дело. Здесь подразумеваются все те случаи, когда мы выполняем идущие извне требования и знаем, что эти требования навязаны извне. Примерами этого служат: а) *команда,* выполняемая солдатом; б) *закон* или *правило,* в основе которого лежит авторитет государства или какой-либо организации и исполнение которого обязательно; в) *приказ,* который хочешь не хочешь, а выполнить надо (приказ старшего по отношению к младшему).

Оставим в стороне другие возможные случаи, т. к. уже из названных примеров ясно видно, в чем заключается особенность этого вида активности. Как уже говорилось, здесь основное — *принудительность:* человек вынужден делать то, что ему диктуют. Возникает вопрос: как здесь осуществляется деятельность? Что ее направляет? Об установке здесь говорить трудно. Дело в том, что здесь субъект переживает свою деятельность как навязанную кем-то, принудительную, а не как собственную активность. Но, с другой стороны, вообще невозможно, чтобы процесс какой-либо более или менее сложной деятельности протекал без установки. Решение вопроса надо искать в следующем: субъект, хотя и по принуждению, в конце концов все же сам берет на себя порученное дело, все же *приемлет* его. Следовательно, это дело выполняет все же он, и потому оно является его делом. Стало быть, у нас нет основания для полного отрицания установки.

Это обстоятельство делает понятным, что в конечном счете деятельность этой категории служит подготовительной ступенью волевого поведения, той почвой, на которой, хотя

бы частично, возникла воля человека. Дело в том, что в случае принудительной активности человек делает то, по отношению к чему у него в данный момент нет никакого импульса. Мы знаем, что одним из специфических признаков воли является именно то, что здесь субъект действует не для удовлетворения актуальной потребности, делает не то, что ему именно сейчас хочется, а то, что для него в данный момент неактуально, чего ему сейчас, возможно, вовсе и не хочется. Словом, одним из характерных моментов воли является то, что здесь человек делает что-нибудь не потому, что ему хочется этого в данный момент, а по совершенно иной причине. Стало быть, принудительная активность представляет в этом отношении своего рода предшествующую ступень для воли: она приучает человека делать то, что не имеет ничего общего с актуальными желаниями, и в этом отношении она закладывает фундамент человеческой воли. Но в случае законченной, полной воли деятельность имеет ведь в основе установку! Отсюда будет ясно, что возможность такой установки должна быть подготовлена в процессе принудительной деятельности.

Согласно всему этому, генезис воли в этом направлении следовало бы представить так: вначале был приказ, потому что сам приказывающий не хотел делать того, что обязывал сделать другого. А сделать то, что ему не хотелось, он был не в силах, ибо у него пока не было *воли*. Раб был вынужден выполнять приказ, т. е. делать такое дело, к чему у него не было актуального интереса. Но делал он это по принуждению, движимый импульсом, исходящим из принуждения. Поэтому его деятельность была в конце концов скорее импульсивной, нежели волевой: воли пока не было и у него. Подлинная воля появилась лишь после того, как человек привык приказывать не другому, а себе самому. Однако приказ себе самому — уже не приказ, это уже потребность делать то, к чему в данный момент субъект никакой потребности не испытывает. Это сознание руководящей роли потребностей «я». Следовательно, такой «приказ» является показателем возникновения подлинной воли.

ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АКТИВНОСТИ

Каков путь развития детской активности, пока она достигнет ступени законченной, зрелой воли?

Детальное изучение этого вопроса является задачей отдельной психологической дисциплины — психологии ребенка. Здесь, в курсе общей психологии, мы ограничимся рассмотрением главным образом того, что имеет значение для понимания природы человеческой активности, особенно же воли.

Уже давно ребенка характеризуют как *сенсомоторное существо*. Это значит, что всякое впечатление вызывает в нем непосредственный импульс безудержной реакции. Исходит ли это впечатление извне или изнутри, из самого организма, это безразлично: оно тотчас завершается реакцией. Следовательно, реакции ребенка должны иметь такой же случайный, неупорядоченный характер, как внешние и внутренние впечатления, вызывающие эти реакции. Субъекта как внутреннего агента, центра, который вносит порядок в этот хаос, на некоторые впечатления реагирует, а другие оставляет вовсе без ответа, некоторые потребности удовлетворяет, а другие ставит на второй план, — такого субъекта в новорожденном ребенке еще нигде не видно. Для того чтобы он зародился, развился и созрел, нужно время, а именно — вся пора детства, которую можно считать вполне законченной только с того момента, когда подросший человек превратится в самосознающее «я», которое обладает способностью подлинной *волевой* регуляции своей жизни.

Процесс развития ребенка протекает в специфических условиях: он растет в *упорядоченной среде*. Это играет решающую роль в процессе его развития. Воздействующие на ребенка впечатления теряют характер хаотичности, так как в течение долгого времени, пока ребенок еще слаб, их упорядочивают взрослые. То же происходит и в отношении потребностей ребенка. Взрослые вносят порядок и в дело их удовлетворения. Вследствие всего этого у ребенка постепенно вырабатываются упорядоченные реакции, имеющие вначале

вид *условных рефлексов.* Ребенок привыкает отвечать определенными реакциями на определенное впечатление, а на другие — затормаживать реакции. Элементарные потребности он удовлетворяет в определенное время и в определенном месте. Словом, под влиянием упорядоченной среды у ребенка вырабатываются определенные элементарные навыки, которые вносят известный порядок в поведение этого сенсомоторного, чрезвычайно импульсивного существа.

Исключительно большое значение для упорядочения поведения ребенка имеет и словесное воздействие, к которому мы прибегаем тотчас же, как только заметим у ребенка признаки понимания речи; мы каждый раз запрещаем ребенку делать то, чего нельзя, учим и побуждаем вести себя так, как считаем наиболее правильным.

Таким образом, перед ребенком строится целая система запрещенного и дозволенного, постепенно высвобождающая его поведение из-под господства импульса и придающая этому поведению упорядоченное направление. Так или иначе, ребенок 1–3 лет вынужден постепенно привыкнуть сдерживать свои импульсы и действовать путем, указанным взрослыми. В этот период для его поведения особенно специфично то, что он легко подчиняется дисциплине, постоянно тренирующей его в определенном направлении.

Однако активность ребенка в эти годы развивается и в другом направлении. В течение первого и второго года жизни он особенно стремится овладеть своим телом. Вскоре он научается ходить — это все больше и больше освобождает его от взрослого. Сам процесс овладения своим телом, особенно же учение ходьбе, требует от ребенка довольно-таки большого напряжения, достаточно заметного усилия, и интересно, что ребенок совершенно не избегает этого; наоборот, он стремится к этому до тех пор, пока не достигнет цели — научиться свободно ходить. Проследив за поведением ребенка, когда он учится ходить, мы будем вынуждены заключить, что имеем дело с настоящим волевым поведением, настолько велико напряжение ребенка и так целеустремленно все его поведение. В действительности же, конечно, пока еще совершенно неуместно говорить о волевом поведении; роль воли

в этом случае выполняет импульс, исходящий из тенденции к созреванию врожденной функции.

Механизм ходьбы уже достаточно созрел, и приведение его в действие становится прямо необходимым. Это и приводит к тому, что ребенок становится источником такого заметного усилия и с таким успехом заглушает все другие импульсы, которые всегда могут возникнуть. Нередко ребенок падает и даже, может быть, получает болезненные ушибы, но, несмотря на это, он упорно продолжает свои попытки встать на ноги и ходить. Это учит его проявлять *усилия* и оказывать *противодействие*. То же самое происходит и в его элементарных играх, в которых он удовлетворяет потребность функционирования своих сильнейших тенденций. Импульсивная сила этих тенденций велика, и при ее помощи ребенок привыкает бороться с противоположными тенденциями и другими препятствиями.

Таким образом, характерным для активности ребенка первых трех лет являются две направленные друг против друга тенденции. С одной стороны, он легко, почти без сопротивления, подчиняется той регуляции, какую взрослые вносят в его активность, всем мероприятиям, используемым для его тренировки. В этом отношении ребенок податлив и пластичен, как воск. С другой стороны, под руководящим влиянием сильных импульсов врожденных, естественных тенденций в нем развивается способность бороться с препятствиями, проявлять усилия и преодолевать сопротивление.

К 3–4 годам процесс развития этой последней тенденции достигает такого высокого уровня, что она уже не может мириться с присущей ребенку (1–3 лет) тенденцией подчинения и пластичности, разрушает ее и своеобразно преобразует всю структуру поведения ребенка. Теперь уже эта тенденция занимает первое место, и покорный, мягкий, как воск, ребенок превращается в чрезвычайно своенравное, капризное и упрямое существо. Он обнаруживает неукротимые импульсы своих желаний, зачастую оказывает нам необычайное противодействие и, чтобы настоять на своем, нередко выявляет способность поразительного усилия. Некоторое время становится почти невозможно бороться с ним, и

только физическим принуждением удается упорядочить его поведение.

В этот так называемый *период первого упрямства* ребенок на каждом шагу сталкивается с противодействием взрослых, болезненно переживает непреклонность их воли, знакомится с нерушимостью их требований и правил и очень быстро переходит на новую ступень активности. У него развивается сознание неизбежности, нерушимости объективно существующих правил, объективно существующей обстановки. Он снова становится покорным и податливым. Различие, по сравнению с первым периодом, заключается в том, что там ребенок субъективно не чувствовал принуждения, а теперь он чувствует, что всегда должен считаться с объективной обстановкой, что правила изменить нельзя, им надо подчиниться — теперь он субъективно переживает принуждение.

Сообразно этому меняется и содержание игр ребенка. Он охотнее участвует в коллективных играх, где необходимо соблюдать определенные *правила*. Он уже имеет силу понять эти правила и подчиняться им и охотно выявляет эту силу. Его игра тоже развивает в нем способность сознательного, принудительного поведения.

Итак, у ребенка уже не остается ничего от *упрямства* и *негативизма* (делать все наперекор указаниям старших) трех-четырехлетней поры; с этого времени он уже чувствует неизбежность и обязательность правил; он признает их принудительную силу и подчиняется ей по своей воле. Разумеется, этим он достигает более высокой ступени активности. С точки зрения будущего развития особенно примечательно и важно то, что в этих новых условиях поведения подготавливаются твердые основы воли и обнаруживаются первые признаки ее проявления.

О том, что сознательное принудительное поведение является подготовительной ступенью воли, мы уже говорили выше. Так или иначе, созревшие в течение предыдущего периода сильные импульсы ребенка уже подчинены исходящим извне правилам как таковым, в обязательности выполнения которых он уже не сомневается. Теперь он уже знает и порой высказывает вслух, что ему вовсе не нравятся обяза-

тельства, накладываемые на него правилами, но он все же должен их выполнять. Он вообще не ставит вопроса о целесообразности этих правил, так как такая точка зрения ему еще чужда: в основе этих правил лежит *авторитет* взрослых – родителей, воспитателя. В 4–7-летнем возрасте, который характеризуется этой ступенью развития активности, с исключительной энергией развивается *сознание авторитета*. К последнему году этого периода у ребенка уже достаточно твердо выработана способность выполнять то, к чему его обязывает авторитет. Это уже подразумевает достаточную зрелость элементов воли.

Третий период характеризуется именно тем, что в рамках той формы поведения, каковым является учение, ребенок привыкает к самостоятельному управлению своим поведением, но в направлении не тех целей, которые намечаются им самим, а тех, которые указывает ему авторитет. Специфично для этого периода то, что у подростка возникает вопрос о целесообразности тех целей и правил, какие ему предлагает авторитет старших – семьи и школы, однако этот вопрос заключается вовсе не в том, что ребенок сомневается в их целесообразности или подвергает их проверке. Нет, он сразу же принимает их как несомненно целесообразные, и ему даже не приходит в голову мысль, что, быть может, его авторитеты ошибаются. Учение является главной формой поведения ребенка этого возраста, оно-то и превращает вопрос о значении правил и порядка в предмет повседневных детских переживаний. Процесс учения способствует дальнейшему закреплению способности организованного, систематизированного поведения ребенка.

Но в том же периоде продолжает развиваться и другой момент активности, момент, который на определенной ступени своего развития вступает в неизбежный конфликт с первым, т. е. с тенденцией некритичного подчинения установленным правилам. Физическое развитие подростка вызывает преобразование биологической основы физического субстрата его личности. Особенно велико значение происходящего в эндокринной системе видоизменения, в первую очередь перестройки активности желез. Активация половых

желез накладывает свой отпечаток на весь организм. Этот последний теперь уже является законченной, завершенной индивидуальностью, у которой уже достаточно созрели возможности самостоятельной жизни: у подростка сразу появляется сильное стремление к самостоятельности. Наряду с этим созревший в процессе учения интеллект помогает ему критическим взором пересмотреть и оценить все то, что ему до сих пор преподносил авторитет. В результате этого подросток еще раз коренным образом меняет свое поведение: на все, чему он до сих пор так верил и чему довольно охотно подчинялся, он теперь смотрит отрицательно и вновь становится своевольным, упрямым, негативистически настроенным существом, который лучшим своим господином считает самого себя.

Таким образом, в период полового созревания повторно проявляются *негативизм* и *упрямство*. Подросток чувствует неуклонную тенденцию суверенной самостоятельности и беспощадного отрицания всего до сих пор существовавшего.

Эта вторая пора упрямства тоже быстро заканчивается и уступает место новой, теперь уже высшей ступени развития человеческого поведения. Фантазия и интеллект подрастающего человека уже достаточно развиты для того, чтобы он мог взять на себя регуляцию собственного поведения. Его окрепшее самосознание, постоянное подчеркивание своего собственного «я» и своих идеалов достаточно подготавливают его для того, чтобы именно это «я» стало субъектом его поведения. Итак, подрастающий человек уже окончательно достигает ступени волевой активности.

ВНУТРЕННЯЯ ФОРМА ЯЗЫКА

1. Всякая наука стремится к отражению тех закономерностей, существование которых подразумевается в пределах изучаемого ею предмета — определенного отрезка действительности.

Это одна из самых основных задач, вообще стоящих перед каждой отраслью науки. Однако нельзя сказать, чтобы признание наличия такой задачи, обоснование ее правомерности и соответствия одинаково легко давалось всюду, для каждой отрасли науки. Сравнительно просто решается вопрос в случае естественнонаучных дисциплин. Они изучают природу — объективную, совершенно независимую от человека сферу действительности, — и нет ничего удивительного в том, что эта сфера действительности является не хаотическим скоплением явлений, а их объективно обусловленным, закономерным течением; нет ничего неожиданного и удивительного в том, что явления объективной действительности или какого-либо ее отрезка зависимы лишь друг от друга и для объяснения закономерностей, установленных в них, нет необходимости в помощи какого-либо фактора, находящегося вне их; и это потому, что кроме них и за ними нет ничего такого, где бы нужно было искать причины происходящих в них изменений.

Зато этот вопрос можно считать совершенно законным по отношению к так называемым общественным наукам. Конечно, как во всех науках, так и здесь вопрос состоит в отражении закономерностей, существующих в действительности: общественная наука тоже не сочиняет того, о чем говорит, она также стремится к максимально достоверному познанию действительности и тех закономерностей, которые считает закономерностями, возникшими в пределах действительности. Но вот тут-то именно и возникает вопрос: по какому праву общественная наука — нас в данном случае интересует, в частности, языкознание, — по какому праву приписывает языкознание независимый закономерный характер изменениям, происходящим в сфере языка. Дело в том, что та область действительности, которую изучает языкознание, совсем не является единой объективной, независимой от человека сферой действительности, например такой, каковой является предмет исследования физики — область физических явлений. Наоборот, то, что исследует языкознание, — язык — является лишь принадлежностью человека, лишь продуктом его творчества: язык возник в обществе людей, и он не существует вне человека; в языке не существует ничего такого, что бы не было сказано человеком, что бы не было создано им. Гумбольдт говорит, что определение языка может быть лишь генетическим. А именно, он — «вечно повторяемая работа духа, единственной целью которой является — снабдить членораздельный звук способностью выражения мысли». Следовательно, как будто должно быть ясно, что мир языковых явлений является производным, так сказать, зависимым миром, за которым стоит человек, и все, что совершается в нем, совершается посредством человека.

Но если это так, то будет совершенно справедливым спросить: как возможно, чтобы происходящие в языковой действительности изменения были обусловлены явлениями самой этой действительности и объяснялись их взаимоотношением, тогда как за ними всегда стоит человек? По какому праву мы подразумеваем, что язык сам имеет собственные, независимые от человека закономерности и, следовательно, должна существовать наука, которая для изучения языковой

действительности может удовлетвориться изучением фактов, существующих в ее пределах, тогда как эти факты всегда подразумевают активность человека?

Совершенно очевидно, что без соответствующего ответа на этот вопрос существование языкознания как независимой науки осталось бы необоснованным, и не лишено интереса то, что этот вопрос впервые поставил именно основатель языкознания Вильгельм Гумбольдт. Разумеется, это было его большой заслугой перед языкознанием. Однако не меньшую услугу оказал он этой науке и тем, что сумел найти по существу правильный ответ на этот вопрос. Гумбольдт считает, что язык имеет свою «внутреннюю форму», и те закономерности, которые языковед находит в жизни языка и рассматривает в виде соответствующих грамматических форм, должны определяться этой внутренней формой.

Таким образом, по мнению Гумбольдта, язык имеет свой собственный внутренний принцип, и было бы неоправданно для понимания закономерностей, имеющихся в языке, выходить за его пределы и проводить исследование вне их. Согласно этому, языкознание должно считаться совершенно независимой наукой.

2. Однако теперь возникает вопрос: что такое эта внутренняя форма? Что подразумевает Гумбольдт, когда говорит о ней? Интерпретатор Гумбольдта, известный Штейнталь остроумно замечает: «Для Гумбольдта внутренняя форма языка является ребенком, рожденным для высокого назначения, но в его руках оставшимся навсегда слабым». И действительно, мы видим, что хотя внутренней форме языка Гумбольдт отводит большую роль (по его мнению, это она определяет независимость языковой действительности), однако, в конце концов, ему все же не удается ясно раскрыть содержание этого понятия. Можно сказать, что вопрос внутренней формы языка и поныне остается в ряду неразрешенных вопросов.

Так что же такое внутренняя форма языка? В первую очередь необходимо принять во внимание взгляд самого Гумбольдта. Правда, как отмечает и Штейнталь, Гумбольдту трудно «определить, теоретически фиксировать и отграничить» это понятие, однако это не означает, что относительно

этого последнего он не сказал ничего определенного. Наоборот, наблюдения Гумбольдта относительно внутренней формы языка, в особенности в отношении ее функции, ее места, ее структуры, безусловно, заслуживают большого внимания, и мы не думаем, чтобы, не приняв их во внимание, было бы возможно постижение настоящего содержания этого понятия. Несмотря на это, ясного и четкого определения этого понятия, такого, которое бы достаточно учитывало все то, что отмечено самим Гумбольдтом относительно внутренней формы языка, у него все же нет.

Всякий язык состоит из огромного количества элементов, из отдельных слов и частиц, так же как из множества правил их соединения и употребления. Но, несмотря на эту многообразную пестроту, он все же является единым целым, единым нерасчлененным живым организмом. Язык — не предмет, не простой продукт (εργα); он больше сила (ενεργεια), полностью индивидуальное стремление, с помощью которого та или иная нация придает языковую реальность мысли и чувству. Мы не можем схватить это стремление в нерасчлененном, целом виде — оно проявляется лишь в отдельных результатах своей активности, — и, наблюдая эти результаты, мы видим, что в случае отдельного языка оно всегда действует своеобразно и в этом действии всегда соблюдено какое-то однообразие, какая-та однородность. В этом однообразии работы языковой энергии Гумбольдт видит ***форму языка.***

Таким образом, согласно Гумбольдту, формой языка вообще можно назвать все то, в чем виден целостный характер того или иного языка. Она, в первую очередь, может быть наблюдаема извне: она может быть представлена наглядно, например в виде грамматических форм — фонетической, морфологической и синтаксической. В этом случае мы имеем дело с ***внешними формами*** языка, сформировавшимися в звуке, или, просто, с звуковыми формами.

Однако существует также внутренняя форма языка, которая не представлена наглядно, не проявлена вовне, не имеет звукового состава, но сама лежит в основе таких, проявленных вовне, форм, сама определяет их. Правда, мы не можем

«допустить существование внутренней формы там, где ей не соответствует никакая фонетическая форма» (Штейнталь). Однако это не означает, что «внутренняя форма» имеет свою твердую, неизменную «внешность», «что каждая внутренняя форма имеет свое *особое* выражение», «это может быть звук, но может быть и его прекращение или временное отсутствие, может быть лишь качество или сила звука, может быть готовая морфологическая форма, может быть простой порядок таких форм...». Форма не является выраженной вовне формой, звуковой формой; она больше является тем, что должно считаться основой этой внешней формы, что находится за ней или в ней самой, но не имеет звукового построения, не построено из звукового материала*.

Дело в том, что материал языка, согласно Гумбольдту, составляет не только звук. Он считает, что материалом языка является, с одной стороны, звук вообще, а с другой — единство чувственных впечатлений и самодействующих движений духа, которые предшествуют составлению понятия с помощью языка. Если звук должен подразумеваться в ряду явлений внешней природы, то относительно чувственных впечатлений и самодействующего движения духа этого сказать нельзя: здесь мы, конечно, имеем дело с явлениями внутренней природы. Если внешняя форма языка связана с понятием звука, то естественно было бы думать, что понятие внутренней формы должно иметь что-то общее с чувственными впечатлениями и действием духа. Разумеется, это не означает, что внутренняя форма является формой этих чувственных впечатлений и действия духа. Нет, она так же не может считаться формой их самих, как и не считается чувственно данной формой звуков.

Для понимания настоящей мысли Гумбольдта было бы более уместно, если бы мы предусмотрели процесс возникновения слова так, как он сам его представляет. Гумбольдт подчеркивает, что слово никогда не является эквивалентом самого предмета, данного чувственно, что оно больше явля-

* *Г. Шпет.* Внутренняя форма слова. 1927. С. 80.

13 Зак № 137

ется эквивалентом того, как отражает (auffasst) его субъект. Тогда путь возникновения слова мы должны представить себе так: когда субъект противопоставляется действительности, в нем — в случае поисков словесного выражения — возникают два процесса, которые, правда, в действительности являются не отдельными, независимыми друг от друга, выделенными процессами, а единым процессом языкового творчества, однако для научного анализа выглядят все же как отдельные процессы. Одним процессом является настоящий, чистый, внутренний процесс — процесс *отражения*, *освоения* объекта, подлежащего наименованию. Следовательно, он должен считаться «интеллектуальной частью языка» (Гумбольдт), который в результате дает *понятие* подлежащего объекта: «язык выражает не сами предметы, а понятия относительно их, созданные духом в процессе становления языка», — говорит Гумбольдт (с. 356). Этот процесс не является независимым процессом. Он протекает совместно с другим процессом, как бы его другая сторона: он «предуготовляет ему своеобразное духовное отражение предмета», а именно — наименованное понятие. Второй же процесс — процесс, направленный вовне, — протекает на основе звукового материала и проявляется в оформлении этого материала, т. е. в создании соответствующего слова.

Таков, в представлении Гумбольдта, процесс языкового творчества. Как видим, он — единый цельный процесс, но содержит два потока, протекающих одновременно и вместе, один из которых отражает предмет в понятии и предуготовляет его второму процессу; второй же, со своей стороны, для предуготовления первому производит оформление звукового материала. Первый из этих процессов — внутренний процесс, а второй проявляется в оформлении звуков и, следовательно, является внешним процессом: первый дает языку внутренние формы, второй создает его внешние формы.

Таким образом, мы видим, что для Гумбольдта внутренняя форма языка является «интеллектуальной частью» языка, духовным отражением объекта, его понятием, следовательно, представляет собой определенное логическое содер-

жание, которое процесс языкового творчества «выставляет навстречу слову» (dem Wort entgegen bildet).

Однако может ли интеллектуальная часть языка, понятие, выполнить ту роль, которую Гумбольдт с самого же начала отводит понятию внутренней формы языка? Если звуковые формы, которыми характеризуется тот или иной язык, закономерности, представленные в них, определяются внутренней формой этого языка, а эта последняя является *интеллектуальным содержанием,* то очевидно, что для объяснения этих закономерностей языкознанию придется выйти за пределы языка и изучать интеллектуальное содержание. Ему придется взяться за дело тех наук, сферу исследования которых составляют эти интеллектуальные процессы и факты; словом, языкознание будет вынуждено для выполнения своего дела проникнуть в сферу психологии и логики и использовать их понятия и методы. Безусловно, напрасно было бы говорить о независимости такого языкознания. Следовательно, понятие внутренней формы у Гумбольдта, поскольку оно является «интеллектуальным» понятием языка, совершенно не может выполнить ту роль, для которой оно с самого начала же было призвано; оно не обосновывает идею языкознания как независимой науки. Наоборот, оно широко раскрывает двери в языкознание обоим противоположным ложным направлениям — как логицистическому, так и психологистическому.

3. В недрах учения Гумбольдта о внутренней форме языка возникли две попытки, имеющие значение для дальнейшего развития этого понятия, — одна в направлении логики, другая — психологии. Первая принадлежит Гуссерлю, вторая — Вундту.

Гуссерль, как известно, резко разграничивает друг от друга *выражение, значение* и *предмет* в слове. Выражение является *внешней формой,* которая разрабатывается в грамматике. Но одной грамматики недостаточно, так же как недостаточно учения об отношениях предмета. Анализ показывает, что грамматическим различиям соответствуют различия и в сфере *значения.* Так, например, категорематическим и синка-

тегорематическим понятиям, принадлежащим сфере выражения, согласно Гуссерлю, соответствуют понятия *независимого* и *зависимого значения*. Следовательно, наряду с обыкновенной грамматикой становится необходимым и «учение относительно чистых форм значения» или, как говорит Гуссерль, «чистая грамматика». И вот, Гуссерль именно в этих чистых формах значения видит то, что Гумбольдт называет внутренней формой языка.

Таким образом, сферу значения он считает доминантной сферой, которая определяет и окончательно формирует внешние формы языка. Чисто языковые закономерности по существу являются отражением закономерностей, действующих в сфере значения, и языкознание, ставящее своей целью исследование этих языковых закономерностей, вынуждено за руководством обратиться к логике.

Как видим, гуссерлианское понимание внутренней формы языка не обладает никакими преимуществами перед пониманием Гумбольдта: здесь нет даже попытки обоснования идеи независимости языкознания.

Однако учение Гуссерля не совсем удовлетворительно и с другой стороны. Дело в том, что, как отмечает Порциг, имеются случаи, когда значение слова остается тем же, т. е. в сфере значения ничего не изменяется, тогда как в языковом отношении подтверждаются чрезвычайно существенные изменения. Например, когда одно и то же слово в одном случае употребляется в качестве объекта, а в другом — как субъект, конечно, его значение от этого не меняется, хотя с грамматической точки зрения мы имеем дело совершенно с различными явлениями*. Кроме того, если внутреннюю форму следует усматривать в идеальных отношениях чистых значений, то ясно, что может существовать лишь одна-единственная внутренняя форма, так как сфера чистых значений может быть лишь одна. Но тогда все языки должны иметь одинаковую внешнюю форму или же форма ни одного языка не может быть определена внутренней формой.

---

* *W. Pozzig* Der Begriff der inneren Sprachform. «Indogerm Forschungen», B. XL. L, 1923 S 154

На существенно отличающейся позиции стоит Вундт. Если Гуссерль при установлении понятия внутренней формы языка совершенно игнорирует роль субъекта, если он во всех попытках учитывания этой роли видит психологизм, который, как бесплодное и вредное начинание, отрицает, Вундт, наоборот, выступает против концепции *идеальных форм* языка, т. е. в первую очередь против того, что Гуссерль при установлении понятия внутренней формы языка считает именно существенным. Вундт говорит: «Конечно, понятие внутренней формы языка в том смысле, в каком оно было выставлено Гумбольдтом с самого же начала, является совершенно законным, весьма необходимым понятием, к которому мы приходим при учитывании всех структурных свойств и их взаимоотношений того или иного языка. Однако если мы хотим, чтобы это понятие осталось действительно полезным, то мы должны совершенно освободить его от понятий — все равно, существующих в действительности или вымышленных, — подобных понятию *идеальной* формы, которыми должен измеряться каждый отдельный язык и которые, начиная от Гумбольдта и поныне, сопровождают это понятие. Наоборот, так же как внешняя форма языка бесспорно проявляется лишь в конкретном, действительно существующем языке, точно так же под внутренней формой языка мы должны подразумевать лишь сумму фактических психологических свойств и их взаимоотношений, которая порождает определенную внешнюю форму как свой результат»*.

Следовательно, язык оформляется духовным состоянием говорящего субъекта, и для понимания закономерностей языка остается единственный путь, путь психологического исследования. Как видим, идея независимости языкознания по существу полностью отрицается, и понятие внутренней формы языка, вопреки заявлению Вундта, в действительности предстает как совершенно бесполезное и, следовательно, лишнее понятие. В самом деле, для чего нужно понятие внутренней формы языка, если эта внутренняя форма принадле-

---

* *W. Wundt.* Völkerpsychologie. S. 440.

жит не самому языку, а другой сфере действительности, с которой язык непосредственно не имеет ничего общего?

Вундт, между прочим, не учитывает одного бесспорного наблюдения, на которое обратил внимание еще Гумбольдт*. Он упускает из виду то обстоятельство, что не существует и не мог когда-либо существовать говорящий субъект так, чтобы он не находился под влиянием уже существующего языка. Индивид не может говорить, если не существует языка, на котором он мог бы говорить. Очевидно, закономерности этого языка предшествуют психическому состоянию субъекта в момент речи, и, следовательно, невозможно, чтобы они являлись его результатом, как думает Вундт (Порциг).

4. Если теперь мы окинем взглядом все рассмотренные выше типичные учения относительно внутренней формы языка, то увидим, что, в сущности, перед понятием внутренней формы языка ставятся по крайней мере три требования, без выполнения которых было бы невозможно формирование правильной концепции этого понятия. Первое, наиболее существенное требование таково: слово представляет собой единство значения и звука, так сказать, синтез двух совершенно гетерогенных процессов, и неизвестно, как становится возможным, чтобы эти два существенно отличающихся друг от друга процесса вообще встречались и создавали конкретное внешнее оформление языка. Концепция внутренней формы языка была бы неприемлема, если бы она не смогла решить этот вопрос.

Кроме того, внутренняя форма языка должна быть именно формой языка, она должна принадлежать языковой сфере, чтобы с ее помощью было возможно объяснение языковых явлений. В противном случае она была бы не формой языка, а явлением или фактором, взятым из чужой по существу действительности, который, если бы даже имел свою форму или сам представлял собой какую-либо форму, во всяком случае, был бы его формой, а не формой языка.

Мы убедились, что ни одна из указанных выше теорий внутренней формы языка не удовлетворяет этому требова-

---

* *W. Humboldt.* Указ. соч. С. 249.

нию. Внутренняя форма Гумбольдта и в особенности Гуссерля взята из сферы логической действительности: она — форма выражения понятия и, следовательно, форма логического содержания, а не собственная форма самого языка. Что из того, что она может иметь большое значение в процессе формирования языковых форм, что она может даже определять этот процесс! Несмотря на это, она, конечно, не может изменить свою природу — она все же останется логической категорией.

То же самое можно сказать *mutatis mutandis* и относительно учения Вундта. Кто скажет, что в процессе фактической речи состояние психики субъекта не имеет значения? Кто скажет, что это состояние не влияет на формирование внешних форм языка? Но разве из-за этого кто-нибудь скажет, что это состояние превратилось в форму языка? Нет. Совершенно очевидно, что если действительно существует внутренняя форма языка, то она каким-то образом должна быть собственностью именно языковой сферы, должна быть именно формой языка, а не логическим, психологическим или другим каким-либо неязыковым содержанием.

Второе требование, которое также должно быть принято во внимание, таково: бесспорно, что язык создан человеком и, конечно, он нигде не существует вне речи. Поэтому было бы совершенно необоснованно говорить о настоящем языке и совершенно игнорировать это обстоятельство, т. е. не учитывать того, что язык дается в речи. Гумбольдт, конечно, не мог оставить этот факт без внимания, и язык он определяет как работу духа (ενεργεια). Но, с другой стороны, язык — не только речь, не только активность субъекта, не только «энергия», но также и определенная система знаков, которую уже в готовом виде застает каждый говорящий субъект и без подчинения которой невозможна никакая речь. Гумбольдт подчеркивает и это существенное значение языка: для него язык не только «энергия», но и «эргон». Следовательно, в понятии языка одновременно объединены два момента — момент *психологический*, который определяет язык как речь, как «энергию», и момент логический, который нам представляет язык как собственно язык, объективно данную систему знаков, как

«эргон». Само собой разумеется, что понятие внутренней формы языка можно было бы считать адекватным понятием лишь в том случае, если бы оно соответственно учитывало оба эти момента — и психологический и логический. В противном случае оно было бы односторонним и, следовательно, ошибочным.

Как мы убедились, понятия внутренней формы языка как Гуссерля, так и Вундта являются такими односторонними понятиями. То же самое можно сказать и относительно Гумбольдта, поскольку его понятие внутренней формы объявлено «внутренней интеллектуальной частью» языка. Однако Гумбольдт, в противоположность окончательной дефиниции этого понятия, все же пытается в процессе суждения о нем как-то отразить в нем оба момента, как психологический, т. е. момент «энергии», так и логический, т. е. момент «эргона». Это, безусловно, является большим преимуществом его концепции. Но как только перед ним ставится вопрос относительно конкретного раскрытия этого понятия, мы видим, что он также не может избавиться от односторонности.

Таким образом, мы убеждаемся, что если понятие внутренней формы языка — законное понятие, то тогда оно должно представлять собой нечто такое, что будет в силе, во-первых, объяснить факт объединения, факт синтеза значения и звуковой формы в слове; затем должно учесть двойную природу языка — психологическую и логическую, и, наконец, оно само по себе не должно быть ни тем ни другим, но все же должно принадлежать к языковой действительности.

Что может отвечать таким требованиям?

* * *

1. В повседневной речи человека давно замечен целый ряд факторов, которые заставляют думать, что структура языка не исчерпывается только лишь интеллектуальным и звуковым факторами. Без сомнения, обоим этим факторам предшествует третий, имеющий фундаментальное значение для обоих.

а) Когда мы говорим на каком-либо определенном языке, нам обыкновенно приходят в голову слова и формы этого

языка, а не, скажем, родного языка, который, как правило, запечатлен в памяти намного прочнее, чем какой-либо другой язык. Например, когда говорим по-русски, находящиеся вокруг нас предметы всплывают в нашем сознании в виде русских слов. Как только начнем говорить, скажем, по-английски, нож, например, превратится в *knife* и выглядит как именно *knife*. Это обстоятельство играет большую роль: безусловно, благодаря этому обстоятельству мы можем говорить бегло и без смешения.

б) Замечено, что дети, говорящие на двух языках, — до того, пока окончательно овладеют языком, — уже на втором году с матерью пытаются говорить на одном языке, а с няней, говорящей на другом языке, — на другом. Здесь интересно то, что дети редко путают друг с другом и употребляют в своем контексте как отдельные слова, так и формы каждого из этих языков, которыми они еще не совсем хорошо владеют.

Оба эти наблюдения ясно доказывают, что началу процесса речи предшествует какое-то состояние, которое в субъекте вызывает действие сил, необходимых для разговора именно на этом языке. Надо полагать, что в этом случае субъект, пока он начнет говорить, заранее претерпевает определенное изменение целостного характера, проявляющееся в установке на действие в определенном направлении; после этого понятно, что в этом одном направлении и развертывает он свою активность, — в наших примерах — говорит на одном определенном языке. Короче, в этих наблюдениях мы всюду имеем дело с установкой речи.

Однако правильно ли это предположение? В Институте психологии давно выработан метод, с помощью которого производится фиксация той или иной установки, и, следовательно, имеется возможность проверить, действительно ли мы имеем дело с установкой в случаях, подобных вышеуказанным примерам. Если испытуемому для чтения тахистоскопически предложить написанный латинским шрифтом ряд иностранных слов (скажем, немецких) и затем, в качестве критического опыта, дать какое-либо такое русское слово, которое не содержит ни одной специфической русской буквы, то в таких случаях испытуемый, как правило, и это слово

читает латинской транскрипцией, т. е. как иностранное слово. Из последних исследований З. Ходжава известно, насколько закономерно проявляется этот феномен. Основной смысл этих опытов состоит в следующем: если у человека выработана достаточно фиксированная установка чтения на одном из каких-либо языков, то он написанное на другом языке (аналогичным шрифтом) воспринимает также согласно установке.

Аналогичные результаты дают опыты с установкой письма (А. Моснава). Обычным путем у испытуемого вырабатывается фиксированная установка писать на определенном языке, а именно, ему диктуют ряд слов определенного языка и он записывает их. В критических опытах ему дают слово другого языка; результат обыкновенно бывает таким: испытуемый это слово также воспринимает как слово, принадлежащее тому языку, на котором была выработана установка, и пишет соответствующим шрифтом.

Таким образом, можно считать экспериментально установленным, что языковая установка является бесспорным фактом и что эта установка дает направление механизму речи на соответствующем языке, в наших опытах — механизму чтения и письма на данном языке. Или, говоря иначе: можно считать установленным, что эта установка активизирует именно те силы субъекта, которые нужны для чтения и письма на этом языке.

Таким образом, наше теоретическое предположение, согласно которому в основе речи на каждом конкретном языке лежит соответствующая языковая установка, нужно считать экспериментально доказанным.

Какое значение имеет это приобретение для нашего вопроса и что у него общего с проблемой внутренней формы языка?

Мы видим, что в языке, кроме работы интеллекта и моторных процессов, также обязательно принимает участие установка. Мы видим, в частности, что беглый разговор на каком-либо языке — так, чтобы на каждом шагу не было бы обязательным вмешательство сознания, — возможен лишь благодаря участию установки: другой фактор совершенно

исключен, поскольку говорить о бессознательной работе интеллекта лишено смысла, а упоминать здесь о звукомоторном процессе, конечно, никому даже не пришло бы в голову. Без соответствующей установки мы не смогли бы по-настоящему говорить ни на одном языке: когда, например, у меня появляется установка говорить по-русски, тогда, как было отмечено выше, начинает действовать лишь механизм русского языка, становится актуальным словарь и грамматика русского языка. Достаточно переключиться на установку разговора на другом языке, чтобы положение сразу же изменилось и чтобы не осталось и следа действия механизма русского языка: теперь — вместо русской лексики и графики — моим сознанием овладевают лексика и графика другого языка.

Ясно, что к формам какого языка обратимся мы в каждом частном случае речи, это полностью определяется моей актуальной языковой установкой. В этом смысле как будто становится бесспорным, что установка выполняет именно ту роль, которую Гумбольдт отвел внутренней форме языка.

2. Однако какой конкретный вид принимает тогда проблема языка вообще? Мы думаем, что рассмотрение этой проблемы должно производиться в двух отличающихся друг от друга аспектах: в более теоретическом и более эмпирическом. Первый подразумевает точку зрения языкового творчества, второй — точку зрения овладения существующим языком и речью на этом языке. Фактически оба эти процесса — процесс творчества языка и процесс овладения языком — протекают вместе и разобщить их трудно: мы не знаем такого периода в истории человека, когда бы он являлся только субъектом языкового творчества и не располагал бы уже готовым в каком-то объеме языком — без этого он вообще не смог бы говорить. Однако теоретически все же необходимо и возможно представить такого фиктивного человека и попытаться угадать, как должен был проходить процесс языкового творчества в этом случае. Второй аспект — это реальный, обыкновенный процесс, который сегодня проходит каждый человек, пока превратится в говорящего человека. Правда, первый взгляд мало соответствует действительности, однако он

имеет большее принципиальное значение, чем точка зрения эмпирически более реального процесса. И поэтому наш вопрос в первую очередь должен быть рассмотрен с точки зрения языкового творчества.

Каждое живое существо, в частности человек, вследствие *импульса какой-нибудь потребности* и в аспекте этой потребности вынужден установить определенное отношение с внешней действительностью. После этого, согласно теории установки, у него, как у целого — субъекта этого взаимоотношения, — возникает *установка* определенной активности и последующая его активность, в частности и психологическая, направляется этой установкой. То, как отражается внешняя действительность, к которой он обращается, обусловлено его установкой. Это один из слоев психической жизни, простейший слой, который является специфическим для мира животных: ориентация животного в действительности протекает под непосредственным руководством установки.

Психическая жизнь человека содержит второй, более высокий слой. Когда вследствие какой-либо причины, например усложнения потребности, ее удовлетворение задерживается или становится невозможным с помощью непосредственного импульса установки, тогда субъект на некоторое время останавливается, чтобы начать повторное осознание, скажем, повторное восприятие предмета своего восприятия или других психических процессов: он производит *объективацию* своего восприятия, или же, как мы говорим в таких случаях, обращает *внимание* на предмет своего восприятия. Начинается второй слой активности психической жизни — переработка психических содержаний на более высоком уровне, уровне объективации: повторное переживание уже пережитого на основе установки, повторное восприятие объективированного содержания.

Понятно, чту именно должно быть целью этого процесса повторного осознания. В первую очередь, конечно, одно — а именно точно найти место объективированного содержания в объективной действительности, выяснить, где, в круг каких категорий нужно поместить его.

Мы увидели, что начало действия внимания субъекта, или объективацию, вызывает та или иная задержка. Это означает, что человек в процессе всякой своей активности, в частности и особенности в процессе труда, вынужден противостоять непосредственному руководству импульса актуальной установки и, вместо продолжения активности, обратиться к актам объективации. Поскольку активность человека, в особенности труд, представляет собой явление социальной природы, поскольку она подразумевает необходимость и возможность сотрудничества людей, естественно, что у субъекта в случае задержки своей активности и объективации соответствующих содержаний может возникнуть *потребность* — заставить и другого объективировать то, объективацию чего производит он сам, привлечь на то же самое внимание и другого и тем самым сделать сотрудничество более возможным и плодотворным. Ясно, что в таких условиях *слово* может выполнить особенно большую роль. Мы не говорим, что с самого начала речь зародилась именно так. Здесь мы хотим сказать лишь то, что в таких условиях необходимость словотворчества должна была бы стать особенно актуальной, поскольку, как мы убедимся ниже, в первую очередь и в особенности лишь ему, слову, под силу стимулировать объективацию, лишь оно может заставить другого также совершить объективацию того, что объективирует сам субъект.

Таким образом, мы как бы оказываемся перед ситуацией перворождения того или иного слова.

Мы видим, что необходимость в коммуникации вынуждает человека найти звуковое выражение объективированного и затем осознанного им содержания, выражение, которое смогло бы и в другом вызвать объективацию такого же содержания. Каким должно быть это звуковое выражение, следовательно, зависит от того, как отражено субъектом, в каком виде осознано им то содержание, объективацию которого он должен обеспечить посредством слова.

Возникает вопрос: как случается, что психическое отражение предмета или вообще объективного положения вещей, определенное содержание сознания, идея, вызывают в субъекте речи определенные звукомоторные акты и формируются

в определенных формах звукового материала, как происходит, что идея связывается со звуком и в виде слова превращается в одно неделимое целое? Ведь идея и звук — гетерогенные в своей основе процессы! Как же делается возможным, что они встречаются друг с другом и проявляются в слове в соединенном виде? Для теории установки этот вопрос не представляет никакой трудности, поскольку, согласно одному из основных положений этой теории, подтвержденному также и экспериментально, не только воздействие *самого объективного положения вещей* вызывает *непосредственный эффект в субъекте* в виде смены его установки, но и воздействие идейных содержаний. Следовательно, ничто не мешает нам считать, что достаточно воздействия хотя бы только идеи на субъекта, чтобы в нем, в соответствующих условиях, проявилась соответственная установка.

Однако если это действительно так, то, очевидно, процесс словотворчества мы могли бы представить себе следующим образом: когда то или иное объективированное содержание окончательно формируется в виде определенной идеи, оно, в случае потребности в коммуникации, начинает воздействовать на субъекта и вызывает в нем определенную установку — специфическое, целостное отражение этой идеи, оформленное на фоне потребности в коммуникации, своеобразную модификацию личности, модификацию, которая дает единый источник интеллектуального содержания этой идеи и ее звуко-моторного выражения. Слово, как *расчлененное единство идеи и звуко-моторной формы*, является реализацией этой специфической установки — языковой установки.

Основой его является *языковая установка*, обусловленная объективированным содержанием и потребностью в коммуникации. Она определяет его как целое, она придает ему специфический звуковой вид, вообще — всю внешнюю форму. Следовательно, можно сказать, что в сущности она является тем, что выполняет роль так называемой «внутренней формы» языка.

Для примера назовем слово *слон* в санскрите. Как отмечает Гумбольдт, здесь слона называют несколькими именами: иногда «дважды пьющим», иногда «двузубым», иногда «од-

норуким». Несомненно, что множественность названий в этом случае должна объясняться тем, что по отношению к одному и тому же предмету (например, слону) у человека могут быть различные установки и, следовательно, он может его отражать в разных аспектах, воспринимать по-разному. По мнению Гумбольдта, это наблюдение указывает на то, что «слово является эквивалентом не чувственно данного предмета, а эквивалентом его отражения — в определенный момент нахождения слова» и что оно олицетворяет не сам предмет, а понятие. Гумбольдт убежден, что факт обозначения одного и того же предмета различными словами должен быть объяснен именно этим (с. 356).

Это замечание Гумбольдта безусловно правильно. В основе разности наименования предмета действительно лежит разность отражения. Однако этого замечания недостаточно. Дело в том, что, во-первых, отражение само представляет собой вторичное явление и, следовательно, оно, в свою очередь, нуждается в объяснении. С другой же стороны, оно определяет качество слова не непосредственно, а лишь с помощью установки, которую в результате своего воздействия оно вызывает в субъекте, дающем наименование.

Следовательно, можно считать окончательно установленным, что слово определяется не тем или иным частным психическим содержанием — тем или иным концептом или идеей, — а самим субъектом, имеющим ту или иную установку; «внутреннюю форму» слова создает не «интеллектуальная часть» языка (Гумбольдт) или то или иное психическое содержание (Вундт), а установка.

3. До сих пор мы говорили о языковом творчестве. Но в реальной действительности, в которой мы живем, язык с самого же начала дан в готовом виде. Поэтому здесь вопрос может касаться лишь использования уже существующего языка — его изучения и употребления, когда появляется необходимость этого, и его понимания, когда мы выступаем в роли пассивного субъекта речи — слушателя. Процесс возникновения речи в своих начальных фазах здесь такой же, как и в случае языкового творчества. Различие касается лишь одного: если при языковом творчестве мы должны пользоваться

лишь продуктами собственного творчества, здесь в нашем распоряжении находится богатый, завершенный языковой запас, накопленный на протяжении многовекового прошлого всей нации, и вопрос может касаться лишь использования этого запаса.

Как нам это удается? Само собой разумеется, что, для того чтобы говорить на каком-либо языке, необходимо знать этот язык, необходимо изучить его. Именно поэтому в первую очередь должны быть освещены вопросы усвоения языка. Как ребенок усваивает язык, как овладевает им? Здесь нас, конечно, интересует вопрос усвоения не иностранного, а родного языка.

Согласно гениальной формуле Гумбольдта, «усвоение ребенком языка — это не примерка слов, не укладывание их в памяти и затем их выговаривание губами, а рост способности языка благодаря возрасту и упражнению. Услышанное делает больше, чем только то, чтобы быть переданным кому-либо; оно придает способность духу лучше понять то, чего он еще не слышал; оно внезапно освещает услышанное раньше, но понятое тогда лишь наполовину или вообще не понятое, поскольку развившаяся за это время сила сразу замечает сходство между услышанным сейчас и раньше»*.

И действительно, результаты научного изучения развития языка ребенка, так же как и результаты каждодневного наблюдения, ясно показывают, что это именно так, что в процессе изучения языка ребенок усваивает больше того, чему его обучают. Кто не замечал, что ребенок в один прекрасный день начинает правильно употреблять такие слова, что диву даешься — откуда у него они берутся, употребляет совершенно правильно такую форму, что бываешь поражен. Конечно, если бы он никогда не слышал этих слов или если бы никогда не был свидетелем использования этих форм в речи, он бы никогда не смог обратиться к ним. Но бесспорно, что то, что до того было совершенно непонятным для него, сейчас сразу становится настолько доступным, что даже входит в сокровищницу его активной речи.

---

* *W. Humboldt.* Указ. соч. С. 285.

Ясно, что вопрос касается не самих форм и слов — усвоения этого языкового материала, а чего-то другого, находящегося глубже в его существе, такого, на основе чего возникновение этих форм и слов происходит как бы само собой, — той стороны речи, которая более существенна, чем проявленный материал речи — ее правила, ее формы и ее лексический состав. Очевидно, для того чтобы этот глубинный слой созрел, окреп и начал действовать, необходимо повторное воздействие проявленного материала языка; следовательно, процесс усвоения языка в первую очередь нужен не для того, чтобы этот материал накопился в памяти или чтобы зародились и укрепились как можно более ясные связи между этими элементами, как сказала бы всякая ассоцианистическая теория. Коротко говоря, мы бы не могли не сказать, что в процессе изучения ребенком языка основное значение имеет развитие фактора, который не проявляется в материале языка, но лежит в его основе и создает его. Говоря языком Гумбольдта, мы бы не ошиблись, сказав, что процесс изучения языка по существу состоит в овладении внутренней формой языка.

Следовательно, усвоение языка — процесс преобразования самого субъекта как целого: *свою реализацию он находит в развитии и уточнении языковой установки субъекта.*

Здесь, в этом контексте, нет необходимости со всех сторон рассматривать процесс усвоения языка: для нас достаточно увидеть, что в нем — в процессе усвоения языка — установка принимает значительное участие. Согласно этому, мы можем сказать, что у ребенка, в результате усвоения языка, вырабатывается соответствующая языковая установка. Конкретно это означает, что в результате многократного воздействия форм и слов данного языка в нем происходит фиксация соответствующей установки и поэтому, когда у него возникает задача речи и он в той же или иной ситуации что-то должен сказать, у него, вместо, так сказать, первого возникновения соответствующей установки и ее проявления в каком-либо оригинальном слове или форме, возникает фиксированная установка, которая находит свою реализацию в использовании изученных слов и форм: субъект использует материал того языка, который он усвоил с детства.

Очень интересен и очень показателен анализ процесса понимания языка с точки зрения теории установки. Замечательно, чрезвычайно глубоко и в то же время художественно определяет этот процесс тот же Гумбольдт: «Беседу никогда нельзя сравнивать с передачей какого-либо предмета. В слушателе, как и в говорящем, она должна развиться из собственной внутренней силы, и то, что получает первый, является лишь гармонически звучащим возбуждением» этой силы. «Слыша то или иное слово, никто не мыслит именно то и точно то, что мыслит другой... Поэтому всякое понимание в то же время является и непониманием, всякое согласие в мыслях и чувствах в то же время является несогласием», — говорит Гумбольдт.

Как видим, он особо отмечает два момента: 1) беседуя друг с другом, мы посредством слова не передаем друг другу готовую мысль, а только возбуждаем в слушателе внутреннюю силу, которая создает соответствующее понятие; 2) это понятие всегда индивидуально: оно — не совсем то, что подразумевает говорящий, хотя было бы ошибкой думать, что оно существенно отличается от него.

Это наблюдение Гумбольдта, как и многие другие, заслуживает особого внимания. Мы видим, что он совершенно не согласен с утверждением ассоцианизма, будто бы слово является знаком, представление которого вызывает репродукцию связанного когда-то с ним представления, и что будто бы именно это является тем, что лежит в основе процесса понимания речи. Однако концепция Гумбольдта не идет дальше признания негативного значения этого наблюдения; она не может показать, чем в сущности и конкретно является эта «внутренняя сила», в которой слово в первую очередь вызывает изменения и которая, следовательно, подтверждает возможность коммуникации.

Поэтому остается непонятным и второе его наблюдение: будто бы значение слова всегда индивидуально, но в определенных границах, т. е. будто все по-своему понимают значение каждого слова, но в то же время все же подразумевают одно и то же, т. е. будто бы значение слова и индивидуально, и в определенных границах общо. Первый член этого про-

тиворечия — факт индивидуальности языка, как отмечено выше, Гумбольдт объясняет тем, что человек наименовывает не предмет, а свою концепцию об этом предмете, понятие, которое у каждого индивида свое, специфическое. Однако люди никогда бы не поняли друг друга и речь была бы невозможна, «если бы в различии отдельных людей не было бы скрыто единство расщепленности человеческой природы на обособленные индивиды» (с. 284). Как видим, Гумбольдт объясняет слово как факт единства противоположностей двумя совершенно различными принципами, не имеющими между собой ничего общего. Взгляд Гумбольдта в этом случае вкратце можно было бы передать так: каждый человек своеобразно воспринимает всякое слово, однако эта особенность не заходит далеко, поскольку все они — люди, а природа человека едина; поэтому-то слово лишь в определенных границах носит индивидуальный характер.

Конечно, было бы правильнее, если бы Гумбольдт нашел один принцип, которого было бы достаточно для объяснения этой двойственности природы языка — индивидуальности и общности, так же как и тех особенностей «механизма» понимания языка, которые даны в его первом наблюдении. Дело в том, что в обоих случаях Гумбольдт отмечает существенные, т. е. вытекающие из сущности языка, его особенности. Ясно, что они должны быть выведены из одного принципа и объяснены одним принципом. Гумбольдт мог бы сказать, что в этом случае мы имеем дело с внутренней формой языка, что именно она делает понятным все отмеченные здесь особенности. Однако мы знаем, что внутренняя форма, как ее понимает Гумбольдт, совершенно бессильна выполнить ту роль, которую он отводит ей.

Когда человек выступает в роли слушателя, слово у него в первую очередь актуализирует установку, фиксированную у него в результате многократного воздействия этого же слова в прошлом. На основе этой установки у него возникает соответствующее психическое содержание, которое он переживает как значение слова. Это означает, что он понял слово.

Как видим, слово, в котором говорящий подразумевает определенное, конкретное содержание, передает слушателю это содержание не прямо, а в первую очередь пробуждает в нем (слушателе) определенную установку; и затем, на основе этой установки, возникает определенное психическое содержание, которое переживается в качестве значения услышанного слова. Следовательно, беседу действительно нельзя сравнить с передачей какого-либо предмета из одних рук в другие. Но если это так, т. е. если слово в слушателе в первую очередь возбуждает не психическое содержание, а установку, то тогда понятно, что «при слушании того или много слова никто не мыслит именно и точно то, что другой». Значение слова, как определенное психическое содержание, является реализацией установки, возбужденной посредством слова. Однако установка всегда является более или менее *генерализованным* процессом*: ее реализация в психике и, возможно, в поведении в определенных границах различна; следовательно, становится само собой понятно, что слушатель никогда не мыслит именно и точно то, что говорящий, что понимание (по словам Гумбольдта) в то же время является и непониманием и «согласованность — несогласованностью». Таким образом, мы видим, что слово всегда индивидуально, поскольку оно является реализацией установки.

Однако понимание было бы невозможно, если бы слово в слушателе возбуждало совершенно другую установку, чем та, которая фиксирована в нем. Следовательно, то, что слово общо, что всеми понимается одинаково, — это тоже объясняется понятием установки.

Таким образом, если подразумевать, что слово возбуждает фиксированную установку, то станет ясным, во-первых, что посредством слова слушателю передается не определенная мысль, содержание, а в нем возникает какой-то процесс, который определяет переживание значения слова; и, во-вторых, что, с одной стороны, это значение у каждого субъекта своеобразно, но, с другой стороны, — все же общо с другими.

---

* *Д. Узнадзе.* Основные положения теории установки / Труды Тбилис. гос. ун-та. Т. II (на груз. языке).

Отсюда становится понятным факт «единства противоположностей» в слове.

Таков «механизм» человеческой речи как в случае языкового творчества, так и при разговоре на уже знакомом готовом языке. Мы видим, что установка здесь всюду играет большую роль. А это означает, что корни всех значительных особенностей языка мы должны искать в целостном модусе актуального бытия человека — в установке субъекта. Очевидно, что если действительно где-то существует то, что Гумбольдт называл внутренней формой языка, как первичный фактор, который изнутри с самого же начала определяет все проявленные особенности языка, то его следует предполагать в установке говорящего субъекта. Однако мы должны помнить, что установка ни в коем случае не является чисто субъективным состоянием; наоборот, она представляет собой специфическое целостное отражение, именно некий процесс объективных обстоятельств ситуации, так сказать, голотоксический процесс, в котором субъект впервые приходит в соприкосновение с объектом и воспринимает его в его сущности. В противном случае мы имели бы дело с чисто субъективистским, идеалистическим понятием, которое оказалось бы совершенно беспомощным перед теми большими задачами, разрешение которых возложено на понятие внутренней формы языка.

* * *

1. Однако если конкретное содержание внутренней формы языка мы должны подразумевать в установке, то ясно, что понятие установки должно учитывать все те требования, которые, как было отмечено выше, предъявляются правомерной концепции внутренней формы языка.

Понятие внутренней формы языка должно сделать понятной проблему Гумбольдта — проблему единства значения и звука в слове, проблему «единства единств», т. е. проблему «синтеза синтезов». Звук и значение — два гетерогенных содержания. Каким образом возможен факт их встречи, объединения в слове? Как было отмечено выше, эта проблема не

решена ни в концепции Гумбольдта, ни в концепциях Гуссерля или Вундта.

Как решает ее концепция внутренней формы языка, исходящая из понятия установки? Если мы признаем факт участия установки в языке, путь решения проблемы с самого же начала станет ясным. Дело в том, что установка является характеристикой субъекта как целого. Следовательно, она — фактор, одинаково определяющий все, что исходит от субъекта, каждый вид и форму его активности, в частности как чувственную, так и интеллектуальную. Иначе это означает, что в своей основе всякий поток активности человека один и тот же, поскольку все они исходят от установки и все они являются ее реализацией.

В частности, в случае языка вопрос решается так: когда у субъекта на основании потребности в коммуникации вырабатывается какое-то понятие или идея, у него появляется определенная языковая установка, т. е. готовность начать говорить на определенном языке, и затем, как реализация этой установки, возникает определенная звуковая целостность, определенное слово. Как видим, слово и значение опосредствуются установкой; основой их объединения, синтеза является установка.

Таким образом, понятие установки объясняет факт «синтеза синтезов», факт возникновения внешних форм на основе внутренней формы. Это является большим преимуществом, которое, безусловно, имеет понятие установки перед другими понятиями внутренней формы языка.

2. Однако преимущество понятия установки перед другими концепциями внутренней формы языка состоит не только в этом; понятие установки имеет и второе преимущество — преимущество не менее значительное, чем то, о котором только что говорилось. Когда мы знакомились с различными типичными учениями о внутренней форме языка, мы уже останавливались на том, что каждое из этих учений под внутренней формой языка подразумевало содержания, взятые из неязыковой сферы, — чисто логическое или психологическое, — и вследствие этого фактически отрицало независимость языкознания как науки. И это тогда, когда основной

смысл введения понятия внутренней формы языка с самого же начала заключался именно в том, чтобы с ее помощью стало возможным обоснование независимости языковой действительности. Как мы знаем, от этого недостатка не свободна даже концепция самого Гумбольдта — во всяком случае, в том виде, как эта последняя отражена в окончательном определении понятия. Одним словом, можно сказать, что до сих пор не удалось найти такой фактор, чтобы он не был по существу чуждым для языка и в то же время мог бы определить его внешние формы. И вот второе преимущество понятия установки мы должны искать именно в этом направлении.

Дело в том, что установка, как это не раз было отмечено*, является не переживанием частного характера или же каким-либо определенным моторным актом субъекта; она является специфической модификацией субъекта как такового, т. е. как целого, и поэтому не имело бы смысла представлять ее в виде интеллектуального или другого какого-либо психического процесса. Зато она выражает целостную готовность субъекта к определенной активности. Поэтому нельзя сказать, что установка во всех случаях обозначает понятие одного и того же содержания: без сомнения, установка и та активность, в которой она реализуется, существенно связаны друг с другом, и понятно, что в каждом отдельном случае мы говорим об установке той или иной активности.

В случае нашей задачи вопрос касается речи. Следовательно, нам ничто не мешает, наоборот, все толкает к этому — считать установку не чуждой языку реальностью, а видом действительности, имеющим свое определенное место именно в языковом мире. Но если это так, если, с другой стороны, язык со всеми особенностями строится на основе установки, то бесспорно, что фактор, определяющий языковые закономерности, мы должны подразумевать не за пределами сферы языка, а внутри, в недрах самого языкового мира. Следовательно, концепция внутренней формы языка, опирающаяся на понятие установки, дает возможность признать языкознание независимой, самостоятельной наукой.

---

* *Д. Узнадзе.* Психология. Гл. III (на груз. языке).

Таким образом, две чрезвычайно важные особенности установки — с одной стороны, ее целостный характер, а с другой — существенность ее связи с той активностью, по отношению к которой она является установкой, — подтверждают мысль, что конкретное содержание внутренней формы языка мы должны подразумевать именно в установке.

3. Однако имеется и третье требование к внутренней форме языка — ей должно быть под силу сделать понятным факт объединения в языке двух противоположных моментов — психологического и логического. Что дает нам понятие языковой установки в этом отношении? Иными словами, перед нами стоит вопрос об отношении языка, как объективного и логического, и речи, как субъективного и психологического, — вопрос об основах их объединения в понятии языка (в широком смысле). Этот вопрос, как вопрос о взаимоотношении языка и речи, был поставлен еще Гумбольдтом (язык как «энергия» и как «эргон»). Несмотря на это, он и поныне не считается окончательно решенным.

И действительно, что такое язык? Является ли он лишь названием, обозначающим единство фактов речи, и, следовательно, не является ничем реальным, а только научной абстракцией, или же он действительно является объективно существующей реальностью, не имеющей ничего общего с субъектом и отдельными процессами, происходящими в нем?

Попытка научно обосновать возможность первого решения вопроса принадлежит Герману Паулю, а второго — Фердинанду де Соссюру.

Ипсен так характеризует учение Пауля по этому вопросу: «Своеобразным элементом языка всегда и всюду является особая парная связь представлений звука и содержаний представления. Однако его единственной действительностью является совокупность всех индивидуальных выражений; по существу язык не является ничем иным, кроме совокупности проявлений языковой активности всех индивидов в их взаимном влиянии». От этого надо отличать носителей языка, «организмы индивидуального представления», которые составляют образования совокупности всего когда-либо

сказанного или услышанного и включены в длительный процесс изменения: «чрезвычайно сложные психические образования... многократно переплетенных друг с другом групп представлений, которые даны в готовом виде бессознательно и актуализируются в речи»*. Таким образом, язык, согласно Паулю, должен быть выведен из речи. На самом деле существует только говорение, т. е. акт речи; то же, что можно было бы назвать языком в узком значении этого слова, — сравнительно длительный «организм представлений» в субъекте, — выведен из совокупности актов речи как ее результат. Он находится в такой зависимости с этой последней, «как представление памяти с актуальной связью представлений» (Ипсен).

Концепция языка Пауля в сущности даже не касается настоящей проблемы или же, в лучшем случае, лишь односторонне решает ее. Поэтому неудивительно, что сегодня редко кто серьезно ее учитывает. Пауль все внимание направляет на обоснование языка как акта, как речи, а второй член проблемы, более важный и непонятный, — вопрос о собственно языке — он оставляет почти нетронутым. Действительно, в этой концепции остается совершенно необъяснимым, как и почему переживается «единство сказанного и услышанного» членами определенной группы, несмотря на различие их речи, все-таки как одно и то же. Как и почему законы и правила языка зависят не от речи или говорящего субъекта, а, наоборот, речь и говорящий субъект зависимы от законов и правил языка?

Единственное имеющее для нас значение из того, что Пауль говорит о языке, это то, что, по его мнению, носителем языка должны считаться «организмы подсознательных представлений», которые проявляют свою активность в виде речи. Все, что общо и обязательно в языке, что принуждает переживать его как объективную и не зависящую от нас реальность, — все это мы должны искать в сфере этих «организмов бессознательных представлений». Но дело в том, что они, как остатки когда-то актуальной речи, существенно

---

* *S. Ipsen*. Gesprach und Sprachform. Blätter der deutschen Philosophic // B. 6. S. 57.

ничем не отличаются от обыкновенных явлений речи и не содержат ничего такого, что сделало бы понятным, почему язык имеет объективный, стоящий выше говорящего субъекта, не зависящий от него, обязательный для всех характер. Несмотря на это, одно все же ясно и отчетливо показано в учении Пауля, именно то, что язык действительно исходит лишь из отдельных случаев речи, что какой бы общей и обязательной природой ни обладал язык, он не является ничем иным, кроме совокупности «сказанного и услышанного». Однако как и почему язык, несмотря на это, все же существенно отличается от речи, — этот вопрос Пауль оставил нетронутым.

Зато Соссюр преимущественно касается именно второго члена проблемы — языка. Он в первую очередь заинтересован вопросом: что устанавливает в хаотическом многообразии речевых явлений определенный порядок и единство? В речи его интересует этот момент порядка и единства, т. е. язык в узком значении этого слова. Он отмечает, что расчлененные звуковые знаки находятся в неразрывном взаимоотношении и определяют друг друга, в результате чего намечается сфера самодовлеющих, независимых связей форм, зарождается то, что называется *языком* (langue). Понятно, что язык, как сфера взаимоотношения знаков, определяющих себя как независимая, основанная на себе сфера форм, не учитывает индивида. Зато этот последний вынужден в каждом частном случае речи безоговорочно подчиниться требованиям и нормам языка как своеобразной системы порядка.

Таким образом, речь, согласно концепции Соссюра, совершенно лишена независимости: она не является ничем, кроме простой манифестации языка.

Значительной заслугой Соссюра должно считаться то, что он подчеркнул факт языка как объективную реальность, не зависящую от индивидуальной речи. В настоящее время никто не сомневается, что язык действительно является такой реальностью. Однако это совсем не означает, будто бы речь как индивидуальный, психологический процесс не имеет никакой ценности при рассмотрении проблематики языка. Недостаток Соссюра, как и Пауля, заключается именно в этой односторонности. В концепции как одного, так и друго-

го между языком и речью проложена непроходимая пропасть, и оба пытаются углубить эту пропасть, но один углубляет ее со стороны речи, а другой — со стороны языка.

Ипсен совершенно справедливо замечает в отношении обеих этих концепций: «Обе попытки решения вопроса несостоятельны: они не учитывают бесспорного факта языкового мира. Более того, в последующем протекании процесса мышления они частично сводят на нет друг друга. Невозможным кажется выйти из речи и создать правомерное понятие языка, так же как и наоборот — совершенно невозможно, исходя из понятия языка, прийти к речи»*.

Несмотря на правомерность этого замечания, попытка самого Ипсена решить вопрос языка и речи, можно сказать, по существу стоит перед такой же трудностью, какую он отметил в отношении концепций Пауля и Соссюра. «Мы исходим из следующего положения, — говорит он. — Речь и язык не могут быть каким-либо образом сведены друг к другу, каждое из них является существенно своеобразной и самостоятельной реальностью» (с. 61). Поэтому языковая действительность в каждый данный момент должна быть рассмотрена или как язык, или как речь и ни в коем случае как то и другое одновременно. Если мы будем исходить из формы языка, то языковая действительность предстанет в виде осуществления, или "эргона", если же — из речи, то она будет понята как категория процесса, или "энергии"».

Одним словом, Ипсен думает, что язык и речь представляют собой противоположные моменты, однако оба входят в понятие языковой действительности как ее диалектические члены. Как видим, языковая сфера в концепции Ипсена является не единством противоположностей, существующих реально, а соответственно тому, с какой точки зрения посмотрим на нее, предстает перед нами целиком или в виде продукта («эргон»), или в виде процесса («энергия»). Таким образом, поскольку Ипсен с самого же начала признает факт существования непреодолимой пропасти между языком и речью, он бессилен объединить их хотя бы как диалектиче-

---

* *S. Ipsen.* Указ. соч. С. 60.

ские члены в понятии единства языковой сферы: язык и речь фактически остаются чуждыми друг для друга, и простой факт языковой действительности опять остается необъясненным и непонятым.

4. Посмотрим теперь, какой вид принимает проблема языка и речи в свете теории установки. Если в основе слова, как мы убедились выше, действительно лежит установка, то с самого же начала становится понятным, что слово имеет двойную природу, что оно является и субъективным и объективным, что, в частности, для обозначения одного и того же содержания можно употреблять несколько различных слов, однако под каждым из них всегда подразумевать один и тот же предмет.

Дело в том, что в структуре установки отражены два фактора — потребность субъекта, благодаря импульсу которой устанавливается связь с действительностью (субъективный фактор), и сама эта действительность, которая находит отражение своей целостной природы в установке (объективный фактор): установка, с одной стороны, носит признак субъекта, но, с другой стороны, отражает и объективную реальность. Поэтому понятно, что какую-нибудь ее реализацию, скажем, возникшее на ее основе слово, с одной стороны, мы должны считать чисто субъективным фактом (поэтому оно всегда имеет случайный характер и возможно, чтобы оно было и иным, как это, например, было подтверждено в случае со словом «слон» в санскрите), но, с другой стороны, — отражением чисто объективного положения вещей (слово всегда отражает объективную действительность, правда, в случае различных потребностей — с различных сторон, но все же всегда одну и ту же реальность, как это имеет место в вышеуказанном случае «слона»: несмотря на разность наименований, всегда подразумевается один и тот же предмет).

Коротко говоря, слово является истинно диалектическим целым, настоящим единством противоположностей, неразрывным единством субъективного и объективного.

Несмотря на это, бесспорно, что ценность каждого слова не одинакова: не в каждом слове с одинаковой точностью отражена объективная действительность — существуют слова

более адекватные и *менее адекватные*. С этой точки зрения само собой разумеется, что чем более точно отражает слово объективное положение вещей, чем адекватнее оно как олицетворение этого последнего, тем оно понятнее, тем более приемлемо для всех и, в случае необходимости выражения этого же объективного положения вещей, тем более легко используемо. Поэтому такое адекватное слово, как соответствующее олицетворение объективной действительности, как, так сказать, сама объективная реальность, делается собственностью не отдельного субъекта, а всего коллектива, сокровищем, которым в случае необходимости может пользоваться каждый.

Так возникает система знаков, которая переживается как независимая от отдельного индивида реальность, — так возникает *язык*, в узком значении этого слова, язык, правилам и законам которого — хочешь этого или нет — должен подчиниться, если желаешь с кем-либо чем-то поделиться.

Таким образом, вопрос языка и речи становится достаточно ясным. *В языке нет ничего такого, что никогда не было сказано и услышано. Однако было бы ошибкой думать, что в язык входит все, что когда-либо было сказано и услышано.* Правда, каждый факт речи, как реализация установки субъекта, дает отражение объективного положения вещей. Однако это не означает, что мы всюду имеем дело с одинаково точным отражением, с одинаково адекватным во всех случаях высказыванием. Поэтому большая часть из фактов речи исчезает вместе с актом речи; те же, которые являются максимально адекватными, как олицетворение объективной реальности, остаются и становятся собственностью соответствующего *языка*. Такова проблема языка и речи с точки зрения теории установки.

Эта концепция взаимоотношения языка и речи содержит не одно преимущество по сравнению с другими. Отметим некоторые из них. Прежде всего становится понятным, что язык не оторван от речи, несмотря на то что первый является объективным и общим, а вторая субъективна и индивидуальна. Язык полностью рождается в речи, и все признаки, которыми он характеризуется, получены им из речи. Из этого

само собой становится ясным, что *установка, выполняющая столь большую роль в речи, должна быть отчетливо запечатлена и в языковом материале.*

С этим связано и второе значительное преимущество, которым характеризуется наша концепция. Если язык является самостоятельной сферой, совершенно объективной действительностью, у которой имеются свои независимые законы, то тогда мы обязательно должны думать, что между ним и человеком проложена непроходимая пропасть и не существует никакой связи. С другой стороны, бесспорно и то, что язык является продуктом творчества человека и вне человека не может существовать. Выше мы видели, что возможность преодоления этой пропасти не признана ни в учении Пауля, ни Соссюра. Поэтому ни один из них не может избежать односторонности, сводя все или к речи, или к языку.

Согласно нашей концепции, как видим, для этой пропасти не остается места. Язык является объективной реальностью благодаря установке, которая предоставляет ему возможность выражения объективного положения вещей. В то же самое время установка является все же определенной модификацией субъекта, и вот именно это и является тем, что представляет субъект в языке. *Язык является независимой сферой благодаря установке, но посредством этой же установки он существенно связан с субъектом.*

Таким образом, в виде заключения можно сказать: в состав языка из речи входит только то, что имеет способность адекватного отражения объективного положения вещей. Это означает, что *в структуре языка* — в его материале и формах слова — *всюду отражена установка, лежащая в его основе.* Из этого ясно, что исследование языка ни в коем случае не было бы полным, если бы оно оставило без внимания это обстоятельство.